РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН

1

ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ

"НАУКА"

МОСКВА – 2005

СОДЕРЖАНИЕ

Ю.Д. Апресян (Москва). О Московской семантической школе 3
П. Серио (Лозанна). К.С. Аксаков: лингвист-славянофил или гегельянец? 31
М.И. Шапир (Москва). "Тебе числа и меры нет". О возможностях и границах "точных методов" в гуманитарных науках 43
Б.А. Успенский (Москва). О происхождении глаголицы 63
А.В. Зеленин (Санкт-Петербург). Дезаббревиация в русском языке 78
Д.А. Романов (Тула). Психолингвистическое обоснование эмоциональной идентификации 98
С.Г. Татевосов (Москва). Акциональность: типология и теория 108

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

П. Коста (Потсдам). *Я.Г. Тестелец.* Введение в общий синтаксис 142
О.Н. Ляшевская (Москва). *S. Jones.* Antonymy: A corpus-based perspective 148
П.В. Гращенков (Москва), О.В. Лукин (Ярославль). *D. Beck.* The typology of parts of speech systems: the markedness of adjectives 152

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.А. Плунгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
Редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел. 201-25-16

© Российская академия наук, 2005 г.
© Редколлегия журнала "Вопросы языкознания" (составитель), 2005 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2005

© 2005 г. Ю. Д. АПРЕСЯН

О МОСКОВСКОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ*

В статье рассматриваются основные теоретические принципы и понятия, характеризующие лингвистические исследования Московской школы интегрального описания языка и системной лексикографии. К ним относятся сам принцип интегральности лингвистических описаний, определение лексики как хорошо организованной таксономической и операционной системы, представление о семантическом метаязыке как упрощенном и стандартизованном подъязыке описываемого естественного языка и тезис об аналитических толкованиях лексем и правилах взаимодействия значений языковых единиц в текстах как основных инструментах системной лексикографии. На материалах из "Нового объяснительного словаря синонимов русского языка" демонстрируются обратные связи между теорией семантики и практической лексикографией.

В последние годы в работах разных авторов все чаще появляется и все больше терминологизуется словосочетание "Московская семантическая школа" (в дальнейшем – МСШ). Кажется, пришло время уяснить, какая совокупность идей, принципов и методов исследования отличает МСШ от других направлений современной лингвистики. Именно такая попытка предпринимается в этой статье.

МСШ ведет свою родословную от пионерских работ по семантике, выполненных в начале 60-х годов в Лаборатории машинного перевода МГПИИЯ им. М. Тореза (см. [Жолковский и др. 1961; МППЛ 1964]) и, в особенности, от модели «Смысл ⇔ Текст» И.А. Мельчука; см. [Мельчук 1974; 1995; Мельчук, Жолковский 1984; Mel'čuk 1997; 2004; Mel'čuk et al. 1984; 1988; 1992; 1999; Iordanskaja, Paperno 1996] и другие работы И.А. Мельчука и его ближайших соавторов. С 1977 года, после вынужденной эмиграции И.А. Мельчука в Канаду, началось не слишком существенное, но тем не менее заметное "диалектное" дробление МСШ. В частности, российская ветвь МСШ в своем нынешнем виде сформировалась под влиянием еще двух факторов – компьютерной реализации модели «Смысл ⇔ Текст» в виде полифункционального лингвистического процессора ЭТАП (см., например [Апресян и др. 1989; 1992; Иомдин 1990]), откуда пришла идея интегрального описания языка [Апресян 1995а], и исследований в области теоретической семантики, языковой картины мира и системной лексикографии (см., например [Апресян 1974; 1995а; 1995б; Apresjan 2000; Богуславский 1985; 1996; Гловинская 1982; 1993; 2001; Санников 1989; Урысон 2003; Апресян и др. 2004], публикации Л.Л. Иомдина по семантике и ряд других)[1].

---

* Данная работа была поддержана грантом Президента РФ на поддержку ведущих научных школ № НШ-1576.2003.6, Программой фундаментальных исследований ОИФН РАН "История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте" (раздел 4.15), грантами РГНФ №№ 02-04-00306а и 03-04-00046а и грантом РФФИ № 02-06-80106.

[1] К ним в некоторых отношениях близки исследования [Булыгина, Шмелев 1997; Падучева 1996; 2004; Зализняк 1992; Кустова 1999; Рахилина 2000; Розина 2004] и другие работы этого круга.

В результате сложился вариант МСШ, который справедливо было бы назвать Московской семантической школой интегрального описания языка и системной лексикографии. Только о нем и пойдет речь в дальнейшем и только в этом смысле следует понимать аббревиатуру МСШ в контексте данной статьи.

Все исследования МСШ имеют двоякую цель: а) построить общую теорию семантики, в основе которой лежат не репрезентативные примеры, а массовый материал естественного языка, в нашем случае – русского; б) реализовать эту теорию в виде практически полезных, т.е. обращенных к широкому читателю лексикографических продуктов. Эти две цели и два направления работ взаимосвязаны: лексикографическая практика дает материал для теории, а теория позволяет строить лексикографическую практику на системных основаниях.

Задача статьи – представить в конспективной форме основные идеи, принципы и результаты МСШ. Поэтому для демонстрации предлагаемых в ней тезисов будут использоваться не только новые, но и уже введенные в оборот материалы – с уточнениями и дополнениями, отражающими современное знание фактов, и с той степенью подробности, которая дает о них реальное, а не схематичное представление.

Изложение строится по следующему плану: 1) общелингвистические принципы МСШ; 2) принципы теоретической семантики; 3) принципы системной лексикографии; 4) практическое воплощение теоретических принципов.

1. ОБЩЕЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ МСШ

В основе всех теоретических и лексикографических работ МСШ лежат два главных принципа: принцип интегральности лингвистических описаний и установка на реконструкцию языковой картины мира. Первый из них отражает представление о том, как должно быть устроено лингвистическое описание, а второй – представление о том, как устроен сам язык.

1.1. Принцип интегральности

Этот принцип требует согласованного описания грамматики и словаря каждого языка (грамматика в данном контексте понимается расширительно – как свод всех правил языка, включая и его семантические правила). В более развернутом виде принцип интегральности может быть представлен следующими двумя требованиями: а) описывая очередную лексему[2], лексикограф должен работать на всем пространстве правил языка и приписать этой лексеме все свойства, которые упоминаются в правилах; в ряде случаев это требует включения информации о правилах непосредственно в словарные статьи; б) в свою очередь грамматист, формулируя определенное правило языка, должен работать на всем пространстве лексем и учесть все лексемы, которые ему подчиняются, если соответствующая форма их поведения не зафиксирована непосредственно в их словарной статье; в очень многих случаях это требует включения информации о конкретных лексемах непосредственно в грамматические правила.

При всей естественности принципа интегральности его необходимость впервые была осознана только в МСШ, причем его практическая реализация оказалась зада-

---

[2] Напомним, что лексемой в МСШ называется слово, взятое в одном из имеющихся у него значений. Лексема, таким образом, является многосторонней единицей языка, у которого есть свое означающее, означаемое (лексическое значение), синтактика и прагматика. В МСШ именно лексема, а не слово, считается основной единицей словаря языка. Мы говорим лексемами, а не словами; слова суть лексикографические конструкты, формируемые из лексем с совпадающими или очень похожими означающими и означаемыми, в которых обнаруживаются нетривиальные общие смысловые компоненты.

чей исключительной сложности. Чересчур велик объем следствий, которые из него вытекают. Ниже мы проиллюстрируем только первое из названных требований как более важное в контексте нашей темы.

Известно, что в отрицательных предложениях многие непереходные глаголы русского языка, некоторые переходные глаголы в пассивной конструкции и некоторые краткие прилагательные могут иметь подлежащее либо в форме именительного (ИМ), либо в форме родительного (РОД) падежа: *Мороз не чувствовался* и *Мороза не чувствовалось, Подкрепления не посылались* и *Подкреплений не посылалось, Звуки не слышны* и *Звуков не слышно*. При этом выбор формы ИМ или РОД семантически мотивирован: при прочих равных условиях ИМ предполагает, что явление, о котором идет речь, существует (*Звуки не слышны* – они есть, но по какой-то причине не могут быть восприняты), а РОД допускает, что их вообще нет (ср. *Звуков не слышно*). С другой стороны, ИМ чаще вводит определенный объект (ср. *Звук дождя в вагоне не слышен*), а РОД – чаще неопределенный (ср. *Не слышно ни звука*)[3].

Относительно этого грамматического правила все глагольные лексемы разбиваются на три класса: а) лексемы, которые допускают мену падежа подлежащего с ИМ на РОД в контексте отрицания (см. выше); б) лексемы, которые ее требуют (ср. *У нас не имеется сведений на этот счет*, при невозможности **У нас не имеются сведения на этот счет, Не остается сомнений*, при невозможности **Не остаются сомнения*; см., однако, ниже); в) лексемы, которые ее не допускают ни при каких обстоятельствах (ср. *Весна все никак не начиналась* при невозможности **Весны все никак не начиналось, Бой не продолжался* при невозможности **Боя не продолжалось*).

Образцовые носители русского языка интуитивно владеют этой информацией – она составляет часть их языковой компетенции. Значит, и лингвистическое описание русского языка, которое ее моделирует, должно содержать нужные сведения на этот счет. Однако даже академические словари и грамматики не сообщают информации, достаточной для того, чтобы строить правильные синтаксические конструкции с нужным значением для произвольного глагола. Объясняется это двумя причинами: во-первых, сложностью распределения глаголов относительно данного синтаксического правила; во-вторых, отсутствием традиций согласования грамматической и лексикографической информации в научном описании языков.

Распределение всей глагольной лексики русского языка по трем названным классам отчасти семантически мотивировано. Было, например, давно замечено, что способностью менять ИМ на РОД в контексте отрицания обладают экзистенциальные глаголы в широком смысле, т.е. глаголы со значением существования, начала существования, продолжения существования и потребности (≈ 'надо, чтобы существовало'), а также краткие прилагательные и переходные глаголы в форме СТРАД, имплицирующие существование или появление объекта: *бывать, быть, вести (В последние годы наблюдений за вулканом не велось), виден, возникать, найтись, наступать, оставаться, ощущать (Недостатка в научной литературе не ощущалось), полагаться (Ребенку отдельного места не полагается), посылать (Никаких телеграмм не посылалось), появляться, происходить, проходить, случаться, слышен, сохраняться, строить (Новых субмарин не строилось), существовать, требоваться, чувствовать (Мороза не чувствовалось)* и т. п.

В последнее время был предложен еще один смысл, благоприятствующий мене ИМ ⇒ РОД под отрицанием. По мнению Е.В. Падучевой (см. [Падучева 1997: 104; 2004: 444]), такой способностью, помимо экзистенциальных, обладают глаголы, толкование которых "включает... перцептивный компонент", т.е. указание на то,

---

[3] Этой конструкции посвящена обширная литература; упомяну лишь классические работы [Карцевский 1928; Jakobson 1971 (первое издание 1936 г.); Ицкович 1974], а из современных работ – [Babby 1978; 1980; Апресян 1985; Падучева 1997; 2004: 440-472] и обзор [Богуславский 1982].

что объект, о котором идет речь, воспринимается кем-то (не обязательно визуально); ср. *Коли дома не оказалось, Деревни на берегу не видно, Хозяина в доме не чувствуется*. При этом в отрицательном предложении именно перцептивный компонент должен подвергаться отрицанию. Уточненное таким образом условие она считает достаточным для однозначного предсказания синтаксического поведения глагола.

Ниже я попытаюсь показать, что ни тот, ни другой смысл не дает стопроцентно мотивированного правила употребления глагола с подлежащим в форме РОД в отрицательном предложении. Основные контрпримеры собраны в три группы, упорядоченные по нарастанию их доказательной силы: сначала рассматриваются непоследовательности в синтаксическом поведении лексем одного семантического класса, затем – синонимического ряда и, наконец, непоследовательности в поведении одной и той же лексемы в разных условиях ее употребления.

а. Лексемы, являющиеся элементами одного и того же семантического класса, могут попадать в разные синтаксические классы относительно способности менять ИМ на РОД в контексте отрицания. Таковы, например, лексемы со значением проявления свойства или процесса, выделенные в [Апресян 2003: 10]. Они идеально отвечают критерию "перцептивности": в их значение входит указание на то, что данное свойство или процесс актуально воспринимается каким-то наблюдателем, причем именно это указание попадает в сферу действия отрицания в отрицательном предложении. Ср. глаголы *белеть, краснеть, чернеть; блистать, мелькать, мерцать, сверкать, светиться* (зрительные проявления); *греметь, доноситься, лязгать, скрежетать* (звуковые проявления); *горчить* (вкусовое проявление); *благоухать, вонять, пахнуть, смердеть* (обонятельные проявления); *греть, жечься, колоться* (тактильные проявления). Е.В. Падучева считает вполне правильными фразы типа *Не белеет ли парусов на горизонте, Не блистает теперь бриллиантов в ее прическе, Не светится больше надежды в ее глазах, Не гремело победных маршей*. Не оспаривая эти оценки, обращу внимание на то, что по крайней мере сомнительны фразы *?Не краснеет ли маков в поле, ??Не лязгало буферов, ??Не скрежетало якорных цепей* и абсолютно невозможны фразы с глаголами "вкусовых", "обонятельных" и "тактильных" проявлений: **Творога не горчит, *Рыбы не пахнет <не воняет>* (ср. правильность *Рыбой не пахнет*), **Шубы не греет, *Крапивы не жжется <не колется>*[4].

б. Более того, даже близкие синонимы могут принадлежать к разным классам. Так, глагол *наступать* допускает мену ИМ ⇒ РОД в контексте отрицания, а его синоним *наставать* – нет; ср. *Затишье <молчание> (так и) не наступило* и *Затишья <молчания> (так и) не наступило*, но только *Затишье <молчание> (так и) не настало*, при невозможности **Затишья <молчания> (так и) не настало*[5]. Глагол *со-*

---

[4] У меня был случай обсудить эти примеры с Е.В. Падучевой, которая высказала мысль, что *пахнуть, горчить, колоться* и т.п. не образуют "генитивной конструкции" потому, что обозначают "воздействия". Мне этот аргумент не кажется убедительным. Дело в том, что восприятия устроены в определенном смысле асимметрично. Только в случае зрительных восприятий (*видеть, замечать* и т.п.) человек или другое живое существо не подвергается воздействию воспринимаемого объекта. Что касается слуховых, обонятельных, вкусовых и тактильных восприятий, то во всех этих случаях какой-то объект воздействует на соответствующую перцептивную систему человека. В частности, если победные марши из примера Е.В. Падучевой *гремят*, то их звуки воздействуют на барабанные перепонки слушателя. Это же не мешает глаголу *греметь* быть "генитивным".

[5] Может возникнуть сомнение по поводу правильности сочетаний типа *Настало затишье <молчание>*. В текстах такие примеры есть; ср. *Настало некоторое затишье перед утром в бессонной Жизни гостиницы* (В. Набоков. Лолита); *Полное молчание настало в колоннаде* (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). Само наше наблюдение тоже подтверждается примерами из текстов. Ср. *Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства* (Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы); *Утешения не наступало* (Вик. Ерофеев. Скулы, нос и овраг). Для *наставать* в том же корпусе не было найдено ни одного подобного примера.

храняться допускает такую мену, а его синоним *оставаться* в большинстве употреблений требует ее; ср. *Другие улики не сохранились* и *Других улик не сохранилось*, но только *Других улик не осталось*, при невозможности **Другие улики не остались*.

в. Наконец, одна и та же глагольная лексема в разных условиях употребления (в разных контекстуальных условиях, в разных формах и значениях времени и вида, в сочетании с разными числовыми формами существительных) может вести себя поразному. Ср. *Не светилось ни одного телеэкрана, ?Не светилось витрин магазинов, ??Глаз в темноте не светилось; Никакие улики не остаются* (*их уничтожают*), *Никаких улик не остается, Никаких улик не осталось, *Никакие улики не остались; Не гремело победных маршей, ?Не гремело музыки, *Не гремит поездов по рельсам; Утешения не наступало, Мира в душе все никак не наступало, ??Весны все никак не наступало, *Марта еще не наступило* (ср. *Март еще не наступил, зачем ты меня торопишь?*).

Из общих соображений тоже следует, что рассчитывать на стопроцентно мотивированное семантическое правило в данном случае было бы нереалистично: русский язык чересчур лексикализован для этого.

Положение осложняется тем, что некоторые глаголы в конструкциях с ИМ и РОД под отрицанием приобретают неожиданные семантические ограничения. Например, лексема *быть 2.1* = 'находиться' при подлежащем в форме РОД сочетается только с актуально-длительным значением НЕСОВ, ср. *Отца не было на море* (в момент наблюдения)[6]. Та же лексема при подлежащем в форме ИМ сочетается только с многократным результативным значением НЕСОВ. Например, фраза *Отец не был на море* может значить только то, что он никогда в жизни не бывал на море. Кроме того, в последнем случае может меняться и статус локативного дополнения, в нашем случае – существительного *море*: если в первом примере (*Отца не было на море*) речь идет о каком-то конкретном море, то во втором – обо всем классе морей.

Любопытно, что та же лексема в утвердительных предложениях свободно употребляется в обоих названных выше видо-временных значениях НЕСОВ.

Очевидно, что в самом грамматическом правиле мены падежа подлежащего в контексте отрицания нельзя указать с достаточной полнотой ни глаголы, которые ему подчиняются, ни контекстуальные условия, которые усиливают или ослабляют эту способность, ни семантические модификации, которые при этом могут происходить. Единственное место, где эту информацию можно представить с относительной полнотой, – словарь. Однако ни один толковый словарь русского языка такой информации не содержит и, следовательно, в этом пункте принципу интегральности лингвистического описания не удовлетворяет.

Из сказанного с неизбежностью следует, что принцип интегральности превращает лексикографическое описание каждой лексемы в самостоятельную научную задачу. Чтобы понять истинный масштаб трудностей такого описания, надо учесть, что в работах МСШ делается попытка реализовать принцип интегральности в объеме всего словаря, и не для одного признака, как в рассмотренном выше примере, а для всех, которые могут оказаться релевантными для правил.

1.2. Установка на реконструкцию языковой картины мира

Идея языковой (другое название – "наивной") картины мира в том виде, как она развивается в МСШ с конца 60-х годов (см., например [Апресян 1969: 53 и сл.; 1974: 56 и сл.]), может быть представлена следующими основными тезисами:

а. Материалом для реконструкции языковой картины мира служат только факты языка – лексемы, грамматические формы, словообразовательные средства, просо-

---

[6] Эту лексему не следует путать с *быть 2.2* = 'приходить, приезжать и т.п.', как во фразах *Врач будет завтра* или *Этим летом я уже был на море* в двунаправленном значении.

дии, синтаксические конструкции, фраземы, правила лексико-семантической сочетаемости и т. п. Этим подход МСШ отличается от установок тех близких к ней направлений, для которых главным предметом исследования являются так называемые культурные концепты (о последних см., например [Арутюнова 1988; 1998] и многие работы по "логическому анализу языка" как он понимается Н.Д. Арутюновой).

б. Картина мира, отражаемая в языке, во многих отношениях отличается от научной картины мира; ср. наивную физику пространства и времени (Ю.Д. Апресян), наивные представления о причинно-следственных отношениях (О.Ю. Богуславская и И.Б. Левонтина), наивную анатомию (Е.В. Урысон) и т. п.

в. Языковая картина мира лингво-, или этноспецифична, т.е. отражает особый способ мировидения, присущий данному языку, культурно значимый для него и отличающий его от каких-то других языков. Реально "особый способ мировидения" проявляет себя в национально специфичном наборе ключевых идей – своего рода семантических лейтмотивов, каждый из которых выражается многими языковыми средствами самой разной природы – морфологическими, словообразовательными, синтаксическими, лексическими и даже просодическими[7]. Часто язык заставляет говорящего выражать эти идеи, даже если они несущественны для его высказывания.

Из-за недостатка места мы обсудим более подробно только последний тезис.

Об этноспецифичности картины мира в языке L относительно какого-то другого языка или языков обычно говорят в двух случаях: а) когда в L есть языковые единицы с таким значением, которое в других языках может быть выражено только описательно (этноспецифичность в сильном смысле); б) когда какое-то значение, в принципе выразимое и в других языках, имеет в L некий особый статус (этноспецифичность в слабом смысле). Рассмотрим по примеру на каждый из этих случаев.

1.2.1. Уникальное значение: конструкция "Мне (хорошо) работается"

В большой совокупности фактов русского языка (слове *авось*, многих типах безличных и инфинитивно-модальных конструкций и некоторых просодиях) можно обнаружить два семантических лейтмотива, типичных для русского языка: представление о неподконтрольности ситуации говорящему или иному деятелю и представление о неопределенности той силы, которая, по мнению говорящего, является причиной наблюдаемого положения вещей. Примером могут служить "мучительные вопросы" типа *Где его теперь искать?, И кто туда поедет?, Зачем ему это нужно?, Куда податься?,* произносимые с главным фразовым ударением на вопросительном слове и подъемом тона в остальной части предложения. Их значение может быть истолковано (на примере первой фразы) приблизительно следующим образом: 'Говорящий не знает, где его искать; он испытывает неприятное чувство, потому что ему очень важно знать, где его искать; говорящий допускает, что существует некто, кто это знает, и к этому неопределенному субъекту как бы обращает свой вопрос'[8].

Похожие лейтмотивы обнаруживаются и в значении синтаксической конструкции типа *Мне сегодня работается <не работается, с трудом поется, легко пишется>*. Как известно, она формируется глаголами НЕСОВ на *-ся*, производными от нетранзитивных глаголов или абсолютивных употреблений транзитивных глаголов, обычно в сочетании с дательным падежом экспериенсера-агенса.

---

[7] Определенная идея имеет тем больше оснований на лингво-, или этноспецифичный статус, чем больше арсенал средств ее выражения в данном языке по сравнению с другими языками. В этом отношении семантические лейтмотивы не отличаются от системообразующих смыслов; см. ниже.

[8] В 1991 г., когда я в течение семестра работал на кафедре славистики UCLA, я провел опрос большой группы информантов с целью выяснить, есть ли в английском языке какой-нибудь естественный аналог "мучительного вопроса". Результат был отрицательным.

Эта конструкция многократно описывалась в классической и современной литературе; см., например [Пешковский 2001: 346; Карцевский 2004: 152[9]; Шахматов 1941: 94; Виноградов 1947: 468; Янко-Триницкая 1962: 212–225; Guiraud-Weber 1984: 193 и сл.; Вежбицкая 1996: 67–68; Апресян 2003: 21] и др. Наиболее полно она охарактеризована в недавней работе [Булыгина, Шмелев 1997: 106–107], где перечислены следующие ее свойства: (а) она имеет значение "внутренней предрасположенности к действию", "успешности совершения действия" и отличается от соответствующих конструкций с невозвратными глаголами тем, что описывает полуконтролируемую, "демиактивную" ситуацию; (б) субъектом состояния обычно является человек; другие живые существа, а тем более неодушевленные предметы в этой роли допустимы лишь в случае персонификации; (в) при глаголе невозможны целевые обстоятельства; (г) продуктивность конструкции ограничена, хотя неясно, как.

Эту характеристику следует дополнить несколькими существенными деталями.

Во-первых, свойство несочетаемости с целевыми обстоятельствами на самом деле носит гораздо более общий характер. Поскольку безличные глаголы на *-ся* обозначают состояние, а не действие, они неохотно сочетаются не только с обстоятельствами цели, но и с любыми другими обстоятельствами, типичными для действий, такими, как *быстро, напряженно, сосредоточенно, энергично* и т. п.

Во-вторых, можно достаточно определенно указать факторы, ограничивающие продуктивность конструкции. Идеальным материалом для нее являются основы глаголов со значением занятий (*Мне сегодня отлично работается <поется, пишется>*), процессов (*Мне здесь хорошо <легко> дышится <спится>*) и деятельностей (*Как вам путешествуется <воюется>*?). Использование основ других типов, в том числе основ со значением действий, создает отчетливое ощущение нестандартности; ср. ??*Ему хорошо думалось о предстоящей работе* (*думать* – действие) VS *Ему хорошо думалось на даче* (*думать* – занятие), **Ему хорошо бегалось за хлебом* (*бегать* – действие) VS *Ему в это утро хорошо бегалось* (*бегать* – занятие).

В примерах типа *Мне думается, что это ненадолго, Ей хотелось пить, Ему слышались какие-то звуки*, с глаголами, обозначающими ментальные, волевые или физические состояния, а также в примерах с глаголами в форме СОВ типа *Мне взгрустнулось*, представлены другие типы производных глаголов и, соответственно, другие синтаксические конструкции.

В примерах типа *И чего тебе не сидится?, Ему не стоялось на месте*, с глаголами положения в пространстве, эти глаголы сливаются с отрицанием в единое целое и образуют фразему. Свидетельством фраземности *не сидится, не стоится* является невозможность замены отрицания оценочными атрибутами типа *хорошо, плохо, отлично* и т.п.; ср. **И чего тебе плохо сидится на этом стуле?*, **Ему хорошо стоялось на месте*.

В-третьих, глагол, являющийся синтаксической вершиной конструкции, имеет сложную семантическую структуру, с разделением на пресуппозицию и ассерцию. Пресуппозицию образует указание на действие или попытку его совершить, а ассерцию – указание на состояние субъекта, т.е. его особую предрасположенность к действию. В подтверждение этого можно привести два аргумента: а) тот факт, что в отрицательных предложениях типа *Х-у не работалось* не отрицается, что Х работал или по крайней мере пытался работать; б) тот факт, что в предложениях типа *Х-у хорошо <плохо> работалось* оценочные наречия характеризуют не работу Х-а, а его внутреннее состояние. Ср., в отличие от этого, *Х хорошо <плохо> работал*, где оценивается именно работа Х-а.

В-четвертых, указание на особую предрасположенность к действию образует в значении этой конструкции так называемый слабый смысл, который элиминируется

---

[9] С. Карцевскому принадлежит следующая замечательная формулировка: "Эти обороты чаще всего отрицательные, что особенно подчеркивает волевое бессилие субъекта" [Там же].

отрицанием или наречием со значением 'плохо': *X-у сегодня не работается <плохо работается>* ≈ 'Сегодня X находится в таком состоянии, когда работа у него идет плохо или совсем не идет'. Как видно из этого описания, *X-у не работается* и *X-у плохо работается* почти синонимы. Наречие *хорошо* и его синонимы тоже не создают нового смысла, а лишь усиливают уже имеющийся смысл 'хорошо, легко'. Иными словами, отрицание и оценочные наречия взаимодействуют со значением безличного глагола, формирующего конструкцию, по особым правилам.

На основании сказанного можно предложить следующее толкование данной конструкции: *X-у P-ся* = 'X делает P [пресуппозиция]; X находится в таком внутреннем состоянии, когда P не требует от него больших усилий [ассерция]; по мнению говорящего, это состояние возникло не потому, что X этого хотел, а в результате действия какой-то неопределенной и не зависящей от X-а силы' [модальная рамка][10].

По-видимому, рассмотренный семантический лейтмотив – неподконтрольность ситуации субъекту и неопределенность той силы, которая является причиной наблюдаемого положения вещей – этноспецифичен в сильном смысле. Мы допускаем, что при переводе этой конструкции на другие языки можно отыскать описательные способы передачи похожего комплекса идей, но крайне маловероятно, что в других языках для этого найдутся столь же простые средства выражения.

1.2.2. Неуникальное значение с особым статусом в языке: многократность

Это значение тоже этноспецифично, однако в слабом смысле. В самом деле, в русском языке оно стандартно выражается наречиями и наречными сочетаниями *многократно, неоднократно, несколько раз, много раз, каждый раз, большими глотками* (*пил*) и т.п. Аналогичным образом оно выражается и во многих других языках и в этом отношении никакой этноспецификой не обладает. Этноспецифичным оно становится тогда, когда выражается самим глагольным словом (его основой, грамматической формой, словообразовательным аффиксом) или синтаксической конструкцией; в этом случае оно превращается в одну из ярких семантических доминант русского языка.

Значение многократности (итеративности, глагольной множественности) неоднократно исследовалось в грамматике и типологии[11], особенно в связи с так называемыми способами действия – кумулятивным (*наносил дров, начитался романов*), дистрибутивным (*попáдать, повставать*), суммарно-дистрибутивным (*понастроить, понавыдумывать*), прерывисто-смягчительным (*покалывать, покашливать*) и т.п. Ниже, по возможности избегая специальной терминологии, мы перечислим основные способы выражения этого значения, в том числе и различные "многократные" способы действия. Итак, многократное значение выражается:

а. Формами НЕСОВ в общефактическом многократном результативном значении; ср. *Я убеждал и не таких упрямцев.*

---

[10] Ср. толкование А. Вежбицкой: "X <сейчас> делает что-то / не потому, что X хочет, чтобы что-то случилось с чем-то еще / X думает что-то вроде этого: / я чувствую, что могу <с>делать это хорошо / я не могу сказать почему / это не потому, что я хочу это" [Вежбицкая 1996: 68]. Как видим, два толкования формально различны. Однако наше толкование весьма близко к следующей описательной формулировке А. Вежбицкой: "В рассматриваемой конструкции человек представлен как лицо, которое, делая нечто, по какой-то непонятной причине не испытывает при этом никаких затруднений. Агенс чувствует, что предпринятая им деятельность протекает гладко ('хорошо'), но, сколь бы рад он этому ни был, заслуги его в этом нет, так как успех достигается не в результате затраченных им самим усилий, а скорее благодаря действию каких-то непостижимых сил" [Там же].

[11] См., например [Шахматов 1925: 167; Карцевский 1928; Виноградов 1947: 511 и сл.; Маслов 1965: 76–78]. Из современных работ назовем [Храковский 1989: 25–50] и [Долинина 1996: 222 и сл.], с обширной дальнейшей библиографией.

б. Различными "способами действия", в том числе приставочными, причем почти каждая глагольная приставка русского языка имеет по крайней мере одно многократное значение; ср. *бывать, видывать, едать, сиживать, слыхивать, хаживать; выведывать, вынюхивать, выспрашивать; добудиться, дозвониться, допытаться; забросать (камнями), задарить, задергать (Ты совсем меня задергал); изолгаться, изорваться; изъездить, исходить (весь русский Север); навербовать, насадить (берез), настроить (домов); обойти (магазины), обстирать (семью), объездить (страну); перебить (чашки), перезнакомить (гостей), перецеловать (всех девушек); перебрасываться, переглядываться, переругиваться; поглядывать, позвякивать, покашливать, пописывать; повыталкивать, понакидать, понаписать, понастроить; приговаривать, приплясывать, пристукивать; раззвонить (повсюду о своих намерениях), разузнать, расспросить; разбежаться, разбрестись, разойтись; сбежаться, слететься, съехаться; уговорить, умолить, упросить.*

в. Синтаксическими средствами, а именно кратно-длительной конструкцией с временным существительным в форме ТВОР МН или в составе предложно-именной группы *по* + ДАТ МН, как во фразах *Ночами <по ночам> она сидела над диссертацией* (много раз на протяжении длительного времени). Ср. обычную длительную конструкцию с временным существительным или количественной группой в форме ВИН типа *Всю ночь она сидела над диссертацией* и эмфатическую конструкцию со значением 'очень много времени' с существительным в форме ТВОР МН под главным фразовым ударением: *Она сидела над диссертацией ↓ночами.*

г. Глагольными лексическими средствами, а именно: (i) моторно-кратными глаголами перемещения типа *ходить, бегать, летать, плавать, ездить, водить, носить* и т.п.; (ii) глаголами локализованного движения, управляющими творительным падежом и в форме НЕСОВ обозначающими последовательность однородных актов или квантов действия: *бить (хвостом), блуждать (глазами), болтать (ногами), вертеть <крутить> (головой), взмахивать (головой), вилять (хвостом), вихлять (бедрами), вращать (глазами), встряхивать (гривой), двигать (бровями), дергать (щекой), качать (головами), кивать (головой), махать (крыльями), моргать (глазами), мотать (головой), покачивать (бедрами), размахивать (кулаками), трепетать (крыльями), трясти (головой), шевелить (пальцами), шмыгать (носом).*

2. ПРИНЦИПЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ

МСШ исходит из следующих теоретических представлений об устройстве языковых значений и возможностях их строгого научного описания:

1. Множество лексических значений естественного языка системно организовано, хотя и в меньшей мере, чем скажем, его грамматика.

2. Лексическая система имеет классификационный и операционный аспекты.

3. Как классификационная система лексика представляет собой нестрогую иерархию с многократно пересекающимися семантическими классами и подклассами.

4. Как операционная система она характеризуется правилами взаимодействия значений в тексте (здесь и далее имеются в виду только нетривиальные правила).

5. И классификация, и правила взаимодействия значений строятся на основе одного и того же набора системообразующих смыслов.

6. Значения всех содержательных единиц данного языка – лексических, морфологических, синтаксических и словообразовательных – могут и должны быть описаны на одном и том же семантическом метаязыке (в дальнейшем, в соответствии с целями данной работы, мы рассматриваем только лексемы).

7. Ввиду национальной специфики языковой картины мира в качестве семантического метаязыка должен использоваться не универсальный искусственный язык, а подъязык изучаемого естественного языка.

8. Главным методом описания любых содержательных единиц языка являются аналитические толкования их значений на этом метаязыке. Аналитические толкова-

ния – это многослойные структуры, в которых выделяется до пяти слоев смысла: ассерции, пресуппозиции, модальные рамки, рамки наблюдения, мотивировки.

9. Аналитическое толкование является главной частью полного семантического представления лексемы, в которое входят, кроме того, нетривиальные семантические признаки, коннотации, прагматическая информация и словарные семантические правила.

10. Полные семантические представления должны быть построены таким образом, чтобы путем их сравнения, в особенности путем сравнения толкований, можно было демонстрировать все семантические связи между различными лексемами в словаре и формулировать правила их семантического взаимодействия друг с другом и с другими единицами языка в текстах.

Ниже мы прокомментируем лишь некоторые из перечисленных тезисов, причем не обязательно в том порядке, в каком они здесь даны.

2.1. Понятие системообразующего смысла

Системообразующим называется смысл, который входит в большое число языковых единиц разной природы (многообразие обличий) и при определенных условиях одинаково проявляет себя относительно правил взаимодействия значений (единообразие проявлений). К числу системообразующих смыслов относятся:

а. Семантические примитивы, т.е. смыслы ‘делать’, ‘воспринимать’, ‘хотеть’, ‘мочь’, ‘чувствовать’, ‘знать’, ‘считать’, ‘говорить’, ‘существовать’, ‘быть’, ‘находиться’, ‘предшествовать’, ‘я’, ‘отношение’, ‘объект’, ‘время’, ‘пространство’, ‘причина’, ‘условие’, ‘свойство’, ‘часть’, ‘число’, ‘количество’, ‘норма’, ‘ситуация’, ‘один’, ‘хороший’, ‘больше’, ‘не’ и ряд других.

б. Некоторые смыслы, более сложные, чем семантические примитивы, например, ‘готов’, ‘должен’, ‘намерен’, ‘перемещаться’, ‘начаться’, ‘прекращаться’, ‘продолжаться’, ‘цель’, ‘момент’ и ряд других. С помощью аналитических толкований они в конечном счете сводятся к определенной структуре семантических примитивов. Ср. известные толкования *продолжаться* ≈ ‘не прекращаться’, *Р прекратился* ≈ ‘начался не Р’, *начался Р* ≈ ‘До момента t Р не существовал, после t Р существует’. Как видим, сложное значение *продолжаться* почти полностью сведено к структуре, составленной из примитивов ‘существовать’ и ‘не’[12]. За пределами этого списка остался только смысл ‘момент’, который, впрочем, тоже легко сводится к примитивам.

в. Некоторые смыслы, более простые, чем семантические примитивы. Они не вербализуются в данном языке никакими свободными лексемами “первого плана” и представляют собою либо пересечение значений семантического примитива и его ближайшего неточного синонима (ср. пары *знать* и *ведать, считать* и *думать, хотеть* и *желать, чувствовать* и *ощущать*), либо пересечение значений самих семантических примитивов (ср. стативные глаголы *знать, считать, хотеть, чувствовать*, в значениях которых есть то общее, что все они являются названиями разного рода внутренних состояний). В силу напрашивающейся аналогии с физикой, такие невербализуемые пересечения значений в [Апресян 1995а: 478–482] были названы семантическими кварками. Именами семантических кварков (в тех случаях, когда они нуждаются в именовании) являются лингвистические термины. Таковы, например, термины ‘стативность’ и ‘акциональность’.

По определению (см. выше), системообразующие смыслы обладают двумя важными свойствами.

Во-первых, они входят в состав значений многих языковых единиц разной природы – лексических, морфологических, словообразовательных, синтаксических и дру-

---

[12] Сведéние сложного значения через ряд промежуточных этапов к определенной структуре семантических примитивов получило название “семантической редукции”.

гих. Так, смысл 'причина' выражается существительными *причина* и *подоплека*, глаголами *вызывать* и *приводить* (к чему-л.), наречиями *поэтому* и *оттого(-то)*, союзами *потому что* и *поскольку*, предлогами *из-за* и *за* (*неимением, недостатком*), (устаревшим) творительным причины (ср. *Ошибкою добро о ком-нибудь сказали?*), словообразовательным элементом *-творный* в составе прилагательных *кроветворный, снотворный, болезнетворный*, препозитивным деепричастным оборотом с деепричастием стативного глагола (*Зная, что переубедить его невозможно, я прекратил спор*) и рядом других.

Во-вторых, при некоторых условиях (главное из них – нахождение в вершине ассертивной части толкования) системообразующие смыслы активны в правилах взаимодействия значений в тексте, причем во многих правилах они проявляют себя единообразно, независимо от того, в состав какого значения входят. В частности, глаголы с чисто причинным значением не могут подчинять обстоятельства цели; ср. неправильность **Повышение цен вызвало кризис, чтобы окончательно разрушить экономику страны.* Напротив, наличие смысла 'делать' в вершине толкования обусловливает способность соответствующей лексемы управлять дополнением или обстоятельством со значением цели (*Он сделал это, чтобы помочь тебе*). Кроме того, такие глаголы способны употребляться в повелительном наклонении: *Сделай милость, помолчи.* Заметим, что глаголы состояния ни тем, ни другим свойством не обладают; ср. невозможность **Он знает древние языки, чтобы заняться дешифровкой, *Знай древние языки* (надо: *Он изучает древние языки, чтобы заняться дешифровкой, Изучай древние языки*).

2.2. Семантическое представление лексемы в МСШ

2.2.1. Толкования

Как было сказано выше, главным инструментом описания значений любых языковых единиц являются их аналитические толкования на специальном семантическом метаязыке. Этим МСШ отличается от других школ современной семантики, за исключением школы Анны Вежбицкой.

Семантический метаязык – это упрощенный и стандартизованный подъязык описываемого естественного языка.

Упрощение состоит в том, что в подъязык отбираются относительно простые слова, грамматические формы слов и синтаксические конструкции в их основных значениях. При этом ядро словаря метаязыка образуют системообразующие смыслы первых двух классов, т.е. семантические примитивы и более сложные слова-смыслы типа *начать, перестать, момент, цель* и т.п. Кроме этого ядра словарь метаязыка включает довольно большое число так называемых промежуточных слов-смыслов. Для них характерно вхождение в состав значений многих лексических единиц данного языка[13]. Таков, например, смысл 'требовать', повторяющийся в толкованиях лексем *бастовать, вызывать (в суд), вымогать, забастовка, настаивать, повестка, призвать (кого-л. к порядку), (строго) спрашивать 4 с кого-л., спрашивать 3 (что-л. у кого-л.*, например, *Спроси у него документы), ультиматум, шантаж, шантажировать* и т. п.

Стандартизация состоит в том, что каждое такое слово должно в идеале удовлетворять требованию взаимно-однозначного соответствия имени и смысла. Иными словами, в метаязыке у него не должно быть синонимов и омонимов. Отступления

---

[13] В сущности, здесь дано достаточно формальное определение промежуточных слов-смыслов: они входят в состав значений многих лексических единиц. В этом отношении они подобны системообразующим смыслам. Однако обычно они не входят в значения служебных слов и грамматических единиц и не фигурируют в правилах взаимодействия значений. В этом отношении они отличаются от системообразующих смыслов.

от этого правила допускаются в тех случаях, когда грамматический или сочетаемостный контекст толкования исключает возможность использования стандартного имени данного смысла. Например, если толкование формулируется в настоящем времени и если в нем по смыслу надо было бы употребить глагол-связку *быть*, которая в форме НАСТ обычно выражается нулем, *быть* заменяется одним из своих синонимов; ср. *X боится Y-а* = 'X находится в таком эмоциональном состоянии, какое бывает, когда...'. В этом толковании нарушены сразу оба условия: вместо полагающегося по смыслу *есть* использован его синоним *находится*, у которого в метаязыке есть "омоним" – тот же глагол, но в локативном значении.

Предполагается, что все такие отступления перечислимы и что в случае необходимости (например, если требуется полностью формализовать семантические представления для конкретной компьютерной системы) они могут быть элиминированы, правда, за счет некоторых потерь в приемлемости языка толкований для носителей языка.

Сами аналитические толкования должны отвечать условиям полноты и неизбыточности. Приведем в качестве примера аналитические толкования некоторых речевых актов[14].

X просит Y-а сделать P [*Он попросил меня купить ему билет на последний рейс*] = '(а) человек X хочет, чтобы было P, и считает, что человек Y может сделать P, и не считает, что Y должен делать P [пресуппозиции]; (б) X говорит Y-у, что он хочет, чтобы Y сделал P [ассерция]; (в) X говорит это, потому что хочет, чтобы было P [мотивировка]'.

X требует от Y-а, чтобы Y сделал P [*Не требуйте от меня невозможного*] = '(а) человек X хочет, чтобы человек Y сделал P, и считает, что Y должен сделать P [пресуппозиции]; (б) X говорит Y-у, что он хочет, чтобы Y сделал P [ассерция]; (в) X говорит это, потому что считает, что Y должен сделать P [мотивировка]'.

X спрашивает 1 Y-а, P [здесь P – косвенный вопрос, вводимый словами *кто, где, когда* и т. п., например, *Он спросил меня, когда я иду в отпуск*] = '(а) человек X хочет знать P и считает, что человек Y знает P [пресуппозиции]; (б) X просит Y-а, чтобы Y сказал ему P [ассерция]; (в) X просит об этом потому, что хочет знать P'.

X спрашивает 2 Y-а (у Z-а) [*В гостинице спросишь администратора*] = 'Человек X просит человека Z позвать человека Y или дать X-у возможность войти в контакт с Y-ом'.

X спрашивает 3 Z у Y-а [*Спрашивай у него документы, а то уйдет* (М. Булгаков)] = 'Человек X требует от человека Y, чтобы тот дал или показал ему Z'.

Толкования, построенные на таком метаязыке и отвечающие указанным требованиям, являются главным инструментом для установления и демонстрации системных семантических связей между лексемами в словаре (синонимии, антонимии, конверсии, регулярной полисемии, семантической производности и т.п.), с одной стороны, и основой для формулировки правил взаимодействия значений, с другой.

---

[14] В основу толкований *просить* и *требовать* положены формулировки, данные в [Апресян 1974: 109]; толкование лексемы *спрашивать 1* принадлежит М.Я. Гловинской и автору и заимствовано из нашей совместной словарной статьи в [Апресян и др. 2004: 1095]. Из обширной литературы по речевым актам для нас особенно важными были исследования [Иорданская 1985; Wierzbicka 1987] и [Гловинская 1993; 2005 (в печати)], хотя мы не сочли возможным использовать все идеи этих авторов. В частности, в наши толкования не включены смысловые компоненты 'Я не знаю, станешь ли ты это делать' (для *ask* 'просить') и 'Я допускаю, что всякий скажет, что есть хорошие основания, почему Y должен сделать P' (для *demand* 'требовать') из [Wierzbicka 1987: 40, 50] и указание на способ выполнения речевого акта *просить* из работы [Гловинская 2005 (в печати)]: 'субъект говорит это так, что адресат понимает, что субъект не считает его обязанным делать P'.

2.2.2. Другие составляющие семантического представления

Помимо толкований в полное семантическое представление лексемы, как было сказано выше, должны входить еще сведения о словарных правилах, которым она подчиняется, а также о нетривиальных семантических признаках, коннотациях и прагматических (культурных, "наивно-энциклопедических") особенностях лексемы. Ниже мы прокомментируем только нетривиальные семантические признаки и прагматические особенности лексемы.

а. Нетривиальные семантические признаки. Имеются в виду такие признаки, как нефасадность для существительных, предельность для прилагательных, акциональность, стативность и моментальность для глаголов и т.п. Напомним содержание первого из них.

Пространственные предлоги *перед* и *за* при нефасадных существительных (лишенных неизменной "анатомии", в частности, постоянного "переда" и "зада") порождают представление о наблюдателе, занимающем определенную позицию относительно двух ориентируемых в пространстве предметов; ср. *Перед стеклом стояла пепельница* (пепельница находилась между стеклом и наблюдателем, скорее ближе к стеклу, чем к наблюдателю) – *За стеклом стояла пепельница* (стекло находилось между наблюдателем и пепельницей, скорее ближе к пепельнице, чем к наблюдателю). Те же предлоги в контексте фасадных существительных (обладающих собственной неизменной "анатомией") никакого представления о наблюдателе в обычных условиях не порождают; ср. *Пепельница стоит перед <за> телевизором.*

Нетривиальные семантические признаки по большей части соответствуют либо второму из двух упомянутых выше классов кварков, либо какому-то классу или подклассу фундаментальной классификации предикатов.

б. Культурные, прагматические и иные "наивно-энциклопедические" сведения. Их необходимость (в других терминах) была показана еще в [Vendler 1967: 191–193] на примере названий родства. Речь идет об интерпретации примеров типа *хорошая <плохая> сестра*, *хороший <плохой> брат*. Очевидно, что значения самих названий родства не включают смысловых компонентов, к которым могли бы присоединяться оценочные прилагательные *хороший* и *плохой*. Действительно, *брат X-а* = 'человек мужского пола, родители которого являются родителями X-а', но *хороший брат* ≠ 'хороший человек мужского пола...'. Значит, в "наивно-энциклопедическую" зону для таких слов должно быть включено представление о функциях, которые люди, связанные родственными отношениями, в соответствии с нормами данного общества выполняют по отношению друг к другу. В словосочетаниях типа *хороший <плохой> брат* оценивается именно то, как они выполняют эти функции.

Интересные прагматические особенности обнаруживают доминанты синонимических рядов. Как известно, доминантой ряда называется наиболее употребительный и стилистически нейтральный синоним, который имеет наиболее общее в данном ряду значение, полный набор грамматических форм, наибольший набор синтаксических конструкций и самую широкую сочетаемость. Эти свойства создают прагматическую специфику доминант – способность обслуживать такие ситуации действительности, в которых другие синонимы ряда не употребляются. Например, в группе синонимов *спрашивать, осведомляться* и *справляться* лишь первый глагол, являющийся доминантой ряда, способен употребляться в функции экзаменационного и риторического вопросов. Экзаменационный вопрос: *На экзамене по истории его спросили, когда была основана Александрия*, но не **На экзамене по истории у него осведомились <справились>, когда была основана Александрия.* Риторический вопрос: *Но я спрашиваю: почему --- все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице?* (М. Булгаков. Собачье сердце). Сведения о способности вводить эти два типа вопросов должны фигурировать в прагматической зоне словарной статьи *спрашивать*, но не в словарных статьях его синонимов.

2.3. Системные семантические связи между лексемами

По любому смысловому компоненту, входящему в полное семантическое представление лексемы или в собственно толкование, она оказывается связанной с другими лексемами и вместе с ними образует определенный семантический класс. Если общие смысловые компоненты занимают одни и те же позиции в семантических представлениях всех лексем такого класса, у них обнаруживаются некие совпадающие несобственно семантические свойства – морфологические, словообразовательные, синтаксические, сочетаемостные, коммуникативно-просодические и т.п.

В зависимости от характера общих смысловых компонентов получаются классы большего или меньшего объема. В качестве примера мы рассмотрим некоторые классы фундаментальной классификации предикатов, т.е. классификации Маслова-Вендлера, известной также под названиями "таксономической" и "онтологической"[15], и некоторые более мелкие классы.

2.3.1.Фундаментальная классификация предикатов

Фундаментальной называется классификация предикатов, понятия которой необходимы для лингвистических правил – морфологических, словообразовательных, синтаксических, семантических, коммуникативно-просодических, сочетаемостных и других. Ее основными классами являются действия (*строить, идти*), деятельности (*торговать, воевать*), поведения (*баловаться, капризничать*), занятия (*играть, отдыхать*), воздействия (*размывать, прогревать*), процессы (*расти, гореть*), события (*встречать, находить*), существования (*существовать, быть*), пространственные положения (*стоять, лежать*), состояния (*знать, хотеть*), свойства (*заикаться, виться*), проявления (*блестеть, горчить*), параметры (*весить, стоить*), отношения (*включать 2, состоять из*), интерпретации (*ошибаться, соблазнять*) и ряд других[16].

Каждый из этих классов обладает семантически мотивированными общими свойствами; мы в качестве примера рассмотрим синтаксические свойства существований и положений в пространстве.

К классу существований относятся: а) глаголы, у которых главным компонентом толкования является семантический примитив 'существовать'; б) глаголы, у которых главным компонентом толкования являются конфигурации смыслов 'начать существовать', 'продолжать существовать', 'должен существовать'[17]; в) любые глаголы, обозначающие типичный способ существования данного объекта (*Ветер дует, Поземка кружит*) или его перцептивного проявления. Вот репрезентативный список существований: *бывать, быть, виднеться, виться <извиваться>* (о тропе и т.п.), *возникнуть (Возникли осложнения), вспыхнуть, выйти (Вышла неприятность), выявляться, держаться (В комнате еще держался неприятный запах), дуть (Дул сильный ветер), жить (Живет на свете такой парень), завестись (У нас завелись*

---

[15] Назовем основные работы, в которых эта классификация разрабатывается применительно к материалу русского языка: [Булыгина 1982; Селиверстова 1982; Гловинская 1982; 2001; Зализняк 1992; Булыгина, Шмелев 1997; Падучева 1996; 2004; Апресян 2003; 2004; Розина 2004].

[16] Необходимо обратить внимание на концептуальные и терминологические отличия этой версии классификации от версий, развиваемых в работах Т.В. Булыгиной, Е.В. Падучевой и некоторых других авторов. Мы стремились к тому, чтобы названия классов по возможности соответствовали употреблению одноименных слов в естественном языке.

[17] Иной статус имеют глаголы со значением прекращения существования (чаще всего звуковые и световые), такие, как *гаснуть, замирать, затихать, исчезать, меркнуть, отгреметь, отзвонить, отзвучать, смолкать, стихать, умолкать, утихать*. Значение 'перестать' делает явление, о котором идет речь, определенным (ср. *Звуки в аллее замерли <утихли>*), и поэтому бóльшая часть свойств экзистенциальных глаголов у них отсутствует.

тараканы), загореться (Загорелся бой), зародиться, значиться, иметься, кипеть (Кипят страсти), кружить (В степи кружила поземка), крутить <крутиться> (Между домами крутилась поземка), множиться (Множатся попытки решить проблему рака), надвигаться (Надвигается буря), назревать (Назревает скандал), найтись (Нашлись умники, которые этому не поверили), наличествовать, наметиться (Наметились изменения к лучшему), насчитываться, обитать (В Африке обитают львы), обнаружиться, обозначиться (Обозначились изменения к лучшему), оказаться (У него не оказалось спичек, В гостинице не оказалось свободных мест), оставаться (До отхода поезда остается 2 минуты), полагаться, получиться (Получилась крупная неприятность), понадобиться, попасть, появиться (Появились первые цветы), прийти (Когда же юности мятежной / Пришла Евгению пора), происходить (Происходят странные вещи), прорезаться, проступать, разгораться (Разгораются споры), раздаться (Раздался звонок), разразиться (Разразился скандал), светить, случаться, слышаться, создаваться (Создается впечатление), сохраняться, существовать, требоваться, уродиться, цвести и т.п.

Для всех существований в большей или меньшей мере характерны следующие семантически относительно хорошо, хотя и не стопроцентно мотивированные синтаксические свойства: (i) инверсия подлежащего и сказуемого в утвердительном высказывании, ср. *Жили-были дед да баба, Дул сильный ветер, Назревает скандал, Пришло время подвести итоги*; (ii) нормальный порядок слов в отрицательном высказывании, ср. *Ветер не дул, Цветы еще не появились, Время подводить итоги еще не пришло*; (iii) наличие локативных или временных детерминантов, ср. *По склону холма вьется тропка, В Африке водятся львы, В феврале стояли жуткие морозы*; (iv) нерасчлененность простейших (только глагол и подлежащее) утвердительных высказываний с глаголами существования на тему и рему; (v) возможность мены именительного падежа подлежащего на родительный в контексте отрицания (это свойство в определенной степени лексикализовано; см. выше стр. 5 и сл.).

К положениям в пространстве относятся глаголы, у которых на определенном шаге семантической редукции в вершине ассерции обнаруживается смысл 'находиться в определенной позе'; таковы глаголы *висеть, лежать, облокотиться, опираться, сидеть, стоять*. Все они обладают тем интересным синтаксическим свойством, что управляют четырьмя актантами, выполняющими следующие семантические роли: локализуемого объекта (*кто / что висит, лежит, опирается, сидит* и т.п.), места (*висеть <лежать, сидеть, стоять> в комнате*), опоры (*висеть на перекладине, лежать <сидеть, стоять> на полу, опираться <облокотиться> на перила*) и рабочей части предмета, на которую он опирается (*висеть на руках, лежать на боку, сидеть на корточках, стоять на одной ноге, опираться локтем*).

2.3.2. Системные связи между лексемами, отражаемые в толкованиях

Если взглянуть на приведенные выше аналитические толкования лексем *просить, требовать, спрашивать 1, спрашивать 2* и *спрашивать 3*, станет понятно, как в МСШ решается сложный вопрос о формальной демонстрации семантических связей между различными лексемами в словаре. Обратим внимание на следующие детали приведенных толкований:

а. Они формально демонстрируют принадлежность всех рассмотренных лексем к одному и тому же семантическому классу, а именно к речевым актам; ср. наличие смысла 'говорить (кому-л. что-л.)' в вершине ассертивной части всех толкований. Этот смысл либо явно включен в толкование лексем (ср. *просить* и *требовать*), либо обнаруживается в них на нужном месте на втором шаге семантической редукции (так обстоит дело с тремя лексемами глагола *спрашивать*).

б. В них формально отражены связи между всеми рассмотренными значениями полисемичного глагола *спрашивать*, а также связи между *спрашивать 1* и *просить*, *спрашивать 2* и *просить* и, наконец, между *спрашивать 3* и *требовать*.

в. Они формально объясняют все сходства и различия между *просить* и *требовать*. В обоих случаях говорящий хочет, чтобы адресат что-то сделал (ср. ассертивные части толкований). Однако автору просьбы важно, чтобы что-то было сделано, и менее важно, кто именно это сделает. Между тем для автора требования важно, чтобы что-то было сделано именно адресатом. Формально объясняется и интуитивно ощущаемая мягкость акта просьбы по сравнению с актом требования. В словарях *требовать* толкуется как 'просить в категорической форме', что, конечно, некорректно. Требование ни в каком смысле не является разновидностью просьбы. Корень различий между тем и другим – в различии модальностей: в случае просьбы говорящий считает, что адресат м о ж е т сделать Р, хотя и не должен, а в случае требования он считает, что адресат д о л ж е н сделать Р.

Аппарат толкований был использован в лексикографических масштабах при составлении Нового объяснительного словаря синонимов русского языка (НОСС'а), см. [Апресян и др. 2004]. При этом была сделана попытка выявить системные связи (или, что то же самое, повторяющиеся, "сквозные" сходства и различия) между элементами синонимических рядов, разными лексемами многозначных слов, аналогами, точными и неточными антонимами, точными и неточными конверсивами и т.п. Продемонстрируем сказанное примерами из области синонимии.

Глагол *уповать* отличается от своего ближайшего синонима *надеяться* тем, что указывает на некую в ы с ш у ю силу как на источник надежды. Это либо нечто сверхъестественное, либо человек, организация и т. п., чьи возможности намного превосходят возможности субъекта; ср. *уповать на Бога <на милосердие Божие, на Провидение, на Промысел>, уповать на царя <на правительство>*. Поэтому *уповать* было бы неуместно во фразе типа *Теперь можно надеяться только на себя*. Различие на смысл 'высшая сила' характерно также для следующих пар глагольных лексем (второй приводится лексема, в значении которой так или иначе представлена ссылка на высшую силу): *обещать* и *клясться, бояться* и *трепетать, жаловаться* и *роптать, наказывать* и *карать, прогнозировать* и *пророчить, назначение* и *(высокое) предназначение, уважение* и *пиетет* и других.

Во многих синонимических рядах, особенно со значением осуждения или одобрения, синонимы могут различаться по способности обозначать не только ментальный акт, но и акт речи; ср. *обвинять* (и то, и другое) – *винить* (как правило, ментальное состояние), а также аналогично устроенные пары *порицать* и *осуждать, восторгаться* и *восхищаться, кипятиться и сердиться*[18].

Приучиться к чему-либо можно намеренно или ненамеренно, а *пристраститься* и *приохотиться* – только ненамеренно. Аналогичные различия представлены в ряду *замереть, застыть* (и то, и другое) – *остолбенеть, оцепенеть, окаменеть* (только ненамеренно); ср. *Он выжидательно замер, Тигр застыл перед прыжком*, но не **Он выжидательно остолбенел <оцепенел, окаменел>, *Тигр остолбенел <оцепенел, окаменел> перед прыжком*.

В парах синонимов *приказывать – велеть, просить – упрашивать, спрашивать – вопрошать* только левый глагол способен к перформативному употреблению.

Постоянно повторяются в синонимических рядах различия в оценке и интенсивности; ср. пары *гордиться – кичиться, жаловаться – ныть, обещать – сулить, оправдать – выгородить, писать (картину) – малевать*, где левый элемент оценочно нейтрален, а правый выражает отрицательную оценку субъекта действия или состояния; и пары *восхищаться – восторгаться, надоесть – осточертеть, радоваться – ликовать, рассердиться – разъяриться, удивляться – изумляться,*

---

[18] В выборке, содержащей 32 прозаических текста с глагольными формами *кипятился, закипятился, раскипятился*, 18 раз эти глаголы употреблены в контексте прямой речи; ср., например: *– Счищайте скорей, негодные! – кипятился гражданин* (Н. Носов. Замазка); *– Мальчишка! – закипятился Калибан* (Б. Акунин. Любовница Смерти).

хотеть – жаждать, где правый элемент описывает более интенсивное состояние, чем левый[19].

2.4. Лексика как операционная система: семантические правила

Разработка семантических правил, или правил взаимодействия значений различных языковых единиц в текстах, с самого начала составляла одно из главных отличий МСШ от других школ современной семантики. В своем нынешнем виде теория взаимодействия значений, развиваемая в МСШ, может быть представлена следующими тезисами:

а. В множестве системообразующих смыслов выделяются семантически активные смыслы, на которых и разыгрываются нетривиальные правила взаимодействия значений. Назовем главные из них: (i) отрицание; (ii) кванторы; (iii) количественные значения, включая значение степени и интенсивности; (iv) оценки; (v) модальности, в особенности значения намерения, возможности и долженствования.

Пример семантического правила: при глаголе *привыкать* отрицание *не* может воздействовать либо на сам этот глагол (нормальное отрицание), либо на какой-то элемент подчиненной ему группы инфинитива (смещенное отрицание). Ср. *Он не привык работать со словарями* VS. *Я не привык разговаривать в таком тоне ≈ Я привык разговаривать не в таком тоне ≈ Я привык разговаривать в другом тоне.* Любопытно, что при ближайшем синониме *привыкнуть* – глаголе *приучиться* – возможно только нормальное отрицание: *Он не приучился работать со словарями.*

б. В зависимости от природы взаимодействующих значений различаются правила взаимодействия (i) лексических значений с грамматическими, (ii) лексических значений с лексическими, (iii) грамматических значений с грамматическими. Для лексикографии представляют интерес лишь первые два типа правил, которые мы проиллюстрируем на материале глагола *хотеть*.

Словари выделяют у него два разных значения, которые мы обозначим как 'чистое желание' и 'намерение'[20].

Выражению значения чистого желания способствуют следующие факторы: (i) рематичность *хотеть*, т.е. нахождение *хотеть* под главным фразовым ударением или под отрицанием; ср. *Коля ↓хотел жениться на ней (но мать была против), Лара не хотела плакать при посторонних* (Б. Пастернак. Доктор Живаго); (ii) наличие при нем наречий или частиц со значением интенсивности типа *очень, безумно, как, так*; ср. *Как он хотел спать!, Ребенок так хотел посмотреть на обезьянок!*; (iii) контекст стативных глаголов; ср. *Я хочу знать, о чем вы с ним толковали; Люди так устроены, что хотят верить в разные чудеса* (Е. Тарле. Наполеон); (iv) несовпаде-

---

[19] В свете этих примеров утверждение Е.В. Падучевой о том, что "семантическое расстояние между разными словами – даже между относительно близкими синонимами – обычно достаточно велико" и что "минимальные и повторяющиеся семантические соотношения бывают только между исходным значением слова и его семантическими дериватами" [Падучева 2004: 18] нуждается в уточнении. По нашим наблюдениям семантические отношения между словами в случае синонимии, не говоря уж об антонимии, конверсии, гиперонимии, гипонимии и когипонимии, отличаются с указанной точки зрения от семантических отношений между исходным и производными значениями слова чисто количественно. Очевидно, с другой стороны, что "минимальные и повторяющиеся семантические соотношения" характеризуют главным образом регулярную многозначность, притом преимущественно метонимически (а не метафорически) мотивированную.

[20] Вопрос о том, создает ли различие между 'чистым желанием' и 'намерением' разные лексемы глагола *хотеть* или только разные употребления внутри одного и того же лексического значения, в данном случае несуществен, поскольку предлагаемое описание совместимо с любым его решением.

ние субъекта желания и субъекта действия; ср. *Хочешь, валенки сниму / Как пушинку подниму* (О. Мандельштам. Жизнь упала как зарница).

Все перечисленные контексты исключают возможность реализации значения намерения. Последнее по природе вещей тематично, не допускает градуирования (ср. неправильность **Я очень <безумно> намерен поехать на конференцию в Питер*), требует указания на действие, потому что состояние планировать нельзя (ср. неправильность **Я намерен радоваться <верить тебе, считать, что тебе повезло>* и возможно только при совпадении субъекта желания и субъекта действия. Для значения намерения характерно указание временных рамок данного состояния, что происходит в следующих условиях: (i) при сочетании *хотеть* с глаголами действия в форме СОВ, ср. *Лара хотела убить человека, по Пашиным понятиям, безразличного ей* (Б. Пастернак. Доктор Живаго); (ii) в контексте частиц *уже* и *было*, обозначающих отказ от почти предпринятого действия; ср. *Он хотел было <уже хотел> выключить рацию, но передумал*; (iii) в контексте временных слов и выражений типа *теперь, как раз, только что, перед этим, после этого, потом* и т.п., ср. *Я только что хотел сообщить вам, что собрание отменяется; Я как раз хотела попросить тебя объяснить мне квадратные уравнения* (Б. Пастернак. Доктор Живаго).

Теперь можно сформулировать правила.

Правило согласования лексического значения с грамматическим: в первом круге употреблений (или в значении чистого желания) *хотеть* сопрягается с актуально-длительным значением формы НЕСОВ. Это особенно характерно для тех случаев, когда глагол *хотеть*, сам по себе или в контексте соответствующего наречия, обозначает интенсивное желание; ср. *Я безумно хочу есть <пить>, В этот момент он безумно хотел спать*. Значение намерения с актуально-длительным значением НЕСОВ не сопрягается; ср. примеры типа *Я сейчас хочу пойти домой*, где *сейчас* по смыслу относится не к *хотеть*, а к *пойти домой* и значит не 'в данный момент', а 'в самом скором времени'.

Правило согласования лексических значений друг с другом: глагол *хотеть* и его ближайший синоним *желать* в сочетании со стативными глаголами *знать, видеть, слышать* и т.п. в отрицательных предложениях приобретают усилительное значение неприятия чего-либо: *Не хочу тебя знать, Не желаю тебя больше видеть <слышать>*. Глагол *желать* сохраняет это значение и в сочетании с акциональными глаголами: *Я не желаю вас слушать; На это я ему резко ответил, что никаких объяснений давать не желаю* (Н. Валентинов. Встречи с Лениным). Между тем *хотеть* в сочетании с акциональными глаголами допускает значение чистого отрицания; ср. *Он не хотел идти туда* VS *Он не желал идти туда*. Глагол *жаждать* под отрицанием, наоборот, ослабляет свое значение. В сущности, он срастается с отрицанием в своего рода фразему, которая значит 'не испытывать о с о б о г о желания делать что-либо'; ср. *Не жажду его видеть, Не жажду туда ехать*.

в. В зависимости от типа взаимодействия все правила вновь делятся на три класса: (i) правила семантического согласования; (ii) правила семантической модификации; (iii) правила нетривиальной области действия.

Пример правила семантического согласования: таково большинство рассмотренных выше правил, например, правило сочетания *хотеть* в значении чистого желания с актуально-длительным значением НЕСОВ.

Пример правила семантической модификации: лексема *ждать 1* (*ждать* в основном значении) может быть истолкована в словаре следующим образом: *X ждет Y(-а) в Z-е* = 'зная или считая, что в месте Z должно или может произойти событие Y или событие, связанное с Y-ом, нужное человеку X или касающееся его, X находится в Z-е в состоянии готовности к нему'[21]. Ср. *Он ждал меня у ворот своей дачи*.

---

[21] Компонент 'X готов к Y-у' был впервые включен в толкование *ждать* в [Жолковский 1964: 89].

Существуют, однако, такие употребления этой лексемы (они были замечены в [Зализняк 1992: 24, 106]), в которых ее словарное толкование модифицируется следующим образом: снимается указание на место ожидания и добавляется компонент 'хотеть, чтобы нечто произошло'. Условием этой семантической модификации является либо контекст наречий степени *очень, страшно, не больно* и усилительных частиц *как, так,* либо главное фразовое ударение на *ждать*. Ср. *Он очень <так> вас ждал; Не больно-то он тебя ждет; Блок ↓ждал этой бури и встряски* (Б. Пастернак. Ветер). См. также рассмотренные выше правила усиления и ослабления значений *хотеть, желать* и *жаждать* в контексте стативных глаголов в отрицательных предложениях.

Пример правила нетривиальной области действия: в только что рассмотренном примере дополнение *у ворот своей дачи* присоединяется к синтаксической вершине ассерции, а именно компоненту 'находится'. Вершина ассерции образует внешнюю, или тривиальную область действия, потому что так происходит взаимодействие значений в подавляющем большинстве случаев. В менее тривиальных случаях какой-то член предложения может иметь "внутреннюю сферу действия" (термин И.М. Богуславского) в толковании слова. Проиллюстрируем этот тип взаимодействия на материале другой лексемы глагола *ждать: X ждал 2, что P* = 'Человек X считал, что в относительно близком будущем произойдет событие P'. Здесь вершиной ассерции является компонент 'считать'. Во фразах типа *Я ждал тебя завтра* наречие *завтра*, как было показано в [Богуславский 1996: 103], имеет нетривиальную, внутреннюю сферу действия: оно не может связываться с вершинным компонентом толкования *ждать 2* (ср. неправильность сочетания 'считал завтра') и поэтому присоединяется к "вложенному" компоненту '(прибытие) произойдет завтра'. Именно поэтому фраза с глаголом в форме ПРОШ в контексте наречия будущего времени не воспринимается как грамматически неправильная.

2.5. Самые главные понятия

Мы завершили обзор некоторых принципиальных представлений теоретической семантики, которыми руководствуется МСШ. Какие-то из них разделяются и другими школами лингвистической семантики. Поэтому полезно указать те положения, которые являются самыми главными для МСШ и в то же время определяют ее специфику. Это: представление о семантическом метаязыке как упрощенном и стандартизованном подъязыке описываемого естественного языка; представление об аналитическом толковании (тексте на этом метаязыке) как главном инструменте описания значений любых лексических, словообразовательных и грамматических единиц; и представление о правилах взаимодействия значений, или семантических правилах как главном механизме получения смысла связных высказываний из значений элементарных единиц языка – лексем, аффиксов, граммем и синтаксических конструкций.

3. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

3.1. Принцип активности

Хотя этот принцип формально отличается от принципа интегральности лингвистических описаний, его реализация приводит к тем же самым следствиям.

Принцип активности требует, чтобы лексемам в словаре была приписана вся информация, необходимая не только для понимания текстов, но и для гибкого использования языка в собственной речи говорящих. Поэтому словарная статья каждой лексемы должна содержать исчерпывающую информацию обо всех ее существенных свойствах – семантических, стилистических, прагматических, коммуникативных, просодических, синтаксических, сочетаемостных и морфологических. Совокупность таких сведений, вмес-

те с правилами, по которым строятся высказывания на данном языке, является формальным аналогом того, что называется языковой компетенцией говорящих.

В качестве примера продолжим характеристику лексем *быть 2.1* = 'находиться' и *быть 2.2* = 'приходить'. В дополнение к тем семантическим, синтаксическим, морфологическим и просодическим сведениям, которые были сообщены выше, в активном словаре необходимо еще указать, что:

а. Лексема *быть 2.1* имеет все три формы времени (НАСТ, ПРОШ и БУД), а лексема *быть 2.2* – лишь две из них, а именно ПРОШ и БУД (*Врач уже был, Директора сегодня не будет*): при *быть 2.1* форма НАСТ выражается нулем, а при *быть 2.2* вообще никак не выражается.

б. Лексема *быть 2.1* в форме НАСТ в утвердительном предложении может быть представлена только нулем (*Он в школе, Они на работе*), но не формами *есть* и *суть*, допустимыми для некоторых других лексем глагола *быть*; в отрицательном предложении она может быть представлена только словом *нет (Его нет на работе)*.

в. При *быть 2.1* обязательно локативное или иное дополнение (*При нем были большие деньги, На нем была меховая шапка*), а при *быть 2.2* даже обстоятельство времени факультативно (см. примеры выше).

г. *Быть 2.1* конверсивен глаголу-связке *быть 1.1* и при некоторых условиях заменяется ею (*На нем была меховая шапка – Он был в меховой шапке*), а для *быть 2.2* такая трансформация невозможна.

д. Для *быть 2.2* помимо конструкций с чисто локативным дополнением возможны устаревшие конструкции с дополнением конечной точки, в которых он может иметь только форму БУД; ср. *Вы будете к нам завтра*?

Подчеркнем, что ни один из существующих толковых словарей русского языка этих сведений не содержит.

3.2. Принцип системности

В разделе 2 было введено понятие полного семантического представления лексемы, которое складывается из ее аналитического толкования, приписанных ей словарных правил взаимодействия значений, нетривиальных семантических признаков, коннотаций и прагматической информации. В свою очередь, полное семантическое представление лексемы является главной частью ее интегрального лексикографического представления, включающего еще сведения о ее грамматической парадигме, синтаксических свойствах, сочетаемости, коммуникативно-просодических особенностях и т.п. Именно в таком виде лексема становится полноценным объектом лексикографии.

Понимаемые таким образом лексемы объединяются в классы лексем с одинаковыми или очень похожими свойствами, на которые одинаково реагируют определенные лингвистические правила. Такие классы лексем называются в МСШ лексикографическими типами. Рассмотрим это понятие на конкретном материале.

Как известно, моторно-кратные глаголы типа *ходить, бегать, летать, плавать, ездить, возить, водить, носить* и т.п. противопоставлены моторно-некратным глаголам *идти, бежать, лететь, плыть, ехать, везти, вести, нести* и т.п. и в словарях обычно толкуются через эти последние, например, так: *ходить* = 'то же, что и д т и, с той разницей, что х о д и т ь обозначает движение повторяющееся, совершающееся в разных направлениях или в разное время'.

На самом деле за этой формулировкой толковых словарей русского языка скрываются по два разных значения моторно-кратных глаголов, причем каждое из них обладает своим набором свойств и взаимодействует со своим набором правил. В первом значении они обозначают занятие, цель которого состоит в том, чтобы выполнять данное действие: *Дети ходили <бегали> по двору*. Во втором значении они обозначают двунаправленное действие (туда и обратно), имеющее определенную внешнюю

цель; ср. *ходил <бегал> купаться, ходить <бегать> за газетами <на танцплощадку>*. Ниже мы ограничимся рассмотрением только непереходных глаголов.

На материале моторно-кратных глаголов различия между действием и занятием проявляют себя в ряде системных свойств[22].

а. В значении действия моторно-кратные глаголы являются по крайней мере четырехместными предикатами, с агенсом (КТО), конечной точкой (КУДА), начальной точкой (ОТКУДА) и целью (ЗАЧЕМ) в качестве актантов. В значении занятия те же глаголы являются трехместными предикатами, с агенсом (КТО), местом или пространством перемещения (ср. *ходить по двору, бегать по площадке, летать по небу, плавать по реке*) и направлением (*ходить из угла в угол*).

б. У действий формы вида КУДА и ОТКУДА представляют разные и вполне самостоятельные валентности конечной и начальной точки, ср. *ходил в дом печати, ходил из дома (за газетами)*. Занятия подчиняют внешне похожие формы ОТКУДА КУДА (*ходил из конца в конец <из угла в угол>*), однако при занятиях такие формы обозначают не начальную и конечную точки, а направление перемещения. Об этом свидетельствуют конструкции типа *ходить взад и вперед*, в которых словам *взад* и *вперед* нельзя приписать ни значения конечной, ни тем более значения начальной точки; конструкции типа *ходить туда и сюда*, в которых и *туда*, и *сюда* обозначают конечные точки перемещения; невозможность перестановок типа **ходить сюда и туда*, **ходить вперед и взад*; и невозможность конструкций типа **ходить отсюда туда*, **ходить оттуда сюда*, в состав которых входят наречия с прототипическим значением начальной точки. В сущности, сочетания типа *из конца в конец, из угла в угол, взад и вперед, туда и сюда* являются фраземами, части которых неотделимы друг от друга.

в. У действий весьма разнообразно и своеобразно выражается валентность цели; ср. *ходить <бегать, ездить> по гостям <по делам>, ходить <бегать> на охоту <на водопой>, ходить <бегать> за хлебом <за газетой>, ходить <бегать> купаться <обедать>*. Эти способы выражения валентности цели характерны не только для моторно-кратных глаголов в значении действия, но и для всех вообще глаголов перемещения.

г. Из всех значений моторно-кратных глаголов только значение действия допускает образование формы СОВ: *сходил, сбегал, слетал, съездил* и т. п.

д. Занятия сочетаются преимущественно с процессными и узуальными значениями формы НЕСОВ, а действия – с результативными и узуальными; ср. *Посмотри, как малыши бегают по площадке, Ты сегодня ходил за газетами?*

Принцип системности требует, чтобы всякий раз, когда в словаре данного языка выделяется определенный лексикографический тип, он был описан единообразно во всем словаре.

Очевидно, что в рассмотренном материале необходимо выделить два разных лексикографических типа – моторно-кратные глаголы со значением занятий и моторно-кратные глаголы со значением действий. И тем, и другим должны быть приписаны все свойства соответствующего лексикографического типа в единой нотации. Нет необходимости говорить, что этому естественному требованию не удовлетворяет ни один толковый словарь русского языка.

Впрочем, в системной лексикографии тоже допускается отступление от этого принципа. Однако оно допускается только тогда, когда материал оказывает сопротивление попытке лексикографа распространить общую схему на конкретное слово. В таких случаях в действие вступает принцип лексикографического портретирования, в соответствии с которым со всей возможной полнотой описываются и специфические свойства каждой лексемы. Можно, например, заметить, что у глагола *бродить*, тоже

---

[22] Здесь дается краткая сводка свойств моторно-кратных глаголов в значениях занятия и действия; более подробное описание см. в [Апресян 2005 (в печати)].

принадлежащего к классу моторно-кратных глаголов, в узусе хорошо представлено только значение занятия (*Выпускники бродили по ночному городу*), а значение действия недооформлено в силу того, что у *бродить* нет видимой цели. Значит, *бродить* выпадает из общей схемы, что должно быть в полной мере учтено в его лексикографическом портрете.

Если у глагола *бродить* недостает материала, чтобы целиком включить его в определенный лексикографический тип, то у глагола *ходить* обнаруживается избыток такого материала. В значении действия *ходить* управляет еще одним типом целевых предложно-именных групп помимо тех, которые были перечислены выше. Это лексически связанные группы вида *по* + ВИН, ср. *ходить по воду, ходить по грибы, ходить по ягоды.* Из числа моторно-кратных глаголов вполне идиоматично сочетается с ними только *ходить*. Хотя можно представить себе ситуацию, когда по грибы или по воду ездят, неправильно было бы приписывать глаголу *ездить* в его словарной статье способность управлять группой вида *по* + ВИН. Она – элемент лексикографического портрета глагола *ходить* в значении действия, но не других моторно-кратных глаголов перемещения.

Итак, семантическое исследование в духе МСШ требует гармоничного сочетания принципа унификации (типизации) и принципа индивидуализации, лексикографического типа и лексикографического портрета.

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ: НОСС

Главным, хотя и не единственным лексикографическим продуктом МСШ за последнее десятилетие был НОСС; см. [Апресян и др. 2004] и предшествующие три выпуска этого словаря. В НОСС'е была сделана попытка реализовать все изложенные выше принципы МСШ.

Словарная статья НОСС'а включает разнообразную информацию о синонимах и может содержать более десяти зон: (1) вход – имена лексем, образующих данный ряд, с необходимой грамматической информацией и стилистическими пометами; (2) аналитическое толкование общей части значений входящих в данный ряд лексем на специальном семантическом метаязыке; (3) лексикографические речения, иллюстрирующие типичные случаи употребления синонимов данного ряда; (4) преамбулу, где указывается место данного ряда в лексико-семантической системе языка путем его сравнения с близкими к нему рядами синонимов и где реконструируется отраженный в них фрагмент языковой картины мира; (5) синопсис, где перечисляются семантические, референциальные, прагматические, коннотативные и коммуникативно-просодические признаки, по которым сходствуют и различаются элементы данного синонимического ряда; (6) подробное описание названных в предшествующем пункте сходств и различий между синонимами, с указанием языковых условий полной или частичной нейтрализации различий; (7) примечания, где перечисляются и коротко комментируются: а) синонимы, в силу своей периферийности (редкости, устарелости и т.п.) не включенные в данный ряд; б) значения многозначных слов, близкие к тому, в котором они входят в данный ряд синонимов; в) аналоги, т.е. тематически близкие слова; (8) грамматические формы, с указанием неполноты парадигм некоторых синонимов и правил взаимодействия их лексических значений с грамматическими; (9) синтаксические конструкции (модели управления, типы предложений и т.п.), свойственные или не свойственные тем или иным синонимам данного ряда; (10) сочетаемостные (лексико-семантические, морфологические, просодические) сходства и различия между синонимами; (11) иллюстрации из корпуса текстов; (12) служебные зоны, где перечисляются и, при необходимости, коротко комментируются фразеологические синонимы лексем данного ряда, их аналоги, их точные и неточные конверсивы, конверсивы к аналогам, точные и неточные антонимы и дериваты, включая семантические.

Ниже будут прокомментированы и коротко проиллюстрированы те зоны, которые содержат существенные лингвистические новации. В качестве иллюстрации ис-

пользуется преимущественно материал написанных автором словарных статей *заставлять 1, вынуждать 1, принуждать 1*, устар. *понуждать 1* и *заставлять 2, вынуждать 2, принуждать 2*, устар. *понуждать 2*; цифры при слове обозначают номер того значения, в котором оно является элементом данного ряда синонимов; они опускаются, если это не мешает пониманию.

4.1. Аналитическое толкование общей части значений синонимов

1. *X заставляет 1 <вынуждает 1, ...> Y-а сделать P* = 'желая, чтобы человек Y, который не хочет делать P, сделал P, человек X делает что-то, являющееся причиной того, что Y не может не сделать P' [по аналогии – о животных]; ср. *Своим вторым выстрелом полицейский заставил его остановиться.*

2. *X заставляет 2 <вынуждает 2, ...> Y-а сделать P* = 'человек Y не хотел делать P; ситуация X является причиной того, что Y не может не сделать P'; ср. *Шаги и голоса в аллее заставили его обернуться.*

У толкований, как мы помним, есть и синтагматическая функция – объяснять взаимодействие языковых значений, как лексических, так и грамматических, в тексте. В частности, акциональный компонент 'делает что-то' в толковании *заставлять 1* объясняет возможность употребления этой лексемы в актуально-длительном значении НЕСОВ: *Посмотри, он заставляет собаку прыгнуть через кольцо* (≈ 'на наших глазах пытается заставить'). Отсутствие такого компонента в толковании *заставлять 2*, в свою очередь, объясняет, почему для этой лексемы актуально-длительное значение НЕСОВ исключено. Фраза *Шаги и голоса в аллее заставляют его обернуться* имеет не актуально-длительное, а перфективное значение (Шаги и голоса в аллее не пытаются заставить его обернуться, а уже привели к тому, что он обернулся) и понимается скорее как нарративное (повествовательное) настоящее историческое.

4.2. Преамбула

В этой зоне решаются две задачи. Во-первых, показывается, какое место данный ряд синонимов занимает в более общем фрагменте лексико-семантической системы языка, для чего он сравнивается со своими аналогами – ближайшими к нему рядами других синонимов. Во-вторых, делается попытка реконструировать соответствующий данному ряду фрагмент "наивной", или языковой картины мира – наивной физики, геометрии, психологии, этики и т.п. Ниже будет рассмотрена только первая задача.

В рассматриваемом случае элементы ряда *заставлять* сопоставляются со следующими рядами синонимов: *склонять 3, подталкивать 3, толкать 4; убеждать 2, уговаривать, уламывать, агитировать 2; призывать 3, взывать 2; подговаривать, подстрекать, подбивать 7; провоцировать 2, подзуживать, подначивать.*

Различительными для них оказываются, в частности, следующие смысловые признаки:

а. Категоричность – некатегоричность побуждения. *Заставлять* и его синонимы обозначают категоричное побуждение, а синонимы остальных рядов – некатегоричное; ср. *Хватит его уговаривать <уламывать, убеждать> – его надо заставить переписать отчет.*

б. Эффективность – неэффективность побуждения. Глаголы *призывать* и *взывать* в обеих видовых формах могут обозначать неэффективное воздействие на объект; ср. *Он призвал сограждан взяться за оружие, но никто на его призыв не откликнулся.* В отличие от этого, большинство синонимов всех остальных перечисленных выше рядов, включая и рассматриваемый ряд, в форме СОВ обозначают эффективное воздействие на объект, т.е. достижение желательного для субъекта результата. Ср. *Он заставил меня сесть.*

в. Способ осуществления. Синонимы рассматриваемого ряда, особенно в форме СОВ, могут обозначать неречевые действия; ср. *Он сделал молниеносный выпад и заставил <вынудил, принудил> меня отступить на шаг*. Большинство глаголов других перечисленных рядов (*склонять, убеждать, уговаривать, призывать, подговаривать, подзуживать* и т. п.) обозначают только речевые действия.

г. Структура самого акта побуждения. Синонимы ряда *убеждать, уговаривать, уламывать, агитировать 2* обозначают сложное действие, состоящее из нескольких более простых актов, каждый из которых предполагает предъявление адресату нового аргумента в пользу того, чтобы он сделал что-то; синонимы всех остальных рядов могут обозначать и одноактное действие.

д. Оценка действия, которого субъект добивается от адресата. Глаголы двух рядов – *подговаривать, подстрекать, подбивать* и *провоцировать, подзуживать, подначивать* – выражают отрицательную оценку этого действия говорящим: *подстрекают* (*подбивают, подначивают* и т.п.) человека сделать что-то плохое, хотя, может быть, и выгодное или как-то иначе интересное для субъекта. В значения других рядов, включая и рассматриваемый ряд синонимов, такая оценка не входит.

4.3. Синопсис и описание сходств и различий в значениях синонимов

Эта зона устроена в целом так же, как и предыдущая, однако различия между синонимами описываются гораздо более подробно. Ниже перечисляются смысловые признаки, по которым различаются синонимы ряда *заставлять 1*.

а. Указание на намеренность действия субъекта. Оно обязательно для глагола *понуждать* и может отсутствовать в случае *заставлять* и *вынуждать*; ср. *Она заставила говорить о себе* – может быть, без всякого намерения добиться такого эффекта, при полной невозможности *понуждать* в такой ситуации[23].

б. Характер воздействия на объект. Тот же глагол *понуждать* предполагает непосредственное, часто физически наблюдаемое воздействие на объект (ср. *Криками и хлыстом понуждал коня бежать быстрее*). Такое указание возможно для глагола *заставлять* и крайне нехарактерно для *вынуждать*.

в. Степень насилия над волей объекта. Она наибольшая в случае *вынуждать*, значительная в случае *принуждать*, наименьшая в случае *понуждать*.

г. Возможность неэффективного воздействия на объект. Наиболее склонен к такому употреблению глагол *понуждать*.

д. Тип объекта. *Заставлять*, в отличие от других синонимов ряда, допускает в качестве объекта неодушевленный предмет; ср. *заставлять колесо крутиться*, но, скорее всего, не ??*принуждать колесо крутиться*.

е. Возможность совпадения субъекта и объекта воздействия. *Заставлять* и *принуждать* можно и других людей, и самого себя (ср. *Он с трудом заставлял себя глотать эти лекарства*), *вынуждать* – преимущественно других людей, *понуждать* – только других людей; неправильно **Он с трудом понуждал себя глотать лекарства*).

ж. Характер ситуации, реализации которой добивается субъект. Для *вынуждать* характерно побуждение к сложным действиям, занятиям или деятельности; целью *понуждать* часто является перемещение объекта в нужном субъекту направлении, ср. *понуждал лошадь ходить по кругу*.

з. Способность употребляться в пересказывательном режиме для описания замысла художника, по воле которого его персонажи совершают те или иные действия. Такая способность есть у *заставлять*, нехарактерна для *принуждать* и *вынуждать* и отсутствует у *понуждать*; ср. *Автор заставляет своих героев совершать дикие поступки*, но не **Автор понуждает своих героев совершать дикие поступки*.

В условиях, когда имеет место непосредственное, намеренное и эффективное побуждение объекта к выполнению нежелательного для него действия, возможна частичная нейтрализация семантических различий и взаимозамена синонимов.

---

[23] Правда, в таких случаях происходит сдвиг значения *заставлять 1* в сторону *заставлять 2*.

4.4. Примечания к ряду

В словарной статье может быть до трех типов примечаний, из которых в рассматриваемом ряду представлены два. Первое касается периферийных синонимов, не включенных в ряд: *неволить, приневоливать* и *насиловать*; ср. *Я не стану тебя насиловать – не хочешь – не учись.*

Второе примечание посвящено уже упоминавшемуся значению 'быть причиной того, что человек Y, который не хочет делать P, не может этого не сделать'. Оно реализуется в конструкции с подлежащим, обозначающим не человека, а целую ситуацию, событие, факт и т.п. Ср. *Мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепеке* (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). Для глаголов *заставлять* и *вынуждать* возможны промежуточные употребления, особенно в контекстах, где в роли субъекта действия выступает человек, действующий непреднамеренно. Ср. *Музыкант заставляет страдать человеческие души, а сам ничего* (Л. Петрушевская. Лестничная клетка).

4.5. Грамматические формы

У синонимов *вынуждать, принуждать* и *понуждать* в узусе плохо представлена форма 1-Л ЕД БУД СОВ (т.е. *вынужу, принужу, понужу*). У глагола *заставлять* эта форма (*заставлю*) выражается вполне свободно.

В свою очередь, у глагола *заставлять* в узусе отсутствуют все формы СТРАД (хотя ни семантических, ни морфонологических противопоказаний к этому нет), между тем как у остальных трех синонимов есть по крайней мере форма СТРАД ПРИЧ НЕСОВ; ср. *вынуждаемый <принуждаемый, понуждаемый> к отказу.*

4.6. Синтаксические конструкции

Все синонимы ряда управляют формой ИНФ со значением содержания побуждения. Синонимы *принуждать* и *понуждать* управляют предложно-именной группой *к* + ДАТ (например, *к отказу*). Для глагола *заставлять* она полностью исключена. Глагол *вынуждать*, в отличие от прочих синонимов ряда, управляет еще формой ВИН в значении содержания побуждения; ср. *вынудить желаемое признание.* В таких случаях *вынуждать* оказывается в отношении конверсии с самим собой; ср. *вынудить кого-л. к признанию – вынудить признание у кого-л.*

Все синонимы ряда подчиняют именную группу в форме ТВОР в значении способа воздействия на объект или того побочного действия, которое непосредственно приводит к искомому результату; ср. *силой заставлять ходить в детский сад.* При всех синонимах ту же роль может выполнять деепричастный оборот; ср. *Направив на толпу ружья, солдаты заставили <вынудили, принудили> ее отступить.*

Все синонимы ряда, за исключением *вынуждать*, свободно употребляются в своем прототипическом значении в отрицательных предложениях. Глагол *вынуждать* сочетается с отрицанием преимущественно в форме ПОВЕЛ; ср. *Не вынуждай меня применять силу.*

4.7. Сочетаемость

Все синонимы ряда сочетаются с названием отдельного человека в качестве субъекта действия. Все синонимы, за исключением *понуждать*, сочетаются с названием организации, страны или иной совокупности людей в той же роли; ср. *заставить <вынудить, принудить> Францию капитулировать.* Глагол *заставлять*, имеющий наиболее широкое значение, свободно сочетается также с названиями животных в той же роли.

Все синонимы ряда сочетаются с названием человека в роли объекта действия. Глагол *заставлять* свободно сочетается с названиями животных в той же роли; ср. *заставлять собаку стоять на задних лапах.* Все синонимы ряда, за исключением

понуждать, сочетаются с названиями групп людей в качестве объекта воздействия; ср. *заставить <вынудить, принудить> бастующих выйти на работу*. Для глагола *заставлять* характерны слабо метафорические сочетания с названиями частей тела, органов человека, продуктов его деятельности, механизмов и их частей, природных объектов и других автономных сущностей или сущностей, мыслимых как автономные, в той же роли; ср. *заставил свои пальцы разжаться*. Для других синонимов ряда такие сочетания нехарактерны или невозможны.

Наконец, глагол *заставлять* входит в состав разного рода клише, а также диалогических формул, включая вопросительные, типа *(не) заставить себя ждать, Не заставляй меня повторять, Кто тебя заставляет?* и т.п. Для *вынуждать* такие сочетания допустимы, но не имеют статуса клише; для *принуждать* они нехарактерны, а для *понуждать* – невозможны.

4.8. Служебные зоны

В рассматриваемом ряду синонимов есть три служебные зоны – аналогов, конверсивов к аналогам и дериватов.

Аналоги: *навязывать; приказывать, предписывать, велеть* и т.д.; *понукать; вменять в обязанность; ломать, давить; выкручивать руки.*

Конверсивы к аналогам: *приходиться*; ср. *Его заставили раздеться – Ему пришлось раздеться.*

Дериваты (включая семантические): *принуждение; давление, прессинг; принудительный; не мытьем, так катаньем; против воли, не по своей воле, поневоле, вынужденно, волей-неволей, под давлением, из-под палки.*

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ДВОЙНОЙ СТАТУС СЛОВАРЕЙ

Конечной целью МСШ является создание словарей, имеющих двойной статус. Во-первых, словарь, наряду с грамматикой, рассматривается как необходимая составная часть полного научного описания языка, объектом которого является феномен владения языком. Во-вторых, тот же словарь наряду с грамматикой выступает и как самое полное практическое пособие при овладении данным языком, потому что он сообщает о каждой лексеме все сведения, необходимые для ее правильного употребления говорящими в различных условиях общения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян 1969 – *Ю.Д. Апресян.* Толкование лексических значений как проблема теоретической семантики // ИАН СЛЯ. 1969. № 1.

Апресян 1974 – *Ю.Д. Апресян.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.

Апресян 1985 – *Ю.Д. Апресян.* Синтаксические признаки лексем // RLing. 1985. V. 9. № 2–3.

Апресян 1995а – *Ю.Д. Апресян.* Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.

Апресян 1995б – *Ю.Д. Апресян.* Новый объяснительный словарь синонимов: концепция и типы информации // Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина, Е.В. Урысон. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Проспект. М., 1995.

Апресян 2003 – *Ю.Д. Апресян.* Фундаментальная классификация предикатов и системная лексикография // Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействие. Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург. 22–24 сентября. СПб., 2003.

Апресян 2004 – *Ю.Д. Апресян.* Лингвистическая терминология словаря // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Изд. 2-е, испр., доп. / Под общим рук. акад. Ю.Д. Апресяна. Авторы: В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян, Е.Э. Бабаева, О.Ю. Богуславская, И.В. Галактионова, М.Я. Гловинская, С.А. Григорьева, Б.Л. Иомдин, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, А.В. Птенцова, А.В. Санников, Е.В. Урысон. Москва; Вена, 2004.

Апресян 2005 (в печати) – *Ю.Д. Апресян.* Два принципа и два понятия системной лексикографии (в печати).

Апресян и др. 1989 – *Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, Л.Л. Иомдин, А.В. Лазурский, Н.В. Перцов, В.З. Санников.* Лингвистическое обеспечение системы ЭТАП-2. М., 1989.

Апресян и др. 1992 – *Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, Л.Л. Иомдин, А.В. Лазурский, Л.Г. Митюшин, В.З. Санников.* Лингвистический процессор для сложных информационных систем. М., 1992.

Апресян и др. 2004 – *В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян, Е.Э. Бабаева, О.Ю. Богуславская, И.В. Галактионова, М.Я. Гловинская, С.А. Григорьева, Б.Л. Иомдин, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, А.В. Птенцова, А.В. Санников, Е.В. Урысон.* Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим рук. акад. Ю.Д. Апресяна. Изд. 2-е, испр., доп. Москва; Вена, 2004.

Арутюнова 1988 – *Н.Д. Арутюнова.* Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М., 1988.

Арутюнова 1998 – *Н.Д. Арутюнова.* Язык и мир человека. М., 1998.

Богуславский 1982 – *И.М. Богуславский.* Синтаксис отрицательных предложений // Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1974–1978 гг. Синтаксис. Материалы для обсуждения. М., 1982.

Богуславский 1985 – *И.М. Богуславский.* Исследования по синтаксической семантике: Сферы действия логических слов. М., 1985.

Богуславский 1996 – *И.М. Богуславский.* Сфера действия лексических единиц. М., 1996.

Булыгина 1982 – *Т.В. Булыгина.* К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.

Булыгина, Шмелев 1997 – *Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев.* Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.

Вежбицкая 1996 – *Анна Вежбицкая.* Язык, культура, познание / Отв. ред. и сост. М.А. Кронгауз. М., 1996.

Виноградов 1947 – *В.В. Виноградов.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.; Л., 1947.

Гловинская 1982 – *М.Я. Гловинская.* Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.

Гловинская 1993 – *М.Я. Гловинская.* Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.

Гловинская 2001 – *М.Я. Гловинская.* Многозначность и синонимия в видо-временной системе русского глагола. М., 2001.

Гловинская 2005 (в печати) – *М.Я. Гловинская.* Речевой акт. Цель, мотивировка, причина (в печати).

Долинина 1996 – *И.Б. Долинина.* Количественность в сфере предикатов (категория "глагольной множественности") // Теория функциональной грамматики. Качественность. Количественность. СПб., 1996.

Жолковский и др. 1961 – *А.К. Жолковский, Н.Н. Леонтьева, Ю.С. Мартемьянов.* О принципиальном использовании смысла при машинном переводе // Машинный перевод. Труды института ТМ и ВТ АН СССР. Вып. 2. М., 1961.

Жолковский 1964 – *А.К. Жолковский.* Лексика целесообразной деятельности // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 8. М., 1964.

Зализняк 1992 – *Анна А. Зализняк.* Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния. München, 1992.

Иомдин 1990 – *Л.Л. Иомдин.* Автоматическая обработка текста на естественном языке: модель согласования. М., 1990.

Иорданская 1985 – *Л.Н. Иорданская.* Семантико-синтаксические особенности сочетаний частицы *не* с иллокутивно-коммуникативными глаголами в русском языке // RLing. 1985. V. 9. № 2–3.

Ицкович 1974 – *В.А. Ицкович.* Очерки синтаксической нормы // Синтаксис и норма. М., 1974.

Карцевский 1928 – *С.И. Карцевский.* Повторительный курс русского языка. М.; Л., 1928.

Карцевский 2004 – *С.И. Карцевский.* Система русского глагола. Опыт синхронического лингвистического описания // С.И. Карцевский. Из лингвистического наследия. М., 2004 (Изд. 1-е 1927 г).

Кустова 1999 – *Г.И. Кустова.* Перцептивные события: участники, наблюдатели, локусы // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке / Отв. ред. чл.-корр. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина. М., 1999.

Маслов 1965 – *Ю.С. Маслов.* Система основных понятий и терминов славянской аспектологии // Вопросы общего языкознания. Л., 1965.

Мельчук 1974 – *И.А. Мельчук.* Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ⇔ Текст». М., 1974.

Мельчук 1995 – *И.А. Мельчук*. Русский язык в модели «Смысл ⇔ Текст» // Wiener slawistischer Almanach. Sonderband 39. Москва; Вена, 1995.

Мельчук, Жолковский 1984 – *И.А. Мельчук и А.К. Жолковский*. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Опыт семантико-синтаксического описания русской лексики. Вена, 1984.

МППЛ 1964 – Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 8, М., 1964.

Падучева 1996 – *Е.В. Падучева*. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.

Падучева 1997 – *Е.В. Падучева*. Родительный субъекта в отрицательном предложении: синтаксис или семантика? // ВЯ. 1997. № 2.

Падучева 2004 – *Е.В. Падучева*. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

Пешковский 2001 – *А.М. Пешковский*. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 8-е, доп. М., 2001 (Изд. 1-е 1914 г.).

Рахилина 2000 – *Е.В. Рахилина*. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М., 2000.

Розина 2004 – *Р.И Розина*. Семантическое развитие слова в русском литературном языке и современном сленге: глагол. Автореф. дис. ... докт. М., 2004.

Санников 1989 – *В.З. Санников*. Русские сочинительные конструкции: семантика, прагматика, синтаксис. М., 1989.

Селиверстова 1982 – *О.Н. Селиверстова*. Второй вариант классификационной сетки и описание некоторых предикатных типов русского языка // Семантические типы предикатов / Отв. ред. О.Н. Селиверстова. М., 1982.

Урысон 2003 – *Е.В. Урысон*. Проблемы исследования языковой картины мира. Аналогия в семантике. М., 2003.

Храковский 1989 – *В.С. Храковский*. Семантические типы множества ситуаций и их естественная классификация // Типология итеративных конструкций. Л., 1989.

Шахматов 1925 – *А.А. Шахматов*. Очерк современного русского литературного языка. Л., 1925.

Шахматов 1941 – *А. А. Шахматов*. Синтаксис русского языка. Л., 1941.

Янко-Триницкая 1962 – *Н.А. Янко-Триницкая*. Возвратные глаголы в современном русском языке. М., 1962.

Apresjan 2000 – *Juri D. Apresjan*. Systematic lexicography. Oxford, 2000.

Babby 1978 – *L. Babby*. Negation and subject case selection in existential sentences: evidence from Russian. Bloomington, 1978.

Babby 1980 – *L. Babby*. Existential sentences and negation in Russian. Ann-Arbor, 1980.

Guiraud-Weber 1984 – *M. Guiraud-Weber*. Les propositions sans nominatifs en russe moderne. Paris, 1984.

Iordanskaja, Paperno 1996 – *L. Iordanskaja, S. Paperno*. A Russian-English collocational dictionary of the human body. Columbus, 1996.

Jakobson 1971 – *R. Jakobson*. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre: Gesamtbedeutungen der Russischen Kasus // Selected writings, II Word and language. The Hague; Paris, 1971.

Mel'čuk 1997 – *I. Mel'čuk*. Vers une linguistique Sens-Texte. Paris, 1997.

Mel'cuk 2004 – *I. Mel'čuk*. Actants in semantics and syntax I: actants in semantics // Linguistics. An interdisciplinary journal of language sciences. Berlin; New York, 2004.

Mel'čuk et al. 1984 – *I. Mel'čuk, N. Arbatchewsky-Jumarie, L. Elnitsky, L. Iordanskaja, A. Lessard*. Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques I. Montréal, 1984.

Mel'čuk et al. 1988 – *I. Mel'čuk, N. Arbatchewsky-Jumarie, L. Dagenais, L. Elnitsky, L. Iordanskaja, M.-N. Lefebvre, S. Mantha*. Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques II. Montréal, 1988.

Mel'čuk et al. 1992 – *I. Mel'čuk, N. Arbatchewsky-Jumarie, L. Iordanskaja, S. Mantha*. Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques III. Montréal, 1992.

Mel'čuk et al. 1999 – *I. Mel'čuk, N. Arbatchewsky-Jumarie, L. Iordanskaja, S. Mantha, A. Polguère*. Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques IV. Montréal, 1999.

Vendler 1967 – *Z. Vendler*. The grammar of Goodness // Z. Vendler. Linguistics in philosophy. New York, 1967.

Wierzbicka 1987 – *Anna Wierzbicka*. English speech act verbs. A semantic dictionary. Sydney; Orlando etc., 1987.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2005

© 2005 г. Патрик СЕРИО

К.С. АКСАКОВ: ЛИНГВИСТ-СЛАВЯНОФИЛ ИЛИ ГЕГЕЛЬЯНЕЦ?

В статье излагаются основные положения философии языка русского славянофила-гегельянца К.С. Аксакова. К.С. Аксаков в своих трудах подчеркивает уникальный характер русского языка и невозможность описать его в категориях европейской лингвистики, в частности, в рамках компаративистики. Он проявляет в связи с этим явное отсутствие интереса к изучению родственных связей языков и корней, к идее общего происхождения индоевропейских языков из единого праязыка, к понятию преемственности. Для К.С. Аксакова язык – это материальный субстрат социальной психологии. Предлагается создание новой философии языка, в частности выдвигается тезис о необходимости "слушать" то, что русский язык "говорит" об истории русской нации; кроме того, ставится цель найти истинное место русского языка среди языков Европы и, наконец, показать *совершенство* его форм.

"Можно ли быть гегельянцем и славянофилом одновременно?" – задается вопросом А. Койре [Koyré 1950: 167], размышляя о православии. Эта классическая проблема обсуждалась уже неоднократно. В настоящей статье мы попытаемся ответить на данный вопрос в свете *славянофильской лингвистики*[1], опираясь на лингвистические работы Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860).

Для русского философа-эмигранта Д. Чижевского, специалиста по Г.В.Ф. Гегелю и члена Пражского лингвистического кружка, ответ однозначен: будучи решительным славянофилом, К.С. Аксаков до конца жизни оставался гегельянцем в своей философии языка [Tschizhevsky 1932: 18][2]. А. Валицки, напротив, утверждает, что быть славянофилом и гегельянцем одновременно невозможно, так как данные философские позиции несовместимы [Walicki 1975: 288].

Лишь внимательное чтение оригинальных текстов и восстановление их интеллектуальных источников позволяет найти выход из этой ситуации, на первый взгляд кажущейся тупиковой.

Специалист по романтическому мировосприятию Г. Гюсдорф предлагает следующее противопоставление: "В отличие от восемнадцатого столетия, века философов, девятнадцатый век стал веком филологов" [Gusdorf 1968: 30]. Однако исследователи русской культуры должны обращать особое внимание на важность фактора пространства для изучения научных идеологий. К уже известному понятию *дух времени* (air du temps) необходимо добавить более сложное понятие *дух места* (air du lieu). В самом деле, случай Аксакова совершенно опровергает утверждение Гюсдорфа. В рамках русского варианта романтизма (для которого язык является воплощением или словес-

---

[1] Под *славянофильской лингвистикой* мы подразумеваем работы по грамматике и философии языка, написанные в эпоху "Великих реформ" Александра Второго и во многом противостоявшие традиционной лингвистике той эпохи в полемике, где столкнулись взгляды славянофилов и западников – их спор затрагивал проблемы языка. Многим лингвисты-славянофилы (помимо Аксакова, назовем В.И. Даля, Н.П. Некрасова, Н.И. Богородицкого, А.А. Дмитриевского) в своих рассуждениях были обязаны немецкому романтизму – хотя в большинстве случаев это не было выражено в их работах со всей должной очевидностью.

[2] Через семь лет Д. Чижевский напишет о том, что "философия истории Гегеля прекрасно могла служить основою для славянофильства" [Чижевский 1939: 164].

ным проявлением народного духа), Аксаков – философ языка, упражняющийся в грамматике, – выстраивает философские рассуждения о грамматических категориях русского языка.

Наступление эпохи романтизма можно представить, в частности, как изменение взгляда на библейский эпизод вавилонского столпотворения, отныне символизирующий восторженное открытие чудесного многообразия феноменов окружающего мира, оцениваемого исключительно положительно. В то же время, Аксаков вписывается в данную парадигму неоднозначно. Дело в том, что он интересуется не столько *разнообразием* явлений, сколько их *различиями*, – в частности, различиями, противопоставляющими Россию "Европе". Не особенно беспокоили Аксакова и проблемы *случайного*, так как он интересовался, в первую очередь, поисками гармонического места России и ее языка в мироздании. В своих основных постулатах Аксаков и другие славянофилы середины девятнадцатого века в основном воспроизводят главные темы рассуждений о языке в семнадцатом веке в Германии: в то время участники дискуссий стремились возвысить статус германских языков по сравнению с романскими (а также кельтскими) и освободить изучение диалектов Севера от влияния модели описания классических языков, подчеркивая при этом принципиальное различие в выражении ими характерного поведения соответствующих групп населения. У Аксакова данная модель, очевидно, перемещается на Восток: в общих чертах, отношение немцев к рассуждениям французов воспроизводится теперь на русской почве как отношение русских мыслителей к французской и немецкой традициям, воспринимаемым как единое целое.

Помимо утверждения о различии, в рассуждениях Аксакова можно в какой-то степени увидеть продолжение парадигмы, объявленной им антагонистической славянофильству. Философское обоснование своим размышлениям о неповторимости русского языка он находит в немецкой философии. Здесь есть важный момент, на который, на наш взгляд, исследователи до сих пор недостаточно обращали внимание: заявления о разрыве, о различиях, о своеобразии и неповторимости часто оказываются тем более громкими, если они подразумевают не выраженную эксплицитно непрерывность стиля мышления. Так, в России XIX века соответствующие дискуссии велись как раз в терминах тех, от кого их участники на словах старались отмежеваться.

В лингвистических работах Аксакова встречаются контрастные и двойственные утверждения: язык для Аксакова – это чудесный и таинственный феномен вне всяких сравнений (как и прочие романтики, он очарован могуществом человеческого языка и его символов), и, в то же время, работа Аксакова состоит в умозрительной рационализации грамматических категорий русского языка на основе гегельянской философии.

Исследовав сначала альтернативные термины этой двойственной позиции, мы проанализируем затем два конкретных примера из работ Аксакова: его теорию формы и концепт "языкового содержания", а также применение гегельянской триады к рассуждениям о категории вида русского глагола.

1. УВЛЕЧЕНИЕ ЛОГИКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ВОПРЕКИ ТЕЗИСУ О САМОБЫТНОСТИ

Дискуссии, внесшие раскол в стан русской интеллигенции начиная с эпохи реформ Петра Первого и зазвучавшие особенно громко во время шока, испытанного вследствие непосредственного контакта русских с Западной Европой после победы русских войск над Наполеоном, строились вокруг двух разных систем метафор, дающих пищу рассуждениям о сущности России по отношению к Европе: *отставание* или *своеобразие*? Рассуждения об отставании, или о *разнице во времени*, основывались на интерпретации Гегеля представителями "поколения сороковых годов" (А.И. Герцен, Н.В. Станкевич, М.А. Бакунин). В них подчеркивался универсальный характер диалектики эволюции во *времени*: борьба противоположных начал, катастрофы и взрывы в эволюции как база существования и исторического развития всех социальных или культурных явлений. Два ключевых слова здесь – *прогресс* и *эволюция*.

Утверждение же о *своеобразии*, напротив, предполагало невозможность сравнения культур, народов, языков. Время едино для всех, однако конкретное пространство может принадлежать лишь одному-единственному народу. Этот релятивизм, свойственный и Аксакову, черпает поддержку в гумбольдтианской позиции: духовный характер народа и особенности языка последнего здесь смешиваются, а язык полагается выражением народного духа. По В. фон Гумбольдту, язык народа есть его дух, а дух народа есть его язык.

На самом деле, две эти позиции суть следствия двух разных интерпретаций материала, идейное богатство которого вполне допускало два противоположных прочтения. Речь идет о гегельянстве, этой "официальной" философии в Германии в течение всего девятнадцатого столетия. Парадоксальным образом, гегельянство служило общим фоном для работ таких непримиримых соперников, как западники и славянофилы.

1.1. Гегель и умозрительная философия истории

Грамматика была лишь одним из многих других занятий Аксакова, стремившегося дать философскую интерпретацию различным феноменам культуры (литература, фольклор, эстетика, история и т.д.), за которыми он стремился найти "органическое единство".

В отличие от многочисленных русских лингвистов своего поколения, Аксаков не учился у великих немецких лингвистов-романтиков – таких, как А. Шлегель (1767–1845), не знал он их и лично. Тем не менее, он прочел очень многое из Гегеля, ставшего для него культовой фигурой. Сам стиль письма и мышления Аксакова настолько проникнуты гегельянством, что его диссертация о М.В. Ломоносове [Аксаков 1846а] показалась в свое время М.П. Погодину "написанной по-немецки русскими словами" ([РА 1904], цит. по [Koyré 1950: 166]). В то же время, если Аксаков и пишет, как Гегель, он почти не цитирует его[3]. Не ясно, освоил ли он всю его философию до конца.

Выражая саму жизнь духа, ритм гегельянской диалектики воспроизводит также и ритм истории литературы и языка. Эта система с неизбежностью предполагает *эволюцию*, в ходе которой универсальное выражается и осуществляется в разных феноменах. Эволюция необходима: будучи неподвижным, универсальное превратилось бы в чистое небытие. Поэтому в различных феноменах оно отрицает самое себя и, тем самым, себя проявляет. Момент отрицания играет в этой интеллектуальной конструкции очень важную роль: эволюция осуществляет себя в отрицании, отрицании отрицания и т.д. Таким образом, отсутствие чего-либо, будучи "отрицанием присутствия", иногда бывает столь же важным, сколь и это последнее, – точно так же, как, к примеру, отсутствие искусства в жизни какого-то народа, отсутствие определенных категорий в некотором языке и т.д.

Как и все философы пост-кантианцы, Аксаков реабилитирует концепт противоречия, отказываясь от аристотелевской логики исключенного третьего. Он пытается применить диалектику Гегеля к категориям русского языка.

1.2. Несравнимое и абсолютная самобытность

Семья Аксакова была одной из немногих образованных для своего времени, где дома говорили исключительно по-русски – не только со слугами, но и между собой. Как и его отец и брат, Аксаков стремился раскрыть "истинную природу" России, найти ее

---

[3] Следует, тем не менее, напомнить, что после событий 1848 года в Центральной Европе, в России было запрещено цитировать Гегеля. По духу это вполне соответствовало закрытию всех учебных заведений, в которых преподавалась философия, и передаче соответствующих функций богословным учреждениям.

место в мире, в особенности в свете ее отношений с Западом. Оригинальный характер его работы состоял в попытках найти ответы на все эти вопросы в *языке*.

Славянофилы уделяли большое внимание проблемам языка. Для них, как и для романтического направления в целом, язык представлял собой органическую целостность[4], развивающуюся в истории, подобно живому существу. В каждую эпоху она воплощает некое коллективное бессознательное, в котором черпают вдохновение поэты и народная мудрость. Эта идея положила конец мечте об экуменизме, свойственной эпохе Просвещения. В России же оспаривались идеи, пришедшие с Запада.

Аксаков призывает отказаться от "иностранных очков" и "выслушать открытым слухом ответ, какой дают русский язык, русская история" [Аксаков 1855: 8]. Он постоянно пишет об уникальном характере русского языка и о невозможности адекватно описать его в категориях "европейской" лингвистики, разработанной для описания языков Западной Европы. Он призывает освободить русскую грамматику от ярма старой универсальной логико-схоластической грамматической традиции. Здесь он, безусловно, дитя своей эпохи – прежде всего, в своем навязчивом стремлении к чистоте, а также в постоянных рассуждениях о вырождении и дегенерации. Его понятие *самобытного* опирается на отрицание подражаний в науке и заимствований в языке: "Долой все заемное" – вот его лозунг.

Мы имеем дело, таким образом, со своеобразной инверсией, "перевертышем" идеи компаративного проекта Европы в восемнадцатом веке: сравнение, основывающееся в данном случае на тезисе о принципиальной несравнимости, служит отныне не объединению, как в случае К.Ф. Вольне (1757–1820) (открывать похожее в разнообразии форм), но разделению, разъединению.

Понятно, поэтому, и совершенное отсутствие интереса к изучению родственных связей и корней, идее общего происхождения, преемственности, реконструкции праязыка. В отличие от работ немецких лингвистов-романтиков (к примеру, братьев Ф. и А. Шлегелей), в текстах Аксакова предвосхищается не биологический органицизм – и это несмотря на постоянное использование метафоры "жизни", – а важным оказывается определение своеобразия и самобытности (identité), стремление показать разрыв, установить различия. *Быть* для него, как и для других славянофилов, – это *быть другим*, что и подразумевает самобытность, с необходимостью определяемую существованием Другого[5]. Сложность в том, что само это различие описывается в терминах заимствованной философии – гегельянства, и в той или иной степени этим отмечены все работы Аксакова по грамматике.

Лингвистическое наследие Аксакова поражает сочетанием удивительных интуитивных прозрений и, пожалуй, чересчур смелых размышлений и теоретических построений, даже если последние и не кажутся на первый взгляд столь фантастическими, как знаменитые этимологические изыскания А.С. Хомякова, выделявшего следы славянских основ во всей топонимике Западной Европы[6].

Аксаков не предлагает ни типологии языков, ни их иерархии, в отличие от братьев Шлегелей. В его трудах – в равной степени лингвистических и исторических – обращает на себя внимание, прежде всего, тема своеобразия, самобытности. Если проводить сравнения, речь идет, скорее, не о тщательных технических методах, как у Ф. Боппа,

---

[4] Об органической целостности см. [Серио 2001].

[5] Это основная тема "Напутного слова" В.И. Даля к своему словарю 1862 г. [Даль 1862], ставшего своеобразным манифестом славянофильской лингвистики.

[6] Так, Хомяков полагал, что вся юго-западная часть Франции, до прихода галлов, была населена славянами, о чем, по его мнению, свидетельствовала топонимика: Périgord = Пригорье, Bigorre = Погорье, Cahors = Когорье, Vendée, земля свободы = Венд, как и Венеция, le Roussillon = Русь, а Antibes = Ант(ы), другое возможное название славян. В то же время, название англичан как нации свидетельствует якобы об их принадлежности к славянскому племени угличей [Хомяков 1861: 92–93].

но о самых общих ценностных суждениях: западные языки предполагают рациональный, чисто внешний подход к действительности, а не органический, свойственный русскому языку.

Для Аксакова, как и для прочих лингвистов-славянофилов, язык является *константой*, постоянным фактором социального – или, точнее, психосоциального – порядка. Язык – это материальный субстрат социальной психологии. Аксаков ищет в языке воплощенное мышление, дух и даже судьбу народа, который на нем говорит. Поэтому сравнение языков для него служит лишь средством выявления народного духа. В русском, например, нет артикля – "члена, который всегда кажется нам странным и трудным при изучении других языков, который отнимает силу и краткость у выражения и, растягивая, ослабляет его" [Аксаков 1838: 11]; для русского языка характерны исключительное разнообразие и изменчивость грамматических форм слова ("В русском языке видим мы высочайшую изменяемость в слове, оно все движется, живет; один корень, как вечный дух слова, остается пребывающим, а все вокруг него и с начала до конца, движется и изменяется" [там же]); русский язык выражает мысли более точно и ясно, благодаря флективной парадигме своих базовых форм: "Шесть падежей заменяют толпу предлогов, ослабляющих выражение" [там же: 18]. Грамматические особенности русского языка – такие, как оппозиции времени и вида, полных и кратких форм прилагательных, использование глагола "быть", а не "иметь", в качестве вспомогательного, – все это позволяет Аксакову утверждать, что "русский язык ближе всех европейских к общему источнику слова, а потому вместе и самый древний и самый юный. В нем ни одна буква не застоялась, в нем каждый звук живет и изменяется" [там же: 13]. Здесь очевидна биологическая метафора *зародыша-эмбриона, имеющего сильную потенцию и способность к развитию.*

Для лучшего понимания связности лингвистической мысли Аксакова и несмотря на все ее сложности и нюансы, необходимо хорошо понимать, кто же были его противники, "против кого" он писал. Это не легко, ибо последние явно присутствуют в его сочинениях, в то же время не называясь по именам. Прежде всего, это "абстрактная логика" – скорее всего, общие грамматики, вышедшие из грамматической традиции Пор-Рояля, и стоящая за последней традиция применения аристотелевской логики к грамматике. Важным, однако, оказывается сам концепт универсального (*universalité*), немедленно ассоциирующийся с образом Другого: это Запад, а точнее, философия Просвещения в своем самом рационалистическом варианте. В общем Аксаковым отрицается и отбрасывается кантианская космополитическая философия истории, где прогресс, как и у французских революционеров, предполагает резкий разрыв с прошлым. В этом отношении Аксаков органично вписывается в немецкое посткантианство, вставая на сторону зарождающегося национализма. Однако романтизм у него тоже не в чести: во имя гегельянской философии прогресса и эволюции, Аксаков отказывается признать шлегелевскую оппозицию праисторических древних языков и "упадническихъ" исторических языков. Это еще одно "больное место" его концепции. Дело в том, что русский язык не получает определенного места на шкале, последовательно располагающей языки от расцвета (начальная точка) до вырождения (конечная точка), как это представлено в диахронической типологии романтиков. Степень совершенства языков не может быть представлена единой шкалой. Важно и существенно то, что русский язык – *иной*, и этим все сказано. Если работы немецких романтиков основывались на сравнении, в перспективе предполагавшем проникновение в тайны человеческого духа, цель Аксакова состоит в том, чтобы воспеть самобытный характер русского языка, в принципе не сравнимого ни с какими другими. Самобытность, по Аксакову, выражается в том, чтобы быть не таким, как другие. Понятно теперь, что органическая метафора языкового родства была мало интересна Аксакову: ведь признать родство между русским и другими индоевропейскими языками означало бы отрицать сам объект штудий славянофилов, стремящихся продемонстрировать абсолютное своеобразие, самобытность всего русского. Своеобразие это выражается в отношениях между языком и мышлением. Для Аксакова цель русской филологии со-

стоит не столько в том, чтобы изучать способ выражения мысли *через* язык или *в* языке, сколько в раскрытии мышления языка, проникновении в его сущность, его внутренние органические законы. Речь идет о резкой критике рационалистического принципа отождествления логики и грамматики, который Аксаков заменяет гумбольдтианским принципом отождествления языка и мышления: язык не просто выражает мышление, но его воплощает [Аксаков 1846а: 32].

Этот отказ от традиции общих грамматик, основанных на универсальной логике, мотивируется тем фактом, что последние не признают самобытности русского языка и несут в себе опасность растворения в иностранных схемах и подчинения им. Все это влечет за собой дискредитацию проекта общей лингвистики во имя специфических лингвистических исследований каждого языка. Однако систематическое применение гегельянской диалектики способствует трансформации данной позиции в философию языка, или, если точнее, в спекулятивную, умозрительную лингвистику.

1.3. Романтическая теория познания

Задачу лингвистики Аксаков видит в том, чтобы создать грамматическое описание русского языка, которое соответствовало бы его национальной специфике. Оказывается, таким образом, что *метод создается объектом*, а потому грамматических дисциплин должно существовать столько, сколько существует описываемых языков[7]. Именно в этом отношении работа Аксакова кажется нам особенно интересной, но, в то же время, и двусмысленной: конечно, можно лишь примкнуть к дескриптивной программе, позволяющей раскрыть специфичность описываемого объекта. Однако не следует забывать и об опасности аутизма, закрытости, которую она несет в себе. Создание науки, полностью адекватной своему объекту и существующей только ради него, науки *ad hoc*, делает невозможным всякое сравнение. Но не является ли это имплицитной стороной данного интеллектуального проекта? Если культуры полагаются не сравнимыми друг с другом, исчезает опасность сравнения, которое могло бы оказаться неблагоприятным. Следовательно, провозглашает Аксаков, "да освободится и язык наш от наложенного на него ига иноземной грамматики, да явится он во всей собственной жизни и свободе своей" [Аксаков 1846б: 406]. Аксаков призывает *отказаться от подражания* (типично романтическая тема поиска самобытности) и дать возможность проявиться внутренней свободе языка[8], выявить специфичность русской грамматики, выражающей бездонные глубины народного духа. Следует подчеркнуть, что поиск самобытности у Аксакова отнюдь не предполагает ксенофобии, речь идет лишь об особой, эксплицитно выраженной, теории познания: *познать можно лишь самого себя*: "И русские, и немцы пытались объяснить русский глагол, но доселе безуспешно. Нет сомнения, что иностранцам трудно постигнуть язык, им чуждый; особенно немцам трудно постигнуть язык русский: но едва ли легче понять его и русскому, руководимому иностранными воззрениями вообще" [Аксаков 1855: 5–6].

В славянофильском движении именно объект создает точку зрения, а не наоборот: объект определен изначально (он не является результатом поиска; в отличие от гипотетически-дедуктивного подхода, можно даже говорить о пресуппозиции его изначального существования, которое не ставится под сомнение), и следует создать особую науку, адекватную этому объекту[9]. Речь идет о русском языке в его абсолютном своеобразии. Таким образом, мы приходим к началам *теории двух наук*: только по-

---

[7] Лейтмотивом выступают две фразы: "Обратимся к самому языку нашему" [Аксаков 1855: 11] и "Для языка русского иностранное воззрение не годится... для него нужно особое объяснение" [там же: 6].

[8] Аксаков, которого в свое время называли "вечным подростком", путает здесь правила (règle-réglement) и закономерности (règle-régularité).

[9] "Доселе понимание еще не уравнялось с предметом" [Аксаков 1855: 5].

настоящему национальная лингвистика способна охватить и постичь соответствующий национальный язык во всей его целостности, только русская наука может изучить Россию как объект познания.

Итак, на основе изучения особенностей русского языка, предлагается создание новой философии языка (хотя и можно задаться вопросом, что же в ней было действительно нового, по сравнению с лингвистическими дискуссиями в Германии в течение предшествующих десятилетий). Научная программа состоит теперь в том, чтобы "слушать" то, что русский язык говорит об истории русской нации (как у всех лингвистов-романтиков, все *содержание* языка находится уже в нем самом, более того – язык сам по себе уже является содержанием), найти истинное место русского языка среди языков Европы и, наконец, показать *совершенство* его форм.

Вопреки "абстрактным" представлениям, Аксаков придает большое значение качественному и интуитивному подходу. Язык, как и Жизнь, сам себя объясняет и обуславливает, что оправдывает отказ от поиска внешней причинности. Абсолютное самоопределяющее начало – вот что такое "жизнь языка". Согласно этой виталистской идеологии, принцип "самодвижения" и развития языка находится уже в нем самом.

Эта романтическая теория познания противопоставляется концепциям как Р. Декарта, так и И. Канта. Ее хорошо резюмирует известная фраза И.Г. Гердера о том, что человек не может ни познать, ни почувствовать то, чем не является. А если познать можно лишь самое себя или себе подобное, ни о каком сохранении критической дистанции между субъектом и объектом познания говорить, конечно, не приходится.

Однако можно пойти еще дальше и выделить эпистемологические основания данного когнитивного подхода: основной темой теории познания, заимствованной Аксаковым из немецкой натурфилософии, является категорический отказ от всякого разделения *субъекта* и *объекта* познания вообще. Отсюда обращение к Трансцендентному, где субъект и объект объединяются в единстве Абсолютного начала. В этом отношении Аксаков оказывается верным адептом *философии тождества* (Identitätphilosophie) Ф.В. Шеллинга.

При анализе этой теории познания мы в очередной раз сталкиваемся со следующей проблемой: конечно, существует необходимость в тщательном эмпирическом изучении *фактов*, однако "романтическое знание" (выражение Гюсдорфа) интерпретирует их иначе, чем позитивизм, – если единство находится вне феноменов, речь идет о единстве трансцендентальном, а потому не существует никакой эмпирической науки, способной его постичь. Познать его можно лишь неэмпирическим путем: интеллектуальной интуицией, которая делает из филологии скорее искусство, чем науку, по словам Ф. Шлейермахера ([Schleiermacher 1805: 33], цит. по [Formigiari 1988: 71]).

Теперь становится понятно, почему теории Аксакова можно назвать "не до конца осуществленным романтизмом": если исследователь проявляет так мало интереса к истории славянских языков, к этимологии, к реконструкции исходного праязыка славян, то это потому, что декларируемая им абсолютная самобытность русского языка, изучаемого в генеалогическом аспекте, а следовательно, сопоставляемого с родственными языками, могла бы от этого сравнения сильно пострадать. Мерилом сравнения мог бы стать общий предок языков, но это угрожало бы самой идее поиска русской самобытности, навязчиво преследуемой в данном научном проекте.

2. "ЯЗЫКОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ" И ТЕОРИЯ ФОРМЫ

В отличие от сделанных полвека спустя заявлений А. Бергсона, для Аксакова, как и для Гегеля, мышления без слов, без языковых форм попросту не существует. Язык "думает" уже сам по себе, благодаря своим формам, флексиям, словообразованию и т.д. Именно это *мышление языка*, проявляющееся в разных формах, а не различные выражения одной и той же идеи, должна изучать грамматика – общий подход, стало быть, должен быть сугубо семасиологическим, а не ономасиологическим, как в общих грамматиках традиции Пор-Рояля, исходящих из мышления, чтобы прийти к языку:

"Что не нашло себе отдела особой формы, особого выражения в самом слове, то не должно и не может войти в грамматику" [Аксаков 1860: 22].

Как полагает Аксаков, грамматический анализ русского языка, опирающийся на иностранные категории, обречен на неудачу. Поэтому он предлагает "новые пути": теорию "словесных форм" и основных значений. Беря за основу изучение *формальной стороны* языка, Аксаков стоит у истоков направления, ставящего последнюю во главу угла. Среди продолжателей этой линии мышления были Ф.Ф. Фортунатов (1848–1914) и А.М. Пешковский (1878–1933)[10].

Аксаков ясно различает значение формы, ее употребление и синтаксические функции, с одной стороны, и, с другой, "логические" концепты, навязанные словам и их формам извне; из этого следует, что вся семантика оказывается включенной в язык. Язык – это *воплощенное* мышление. Именно поэтому анализ языковой формы оказывается столь важным для изучения содержания, выраженного, воплощенного и *раскрываемого* в языке.

Аксаковская теория формы со всей своей очевидностью проявилась в полемике, которую Аксаков вел [Аксаков 1859], возражая против грамматики своего противника-западника В.Г. Белинского. Белинский пытался априорно связать части речи с определенными синтаксическими функциями, как это делалось в общих и философских грамматиках [Белинский 1837]. На самом деле, здесь подразумевалось (хотя и не упоминалось эксплицитно) учение Аристотеля.

Аксаков опирается на следующий постулат: анализ частей речи не может начинаться с изучения их смысловой стороны (к примеру, нельзя считать существительное единственной языковой формой, выполняющей функции подлежащего), так как это был бы уже анализ скорее концептов, а не *формы, присущей* каждому слову. Точно так же не следует отождествлять грамматические категории с логическими, что подразумевало бы создание универсальной семантики, а следовательно, и отказ от постулата о специфике связей конкретного языка с особым типом мышления. Будь то глагольные суффиксы или падежи, значение для Аксакова имеет прежде всего *форма*, а не поверхностные "нюансы", связанные с конкретным языковым употреблением. Каждая форма связывается с единственным общим значением (sens général) – "собственным" смыслом (sens propre), который впоследствии выражается или реализуется в различных нюансах языкового употребления. Аксаков занят поиском логики форм: "Наше дело указать на формы и флексии русского языка, и в логическом отношении сравнительно с другими языками" [Аксаков 1860: IX]. Таким образом, каждому падежу должно соответствовать некое *основное значение*, органически ему присущее и *единственное*. Речь идет о поиске органической сущности явления, скрытой за его эмпирической внешней стороной. Конечная цель этого – обнаружение единичного за многим, недвижимого за изменчивым, целого за частным.

Аксаков с резкой критикой обрушивается на тех, кто определяет смысл падежей, исходя из их основного (самого частого) употребления или даже из некоего исчерпывающего списка всех употреблений: "Здесь надобно заметить, что до сей поры падежи рассматривались по употреблению их в самой речи, под управлением предлогов или глаголов, где они являются в различных случайностях... Самое полное определение в наших грамматиках есть то, которое наиболее исчисляет общих случаев употребления; очевидно, что это понимание весьма условное, внешнее и недостаточное. Нам кажется, что такое воззрение должно сбивать с толку, ибо всякое случайное определение (если мы вздумаем принять оное за общее определение) закрывает перед нами закон, являющийся в нем лишь какою-нибудь одной стороною своею. Полное исчисление всех случаев невозможно... ибо это все частные случаи употребления, не только скрывающие общий закон, но часто противоречащие друг другу, как скоро не понят этот общий закон, в котором находят они свое единство и объяснение" [Аксаков 1860: 82].

---

[10] См. [Бондарко 1985; Колесов 1984].

Терминология Аксакова здесь сугубо эссенциалистская: каждая форма, в его концепции, обладает неким основным значением, являющимся его *внутренней сущностью*. Различные аспекты этой сущности и проявляются в специфических случаях употребления форм. Понятие "языкового содержания" Аксакова опирается на следующее его убеждение в духе Гегеля: "Наука есть сознание общего в явлении, целого в частности" [Аксаков 1860: VII].

Поэтому Аксаков предлагает изучение значений грамматических форм как языковых сущностей в себе, которые следует тщательно отличать от *употреблений*, всегда случайных, тех же самых форм в частных случаях. Грамматическая наука не должна сводиться к простому *описанию* частных фактов, она должна быть *экспликативной*, *объяснительной* наукой: за случайными фактами нужно уметь найти скрытый порядок.

Эта тема органического, внутреннего порядка неизбежно влечет за собой следующее утверждение: если за всеми внешними проявлениями стоит порядок, *исключений существовать попросту не должно*! Существование исключений в грамматиках Аксаков считает доказательством научной убогости последних: если за всем в языке стоит порядок, ни о каких исключениях говорить не приходится. Речь идет о специфической форме иконизма, рассуждениям о котором в русской лингвистике было уготовано великое будущее: так, Р. Якобсон положительно отзывается об Аксакове, настаивая на необходимости изучать "общее значение" формы (Gesamtbedeutung) [Jakobson 1932; 1936].

И в этом отношении Аксаков оказывается последовательным гегельянцем. Формализму Канта Гегель постоянно противопоставляет идею диалектической связи формы и содержания: не следует сводить все содержание к одному лишь *использованию* форм. Напротив, за ними нужно искать Абсолютное начало, вещь в себе. Научная же грамматика, достойная таковой называться, должна, согласно Аксакову, выделять именно *содержание языковых форм*. Однако эта "грамматика форм" Аксакова, несомненно, испытывает на себе и непосредственное влияние славянофильских принципов: идея формы оказывается центральной для тех, кто ищет в языке и в социальной жизни идиосинкратические проявления сознания и "духа" народа.

3. ВЕРБОЦЕНТРИЗМ И БÓЛЬШАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КАТЕГОРИИ ВИДА, ПО СРАВНЕНИЮ С КАТЕГОРИЕЙ ВРЕМЕНИ

Иностранным языкам Аксаков ставит в упрек отнюдь не механическое соположение аффиксов, а органическую гармонию он прославляет в русском языке далеко не во всех своих работах. Основное внимание он уделяет анализу грамматических категорий, таких, как категория *времени*.

Аристотель унаследовал от Платона понятия имени и глагола, выражающие, соответственно, *постоянное* и *переменчивое* (трактат "Peri hermèneias"). Речь, при этом, шла скорее о семантических, чем о морфологических классах. Аксаков не может не поставить под сомнение это "абстрактное", "внешнее" представление, это насилие над языком – и, в то же время, он использует его основные принципы: для него "жизнь" становится основной формой, которая противопоставляется бытию как движение – неподвижности, в то время как именно глагол передает эту жизненную субстанцию языка. Органическая метафора играет здесь важную роль: *жизнь* является исходной, самообъясняющей данностью[11]. Именно поэтому глагол занимает высшее место в глагольно-именной оппозиции: русский глагол отдает приоритет энергии, динамизму, волевому порыву. Глагол – это движение, изменчивость, жизненная сила, тогда как имя жестко, косно и постоянно. В этом лексиконе, полном виталистических и энергетических метафор, выражение "внутренняя, движущая" сила [Аксаков 1855: 16] занимает ведущее место.

---

[11] См. об этом [Comtet 1997: 63].

Аксаков принадлежит к тем, кто ставит под сомнение априорное определение грамматических категорий (к примеру, определение глагольных категорий через выражение времени). Он решительно возражает М.В. Ломоносову (1711–1765) и А.Х. Востокову (1785–1864), стремившимся наложить "на наш язык готовую рамку времен, взятую из иностранных языков" [Аксаков 1855: 6]. В самом деле, согласно Ломоносову, русский язык имеет все те же времена, что и другие языки (включая и сложные времена, как во французском и немецком).

В своем трактате 1855 года "О русских глаголах" Аксаков утверждает следующее: русский глагол не имеет категории времени; русский глагол организован в соответствии со степенями качества выражаемого действия.

В самом деле, Аксаков полагает, что русский глагол не имеет форм для передачи времени: время *вводится* лишь употреблением, конкретным использованием глагола, форма которого выражает "качество", то есть, вид, органически ему присущий, а не внешнюю и преходящую категорию, каковой является время. В русском языке нет времени в морфологическом смысле, так как в нем нет *специальной формы* для выражения времен. Так, в русском нет особых форм для выражения прошедшего времени ("прошедшее время" объявляется не более чем простым отглагольным прилагательным). Формы будущего времени часто используются для описания событий прошлого или настоящего, а потому их нельзя считать формами собственно будущего времени. Следовательно, в русском языке нет и будущего времени. Остается настоящее. Однако, если прошедшего и будущего времен нет, говорить о настоящем времени просто не имеет смысла. Последний аргумент Аксакова связан с тем, что использование одних времен в русском в значении других не позволяет говорить о временных *формах*. Глагольные формы в русском выражают не время, но качество действия, которое никак не связано с временными значениями. Следовательно, "время" в русском языке является не более чем проблемой употребления тех или иных глагольных форм, связанных с временными значениями лишь через общее значение (sens général) соответствующей формы. Видно, насколько девалоризуется здесь конкретное использование форм (уровень феномена, реализации, а следовательно, нечто частичное и несовершенное) в пользу их *внутреннего, органически им присущего* значения.

Так как о смысле можно говорить лишь при наличии соответствующих форм, а в русском языке нет специальных форм для выражения времени, времени в русском языке нет – стало быть, "смысл" снова смешивается с существованием или отсутствием особой формы, флективная морфология возводится в ранг абсолютной реальности, в ущерб аналитическому или лексическому выражению грамматических категорий.

Аксаков, никогда не ссылающийся на Аристотеля, фактически воспроизводит оппозицию *имя/глагол*, однако он изменяет ее аксиологическую ориентацию: в русском языке время больше не является одним из основных свойств глагола, роль такового отныне переходит к *виду*.

Русский язык, по Аксакову, выражает действие в его основном проявлении: это "качество", вскрывающее внутренний аспект (вид) действия, в отличие от времени, которое представляет лишь внешний его характер. В этом отношении русский язык оказывается "более глубоким", чем другие языки [Аксаков 1855: 15] и более совершенным, по сравнению с европейскими языками, указывающими лишь на временные, а следовательно, поверхностные аспекты действия. Вопрос "как?", связанный с внутренними, органически присущими категориями действия, в иерархии Аксакова гораздо более важен, чем вопрос "когда?": "Русский язык берет в расчет не время, но сущность, смысл самого действия" [Аксаков 1855: 33].

Аксаков говорит не об общепринятых двух, но о *трех* формах русского вида, которые он называет *степенями действия*. Это

- неопределенная степень, описывающая действие самым общим образом (например, *двигать*);
- однократная степень, изображающая действие в момент его совершения (например, *двинуть*);

– многократная степень, изображающая действие как серию моментов его реализации (например, *двигивать*).

Почему же Аксаков говорит именно о *трех* видах в русском языке? Дело в том, что его схема буквально отражает три момента диалектики Гегеля:

– субъективная недифференцированность, абстрактное;
– объективные различия; конкретное;
– абсолютное, или разрешение противоречия между двумя предшествующими моментами.

Так же, как, по Гегелю, каждое действие неизбежно проходит три этапа, в концепции Аксакова каждый глагол, передающий действие, должен иметь три формы, соответствующие этим трем этапам или трем степеням. Именно этот философский, априорный аспект данной теории, противоречащий заявлениям Аксакова о необходимости исходить из непосредственных фактов языка, ставили ему в упрек многие его современники[12].

Другие возражали ему силлогизмом в духе Аристотеля: глаголы выражают действия, однако ни одно действие не может совершаться вне времени, следовательно, русские глаголы выражают время ([Турунов 1855], цит. по [Фессалоницкий 1963: 64]).

Среди самих славянофилов экстравагантные тезисы Аксакова большой популярностью не пользовались. Для И.В. Киреевского ["Современник" 1855: 15] использование одних времен вместо других имело не более чем *переносное* значение, что подразумевало и наличие *прямого* значения у времен. Это означало, что время и вид необходимо *связаны* друг с другом.

В то же время Ф.И. Буслаев возражал Аксакову в другом, заменяя философское рассуждение о *формах* позитивистским изучением этимологических *фактов*: временная система старославянского была очень богатой, русский же язык развил виды из времен, а не наоборот. Как видно, диалог двух глухих здесь налицо: исследователи просто говорят о разных вещах.

На самом деле, позиция Аксакова-лингвиста в очередной раз оказывается двойственной: его теория вида основывается на идеалистической гегельянской триаде, однако теория времени в его концепции опирается на славянофильское положение об *абсолютном своеобразии* всего русского.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе мы стремились проследить за процессом возникновения и основными противоречиями свойственного славянофилам поиска самобытности: ограничить Себя от Другого (прежде всего, от Запада, воспринимаемого как единое недифференцированное целое), подражая его же методам (имеется в виду философия Гегеля). На поверку эта автономия оказалась несовершенной, а зависимость – вездесущей.

Отказ от "иностранных" моделей оставлял иногда место для блистательных интуитивных прозрений. Однако Аксаков попадает в собственную ловушку: воспроизводимая им гегельянская триада, диалектика общего и частного, делает недостижимой цель, состоящую в раскрытии абсолютного своеобразия русского языка и даже создания чисто русской науки о русской грамматике.

Теория формы Аксакова вписывается в посткантианскую философию, близкую к немецкой натурфилософии. Подобно органам чувств, науки, поэзия, религия, искусства оказываются путями приближения к пониманию универсума во всей его цельности и полноте. Поиск этого глобального знания, интуитивного осознания, в котором объединяются видимое и невидимое, очевидное и скрытое, внутреннее и внешнее, и объясняет всю упорную работу Аксакова, равно как и его исходные постулаты. Однако

---

[12] См., например ["Современник" 1855: 14–15], цит. по [Фессалоницкий 1963: 62]): "Система видов г. Аксакова основана не на свойствах самого духа, а на чуждой ему теории".

стремление разорвать этимологические связи русского с другими индоевропейскими – и даже славянскими – языками обесценивает этот глобальный философский проект.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аксаков 1838 – *К.С. Аксаков*. О грамматике вообще // Сочинения филологические. Т. 2. Ч. 1. М., 1875.

Аксаков 1846а – *К.С Аксаков*. Ломоносов в истории русской литературы и языка. М., 1846.

Аксаков 1846б – *К.С Аксаков*. Несколько слов о нашем правописании // Сочинения филологические. Т. II. Ч. 1. М., 1875.

Аксаков 1855 – *К.С. Аксаков*. О русских глаголах. М., 1855.

Аксаков 1859 – *К.С. Аксаков*. Критический анализ "Опыта русской грамматики" Буслаева. М., 1859.

Аксаков 1860 – *К.С. Аксаков*. Опыт русской грамматики. М., 1860.

Белинский 1837 – *В.Г. Белинский*. Основания русской грамматики для первоначального обучения. М., 1837.

Бондарко 1985 – *А.В. Бондарко*. Из истории разработки концепции языкового содержания в отечественном языкознании XIX в. (К.С. Аксаков, А.А. Потебня, В.П. Сланский) // Грамматические концепции в языкознании XIX в. Ленинград, 1985.

Даль 1862 – *В. Даль*. Напутное слово // Толковый словарь живого великорусского языка. М.; СПб., 1862.

Колесов 1984 – *В.В. Колесов*. Становление идеи развития в русском языкознании первой половины XIX в. // Понимание историзма и развития в языкознании 1-ой половины XIX века. М., 1984.

РА 1904 – "Русский архив". II. 1904.

Серио 2001 – *П. Серио*. Структура и целостность // Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. М., 2001.

"Современник" 1855 – "Современник" 1855. Т. 52.

Турунов 1855 – *Я. Турунов*. "Русский инвалид". № 170. 5 августа 1855.

Фессалоницкий 1963 – *С.А. Фессалоницкий*. Из отзывов о брошюре К.С. Аксакова "О русских глаголах" // Ленинградский гос. пед. ин-т им. Герцена. Уч. зап. Т. 248. 1963. Кафедра русского языка.

Хомяков 1861 – *А.С. Хомяков*. Полное собрание сочинений. Т. V. М., 1861.

Чижевский 1939 – *Д. Чижевский*. Гегель в России. Париж, 1939.

Comtet 1997 – *R. Comtet*. L'apport germanique à la réflexion sur la langue en Russie // Slavica occitania. 4. 1997.

Formigiari 1988 – *L. Formigiari*. De l'idéalisme dans les théories du langage. Histoire d'une transition // Histoire. Epistémologie // Langage. 10–1. 1988.

Gusdorf 1968 – *G. Gusdorf*. La parole. Paris, 1968.

Jakobson 1932 – *R. Jakobson*. Zum Struktur der russischen Verbums // Charisteria Gvilelmo Mathesio oblata. Praha, 1932.

Jakobson 1936 – *R. Jakobson*. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre: Gesamtbedeutungen des russischen Kasus // Travaux du Cercle linguistique de Prague. 6. 1936.

Koyré 1950 – *A. Koyré*. Études sur l'histoire de la penseé philosophique en Russie. Paris, 1950.

Schleiermacher 1805 – *F. Schleiermacher*. Hermeneutik / Hrsg. von H. Kimmerle. Heidelberg, 1959.

Tschizhevsky 1932 – *D. Tschizhevsky*. Zur Geschichte der russischen Sprachphilosophie. K. Aksakov // Charisteria Gvilelmo Mathesio quinquagenario a discipulis et circuli lingvistici pragensis sodalibus oblata. Praha, 1932.

Walicki 1975 – *A. Walicki*. The Slavophile controversy: History of a conservative utopia in 19th-century Russian thought. Oxford, 1975.

Перевела с французского *Екатерина Вельмезова*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2005

© 2005 г. М.И. ШАПИР

"ТЕБЕ ЧИСЛА И МЕРЫ НЕТ"
О возможностях и границах "точных методов" в гуманитарных науках *

Статья посвящена вопросу о пределах применимости так называемых точных методов при построении гуманитарной теории (понятия "точных методов" и "гуманитарного знания" эксплицируются во вводном разделе). Далее на материале теории стиха, лингвистической и теоретической поэтики критически рассматриваются три исследовательских стратегии: 1) стратегия дескриптивной математизированной теории, 2) стратегия прескриптивной математизированной теории и 3) стратегия элиминированной (имплицитной) теории; в рамках каждой из этих стратегий выявляются в принципе не устранимые логические и фактические противоречия. В конце статьи обсуждается природа обнаруженных методологических трудностей, а также пути их преодоления.

Среди них не было ни одного, кто не имел бы чего-нибудь чрезмерного в своем телосложении. У одного был горб, как у верблюда, у другого нос, свисавший через нижнюю губу, у третьего уши, как у совы, и рот, рассекавший голову на две половины, а у четвертого чудовищное брюхо, словом, даже китайская фантазия не могла бы измыслить ничего более причудливого...

К. М. Виланд. История принца Бирибинкера

1. Введение в проблему. Развитие науки в XX в. во многом прошло под знаком стремления к максимально возможной точности и строгости в целом ряде гуманитарных дисциплин. Широко признано, что предел и образец точности в науке задает математика (ср. [Успенский 1997: 128; 2002: 624]), и потому повышенный уровень строгости достигался в первую очередь за счет героических попыток математизировать гуманитарное знание. Я называю их героическими, потому что они требовали огромных интеллектуальных усилий и потому что они наталкивались на мощное сопротивление со стороны консервативного большинства (только не забудем, что научная консервативность, как и любая другая, амбивалентна: мешая прогрессу, она – в лучших своих проявлениях – стимулирует здоровый скептицизм и помогает не растерять традиционные профессиональные навыки). В последние десятилетия прошлого века мода на научность, не успев как следует закрепиться, началá стремительно спадать, и адепты точности, сохранившие верность идеалам, незаметно для себя сами превратились в консерваторов. В результате остался без ответа вопрос о возможностях и границах "точных методов" в гуманитарных науках; их математизация приостановилась в начале пути – раньше, чем ее сторонники уперлись в стену. Но поскольку огромный научный потенциал оказался вовремя не использован-

* Работа выполнена по гранту РФФИ [проект № 04–06–80293 "Точные методы в изучении русского поэтического языка (методология — теория — история)"] и гранту Президента РФ на поддержку ведущих научных школ № НШ–2173.2003.6 (научная школа М.Л. Гаспарова).

ным, поставленный вопрос с повестки дня был не снят, а покамест отложен – рано или поздно придется на него отвечать.

Прежде чем к нему подступиться, надо хотя бы в общих чертах прояснить, во-первых, что я буду иметь в виду под "точными методами", а во-вторых, какие науки я отношу к числу гуманитарных. И то и другое не самоочевидно. Нет нужды спорить, что математический аппарат сам по себе еще не гарантирует искомую точность (см. [Грекова 1988]), которая подчас обретается гуманитариями и без обращения к математике (ср. морфологию сюжета волшебной сказки у В.Я. Проппа [1928]); тем не менее "точные методы" – как правило, синоним математических[1]. Споры, впрочем, может вызывать объем и содержание понятия математических методов. Так, по словам В.А. Успенского, "математизация отнюдь не сводится к выражению явлений в числах, таблицах и графиках. Числа, таблицы и графики могут вообще отсутствовать. Главное в математизации – это создание такого описания явления, которое было бы безупречным с логической точки зрения, а математика выступает здесь в роли оценщика (и одновременно идеала) степени логической безупречности" [Успенский 1997: 128; 2002: 624]. Однако вряд ли логичности научного высказывания достаточно, чтобы сделать его математически фундированным: формальная логика зародилась за пределами математики и стала релевантной для всех эмпирических наук намного раньше, чем математическая логика оформилась в качестве специальной отрасли точного знания (это произошло в середине XIX в.). Не совсем понятно и то, как математика, будучи логически неоднородной, возьмет на себя функцию "оценщика": с классической логикой в ней конкурирует интуиционистская, а оптимальный выбор логической системы в конце концов приходится делать изнутри эмпирической науки, с учетом ее интересов и потребностей.

Позиция В.А. Успенского и его единомышленников отражает реальное сближение наук, но только не в аспекте математизации гуманитарного знания, а наоборот – в аспекте гуманитаризации математического. Это своего рода математический экспансионизм: сперва математика существенно расширила сферу своих интересов, повернувшись лицом в сторону гуманитарных дисциплин, а потом все точки схождения с ними стала рассматривать как их математизацию[2]. Я убежден, что для моей темы гораздо важнее такое понимание, которое базируется не на "периферийных" областях математики, освоенных в последнее время, а на ее исконном предмете, каковым, без сомнения, является число. Следуя Энгельсу, А.Н. Колмогоров определял математику как "науку о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира" [Колмогоров 1954: 464]. Это определение перестало быть исчерпывающим: "Кроме количеств⟨енных⟩ и пространств⟨енных⟩ отношений и форм, в М⟨атематике⟩ изучаются др⟨угие⟩ отношения и формы, в частности в *математической логике* – формы логич⟨еского⟩ вывода, в геометрии – *n*-мерные пространства, которые, конечно, не являются пространств⟨енными⟩ формами в обычном смысле" [Александров 1964: 329]. Но количественные отношения и пространственные формы по-прежнему составляют "первый и основной предмет М⟨атематики⟩" [Александров 1964: 329]. Исходя из этого под экспансией "точных методов" я понимаю главным образом квантификацию гуманитарного знания, а одно из

[1] Причина такого словоупотребления, принятого и в настоящей статье, – это традиционное деление наук на точные (математические) и эмпирические, которые далее подразделяются на естественные и гуманитарные.

[2] Ср.: «⟨...⟩ сближение математики с гуманитарными дисциплинами привело к определенной "гуманизации" математики, к проникновению в нее подходов и точек зрения, характерных для наук гуманитарного цикла ⟨...⟩ можно даже сказать, что для наших дней типичен не только математически мыслящий гуманитарий, но и гуманитарно мыслящий математик» [Яглом 1980: 7].

важнейших ее направлений, согласно Колмогорову [1954: 465], – это применение математической статистики[3].

Другое недоразумение связано с внутренней формой одного из заглавных терминов: если ей следовать буквально, к гуманитарным придется отнести все науки о человеке. Это явный абсурд: при таком подходе гуманитарный статус получит изучение костно-мышечной системы человека или, скажем, его физиологических отправлений. Ученых-гуманитариев интересует в человеке не природное, а культурное, не естественное, а искусственное; иными словами, гуманитарные науки – это науки о культуре, прежде всего о культуре духовной и ее субституциях в быту (ср. [Шапир 1990а: 130, 135; 2000а: 9; 2002в: 56]). Данным определением можно было бы удовольствоваться, если бы не сомнения, как расценивать некие проявления человека, и в том числе его язык: феномен ли это искусственного или естественного порядка? Чтобы избавиться от затруднений, есть смысл продукты человеческой деятельности считать объектами культуры в той мере, в какой их появление либо дальнейшее существование контролируется и управляется людьми (ср. [Rickert 1910: 19]).

Отсюда следует, что многие науки неоднородны и являются гуманитарными лишь отчасти: так, внутри лингвистики граница между естественнонаучным и гуманитарным знанием до некоторой степени совпадает с границей между языком и речью[4]. Я говорю "до некоторой степени", ибо какие-то плоды (чаще горькие) "языковая политика" приносит [Шапир 2005]; но и она оказывает воздействие на естественный (№) язык преимущественно через речь, через тексты. Поэтому основной предмет филологии, текст (который, по сути, есть ставшая и застывшая речь), служит не только главным источником гуманитарного знания, но также и главным его объектом – остальные мыслятся по аналогии (ср. [Шапир 2002в: 56]). Исходный вопрос в рамках данной системы понятий сводится, стало быть, к тому, в какой степени тексты, их форма, содержание и материал могут быть изучены с помощью количественных методов.

Как известно, статистический подход "впервые был испробован на материале классической филологии" [Гаспаров 1974: 19 сл.], достижения которой учитывались инициаторами первых подсчетов по русской ритмике. Пионерами здесь были Л.И. Поливанов и А. Белый: один исследовал дактилическую цезуру в 6-стопном ямбе [Поливанов 1892: XCIX–CXXVIII], другой – динамику пиррихиев в 4-стопном ямбе [Белый 1910: 231–428 и др.]. Статья Поливанова прошла незамеченной; книга Белого произвела переворот не только в научной, но и в поэтической ритмике[5]. Усложняясь и совершенствуясь, математические методы охватили сначала все области стиха, затем все уровни поэтического языка (фонику, грамматику, лексику и фразеологию) и, наконец, распространились на такие аспекты художественной структуры, которые обычно, но не всегда основательно, мыслятся как экстралин-

---

[3] Б.И. Ярхо уверял, что "применение вариационной статистики" в литературоведении, "как и везде, исходит из того положения, что число является самой объективной категорией мышления, и математическое доказательство обладает наибольшей всеобщностью" [Ярхо 1984: 198].

[4] Показательно, что среди лингвистов нет единого мнения, к какой группе наук относится языкознание (упомяну только "лингвистический дарвинизм" А. Шлейхера, чей естественнонаучный взгляд на язык и сегодня находит немало поклонников). Квалификация лингвистики как науки смешанной согласуется с возможностью двоякого самоопределения.

[5] Столь разный эффект обусловлен множеством причин: и сравнительно бóльшим авторитетом Белого, и углубленным интересом к стихотворной форме в начале XX в., и повышенной ролью 4-стопного ямба в русской поэтической культуре, и тем, что работа Белого касалась не одной ритмической позиции (предцезурной), а описывала ритм строк, причем не только "по горизонтали", но и "по вертикали".

гвистические (сюжет и композиция, образы, тематика, персонажи, жанр, литературное направление и т. д.)[6].

Успехи статистического изучения метрики, ритмики, рифмы и строфики столь внушительны, что побудили М.Л. Гаспарова (по-моему, несколько преждевременно) сообщить, что "новых революций там в ближайшее время не предвидится", а для необходимых дополнений и уточнений понадобятся "только ⟨...⟩ способные аспиранты" [Гаспаров 1996: 5] (ср. [Шапир 2000а: 76]). В квантитативной лингвистике поэтической речи, первые подступы к которой пришлись на 1920–1930-е годы [Белый 1922; Брик 1927, № 5: 33–34; Jarcho 1935; Винокур 1941; и др.], сейчас период бурного становления: основные линии исследований наметились, но объем необходимых работ многократно превосходит сделанное. И совсем уже мало всходов появилось на ниве "точного литературоведения" – при всех стараниях Б.И. Ярхо, который в тяжелейших условиях трудился на этом поприще четверть века, являя образцовое усердие, широчайшую эрудицию и феноменальный талант (см. [Гаспаров 1969; Акимова, Шапир 2003; и др.]).

Хотя программа превращения поэтики в строгую науку еще очень далека от завершения, а в ряде отношений заморожена, столетний опыт освоения математических методов в этой сфере позволяет подвести отдельные итоги. Один из простейших заключается в том, что внедрение точных методов в поэтику плодотворно исключительно тогда, когда математизация – не самоцель, а только средство решения ясно сформулированной филологической задачи (и нередко для этого хватает са́мого тривиального математического аппарата). Стать научным или, напротив, обнаружить свою фантомность собственно статистический факт способен только при свете филологии (ср. [Грекова 1988]).

Приведу пример. Недавно было подсчитано, что синтаксический перенос (enjambement) на мужских клаузулах случается значительно чаще, чем на женских [Матяш 2001: 175–176, 180–182]. Никакого объяснения этому не последовало, но можно допустить, что диспропорция в распределении переносов зависит вовсе не от клаузул, а от каталектики, то есть от соотношения конца стиха с концом последней стопы. Дело в том, что данные С.А. Матяш были собраны на материале ямбов, в которых мужские стихи акаталектичны (конец строки в них совпадает с концом полной стопы), а женские стихи – гиперкаталектичны (последняя стопа здесь имеет односложное наращение, создающее "сбой" в чередовании ритмических единиц): ∪′¦∪′¦∪×¦∪–́(⌒)[7]. Не исключено, что в мужских ямбах отсутствие этого "сбоя", сигнализирующего о конце строки, создает ритмическую непрерывность, которая и облегчает перенос синтаксической конструкции в следующий стих. А коли так, может статься, что в хореях доля мужских переносов меньше, чем женских, потому что здесь, в отличие от ямбов, именно женские строки оканчиваются полной стопой, в то время как мужские гипокаталектичны (усечены на один слог): ×∪¦′∪¦×∪¦–́(⌒)[8].

---

[6] Сегодня всё реже цитируют старые слова Р.О. Якобсона, нимало не утратившие интеллектуальной прелести и остроты: "Так как общей наукой о речевых структурах является лингвистика, поэтику можно рассматривать как составную часть лингвистики" [Jakobson 1960: 350–352] (см. также [Шапир 1987: 230; 1990а: 139–140; 1990б: 257–258, 262 примеч. 27, 273, 296–300, 328–329 примеч. 4, 330 примеч. 21; 2000а: 19–22]). Чем меньше литературоведение ориентировано на лингвистику, тем меньше оно остается наукой.

[7] В плане метрики целесообразно различать слоги обязательно ударные (–́), преимущественно ударные (′), произвольно ударные (×), преимущественно безударные (∪) и обязательно безударные (⌒); вертикальный пунктир обозначает стопораздел (ср. [Шапир 1996: 282–283]).

[8] Гипотезу о зависимости частоты переносов от ритмического сигнала конца строки косвенно подтверждает следующий факт. В рифмованных стихах сила межстрочных связей в среднем ниже, чем в нерифмованных, потому что рифма тоже служит одним из сигналов конца строки [Шапир 2003: 66–67, 70].

Как ни странно, с выводом о подсобной роли своих методов математику бывает примириться легче, чем гуманитарию. В "Воспоминаниях о С.П. Боброве" М.Л. Гаспаров обращает внимание на то, что "Колмогоров, профессиональный математик", в стиховедческих "статьях и докладах обходился без математической терминологии, без формул, это были тонкие наблюдения и точные описания вполне филологического склада, только с замечаниями, что такой-то ритмический ход здесь не случаен по такому-то признаку и в такой-то мере ⟨...⟩ А Бобров, профессиональный поэт, бросился в филологию в математическом всеоружии, его целью было найти такую формулу, такую функцию, которая разом описывала бы все ритмические особенности такого-то стиха" [Гаспаров 1993: 192–193] (ср. [Грекова 1988: 186]). Иначе говоря, Бобров хотел, как это делают физики, построить математическую модель открытого класса изучаемых объектов (допустим, всех без исключения русских 4-стопных ямбов). Боюсь, это в принципе невозможно[9].

Тут мы приближаемся к коренному различию между ролью математики в естественных и гуманитарных науках, которое, кажется, до сих пор еще не было отрефлектировано[10]. В естественнонаучных дисциплинах вершина математизации – это математическое моделирование в области теоретического знания. При всех колоссальных перспективах, которые открываются перед точными методами в науках о культуре, математика в гуманитарной теории неприменима (или почти неприменима): ее уделом остаются высказывания исторического характера. Под теоретическими, или "строго универсальными" высказываниями вслед за К. Поппером [Popper 1935] (ср. [Шапир 2000а: 84]) я понимаю "высказывания о несуществовании", описывающие открытый класс эмпирических объектов (универсальное суждение *Все S суть P* равнозначно суждению *Не существует S, которое не есть P*). В свою очередь, под историческими, или "строго экзистенциальными" высказываниями понимаются "высказывания о существовании" (*Некоторые S суть P* равнозначно суждению *Существует хотя бы одно S, которое есть P*). Таким образом, точные методы в гуманитарной сфере позволяют сказать лишь о том, что бывает, а точные методы в сфере естественных наук – еще и о том, чего быть не может[11].

---

[9] Я называю класс объектов открытым, если его нельзя задать списком: одни 4-стопные ямбы утеряны или уничтожены, другие – еще не созданы, третьи могли бы быть, но не будут написаны никогда (ср. [Шапир 1995: 37; 2000а: 68]).

[10] Проппу различие между этими науками виделось так: "⟨...⟩ методы структуралистов, стремящихся к объективному и точному изучению художественной литературы, все же имеют свои границы применения. Они возможны и плодотворны там, где мы сталкиваемся с повторяемостью в широком масштабе, как это имет место в языке или фольклоре. Но там, где искусство становится областью деятельности неповторимого гения, применение точных методов даст положительные результаты лишь в том случае, если изучение повторяемости будет сочетаться с изучением уникальности, на которую мы до сих пор смотрим как на проявление непостижимого чуда ⟨...⟩ И если в начале этой статьи подчеркивалась близость между теми законами, которые изучают науки точные и гуманитарные, то закончить хотелось бы указанием на их фундаментальное специфическое различие" [Propp 1966: 227]. В противоположность Проппу, я считаю, что уникальные явления культуры тоже подлежат изучению с помощью точных методов, но корректным результатом такого изучения могут стать лишь высказывания экзистенциальные (исторические).

[11] Ср.: "Томашевский и Колмогоров всматривались в расхождения между простой вероятностной моделью и сложностью реального стиха, чтобы понять специфику последнего, – Бобров старался построить такую сложнейшую модель, чтобы между нею и стихом никакого расхождения бы вовсе не было" [Гаспаров 1993: 193] (ср. [Колмогоров, Рычкова 1999: 423]). При первой стратегии (весьма многообещающей) теоретико-вероятностное моделирование нацелено на выявление исторических особенностей стиха, при второй стратегии (мне сдается, тупиковой) моделирование призвано заменить собой теорию стиха как таковую. Специально подчеркну, что теоретико-вероятностная модель не есть теоретико-филологическая: модели-

2. Стратегия дескриптивной математизированной теории. Здесь, по-видимому, необходимо привести пример, который уместнее всего взять из теории стиха. Пусть это будет определение 4-стопного ямба, так как "математизации легче всего поддается метрический аспект стихосложения" [Успенский 1997: 128; 2002: 624]. Такой выбор, наверное, одобрили бы и сторонники "математической теории стиха" [Успенский 1997: 135; 2002: 641], хотя, думаю, само ее существование идет вразрез с природой вещей[12]. В декабре 1960 г. Колмогоров заявил: "Если мы желаем показать, что математики могут что-то продвинуть в теории стиха, то надо заняться именно четырёхстопным ямбом, а не теми более сложными размерами, которыми занимаются сейчас" [Успенский 1997: 136; 2002: 642] (ср. [Колмогоров, Прохоров 1963: 23])[13]. И.И. Ревзин [1962: 286], Вяч. Вс. Иванов [1967: 116], А.Н. Ширяев [1989: 68] и В. А. Успенский [1997: 129 и др.; 2002: 635 и др.] сочли эти занятия чрезвычайно успешными: все сошлись на том, что Колмогорову удалось дать "строгое формально-логическое определение классических метров" [Ширяев 1989: 68]. Вклад великого математика в теорию стиха, вопреки общему мнению, я бы оценил чуть более сдержанно.

В печати колмогоровское определение 4-стопного ямба было впервые изложено в хроникальной заметке И.И. Ревзина: "Пусть дана следующая схема чередования сильных (—) и слабых (◡) слогов:

◡—◡—◡—◡—(◡)

Мы будем говорить, что стихотворение написано четырёхстопным ямбом, если в каждом слове стихотворной строки, состоящем не менее чем из двух слогов, ударение не попадает на слабый слог, причём чередование сильных и слабых слогов соответствует приведенной выше схеме" [Ревзин 1962: 286; 1977: 203–204; Колмогоров, Прохоров 1968: 405; 1985: 114][14]. Поскольку понятия "сильного" и "слабого" слога у Колмогорова не определены, а использование их в литературе чревато противоречиями (см. [Шапир 1996: 283, 302 примеч. 14]), я предлагаю – чтобы в дальнейшем отвергнуть – иную формулировку, равнозначную колмогоровской, но более прозрачную: строка называется ямбической, если ударения неодносложных фонетических слов в ней падают на четные слоги [Шапир 2002б: 42] (ср. [Гаспаров 1989: 190]).

С одной стороны, стихотворная строка может удовлетворять этому определению, не являясь ямбической. Вот пять квазипастернаковских двустиший: *В неслыханную простоту // Уюта и авторитета*; *Я, вешающийся на них, // Но пущенный из заточенья*; *Ты б слушала и молодела, // Воспользовавшись темнотой*; *В предвиденьи и наяву // Направилась на крематорий*; *Откупорили б, как бутылку, // Озябнувшие москвичи.* Во всех стихах ударения неодносложных слов падают на четные слоги: на второй и восьмой, – но в каждой паре строк только первая заимствована из 4-стопных ямбов Пастернака, тогда как вторая – из 3-стопных амфибрахиев[15]. Это значит, что стихо-

---

руемый "теоретический стих" – это чисто умозрительный конструкт, не соответствующий никакой эмпирической реальности (так выглядел бы стих, лишенный всякого ритмического задания, то есть возникший "естественно", как бы в результате случайного "просеивания" языка через метрическое "сито").

[12] Ни сам Колмогоров, ни его ученики этого термина не употребляют.

[13] Из доклада А.Н. Колмогорова, А.В. Прохорова и Н.Г. Рычковой "О русском четырехстопном ямбе"; цитируется по записи В.А. Успенского.

[14] На запрещение переакцентуации внутри слова указал еще Якобсон [1922: 229; 1923: 29] – не в качестве дефиниции ямба, но как на одно из его метрических свойств (ср. [Иванов 1967: 116 примеч. 1; Ревзин 1977: 204 примеч. 3; Успенский 1997: 133–134; 2002: 635]).

[15] Чтобы убедиться, можно заглянуть в источники составленных мною центонов (см. стихотворения Пастернака "Волны", "Всё снег да снег, – терпи и точка...", "Еще не умолкнул упрек...", "Стихи мои, бегом, бегом..."; все 1931–1932 гг.).

творный размер строки́ зависит от ее контекста, а если такового, как у вышеприведенных двустиший, нет, всё во власти читателя, который волен превратить любое из них в ямб или в амфибрахий. Причем контекст (а то и воля читателя) влияет не только на метрический статус строки, но и на звучание, на фактический ритм: ямбы и амфибрахии со схемой ◡′◡◡◡◡◡′(◡) – омографы, а не омофоны. В этом легко удостовериться, прислушавшись, как по-разному звучит "одна и та же строка", например, в окружении двусложников Пушкина и трехсложников Некрасова: *Одну Россию в мире видя, // **Преследуя свой идеал,** // Хромой Тургенев им внимал...*; *С хозяином дружно старался, // На зимушку хлеб запасал, // **Преследуя свой идеал,** // Травой да мякиной питался...* [Илюшин 1986: 52 сл.] (ср. [Шапир 1990в: 65; 2000а: 94]; а также [Колмогоров, Прохоров 1968: 399–400])[16].

Итак, в определении метра на законных основаниях участвуют контекст и интенция, о которых у Колмогорова ни слова. Мы только что видели, как под их давлением оформлялись версификационные параметры метрически двойственных отрезков речи. Но таким же образом контекст и интенция способны влиять на метрическую оценку стихов, которые с традиционной точки зрения воспринимаются как аномальные. 4-стопным ямбом вполне может оказаться строка, не укладывающаяся в дефиницию Колмогорова:

Почто, почто в битве кровавой,
Летая гордо на коне,
Не встретил смерти под Полтавой?
Почто с бесславием иль славой
Я не погиб в родной стране?

(К. Рылеев. Войнаровский)

Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во всеобъемлющее море
Льдина за льдиною плывет[17].

(Ф. Тютчев. Смотри, как на речном просторе...)

Было бы ошибкой думать, что выделенные строки отличаются от невыделенных по размеру. Определить его – значит соотнести фактический ритм с метрическим инвариантом. Но в культурном сознании современников Рылеева и Тютчева более подходящего инварианта, чем 4-стопный ямб, для выделенных строк не было. Мы не вправе также интерпретировать их как внеметрические вставки: наличие формальных ограничителей очевидно. Следовательно, это тоже 4-стопный ямб, но допускающий бо́льшую степень свободы, чем предусмотрено Колмогоровым[18].

Столь же опрометчиво было бы сводить дело к тому, что аномалии – это редчайшие исключения и что они не меняют общей картины (на эту скрытую квантитативную посылку опирались теоретические выкладки Колмогорова). Во-первых,

---

[16] Ритмическая схема выделенной строки 1) в ямбе: ◡′◡◡̆|◡̆¦◡◡′; 2) в амфибрахии: ◡′◡◡|′|◡◡′. С помощью ◡̆ обозначается сравнительно более выделенный безударный слог (ср. [Панов 1979: 230–232]).

[17] Вяземский, чуждый ритмических вольностей, эту строку подправил: *За льдиной льдина вслед плывет.* Но зато его нивелирующей редактуры избежал другой тютчевский стих: ⟨...⟩ *Как ветерком занесено, // **Дымно-легко, мглисто-лилейно** // Вдруг что-то порхнуло в окно* ("Вчера, в мечтах обвороженных...").

[18] Иначе в тютчевском "Silentium!", где строки 4-я и 17-я: *Встают и заходят оне*; *Дневные разгонят лучи* – могут осмысляться как 3-стопный амфибрахий, а всё стихотворение – как переходная форма от 4-стопного ямба к микрополиметрии (ср. 5-ю строку: *Безмолвно, как зве́зды́ в ночи*).

чтобы формально опровергнуть строго универсальное высказывание, довольно и одного исключения, а во-вторых, исключения могут встречаться не так уж редко[19]. К примеру, в знаменитой оде Радищева "Вольность" насчитывается 8 подобных стихов (то есть 1,5%), и несмотря на это никто не станет отрицать, что она написана 4-стопным ямбом (ср. [Гаспаров 1984: 82]): *Исполни сердце **твоим** жаром*; *И в неизменном **всегда** виде*; *Вещай, злодей, **мною** венчанный*; *Единой смерти **за то** мало*; *Исходит с видом **всегда** злобным*; *Себе всяк сеет, **себе** жнет*; *Отравы полны **свои** стрелы*; *Тогда сложенье **твое** бренно*. Допускаю, что ударение на выделенных словах ослаблено, но оно есть. Об этом свидетельствует пример из "Пира во время чумы", единственный на десятки тысяч строк пушкинского ямба: *Я предлагаю выпить в его память*, – будь притяжательное местоимение вовсе безударным, такого рода строк было куда больше.

Но и 1,5% "неправильных" ямбов (едва ли Радищеву понравилось бы такое определение) – это совсем не предел. В одном из ранних стихотворений Георгия Иванова доля "аномалий" достигает почти половины (исключение становится нормой):

Уж рыбаки вернулись с ловли
И потускнели валуны,
Лег на соломенные кровли
Розово-серый блеск луны.

Насторожившееся ухо
Слушает медленный прибой:
Плещется море мерно, глухо,
Словно часов старинных бой.

И над тревожными волнами
В воздухе гаснущем, бледна,
За беспокойными ветвями –
Приподнимается луна.

В 12 строках этого стихотворения правило Колмогорова нарушается пять раз. 1-й слог, по схеме безударный, принимает ударение в 50% случаев, а соседний с ним метрически ударный слог, напротив, стопроцентно безударен. И при всём при том это не логаэд, а также не дольник и вообще не тоника, – это 4-стопный ямб, себетождественность которого сохраняется за счет вторичных ритмических признаков, характерных для силлабо-тонической системы. Вот некоторые из них:

1) число ударений в строке колеблется от двух до четырех, зато число слогов от начала стиха до последнего икта постоянно и равно восьми;

2) место ударения закреплено за определенными позициями не только в конце, но и в середине строки (ударение, зафиксированное на 2-й стопе, – это аналог "пеонизации" альтернирующего ритма, характерной для 4-стопного ямба младших современников Пушкина);

3) основным фактором ритмического разнообразия становятся не колебания междуиктовых интервалов (как это бывает в тонике), а пропуски схемных ударений (как в силлабо-тонике);

---

[19] На практике в естественных науках единичная аномалия не может отменить теорию: для этого нужна другая теория, имеющая как минимум не худшую фактическую базу, но логически несовместимая с первой [Шапир 2000а: 85]. Это верный знак того, что логика науки – не чисто формальная и что естественнонаучным становится лишь факт, осмысленный теорией. Но в гуманитарных науках эта логика работает не всегда: "аномалии" здесь имеют историческую самоценность.

4) ударения неодносложных слов падают на нечетные слоги только в самом начале строки, которое всегда ритмически урегулировано слабее, чем конец, и менее значимо при диагностировании метра;

5) стихотворение начинается "правильными" ямбами, задающими "точку отсчета", и кончается таковыми же, что подтверждает правильность метрической идентификации[20].

Но и опыт Георгия Иванова – не предел ритмической свободы. Тут самое время сказать, что определение Колмогорова в действительности не теоретично, а исторично: оно справедливо, да и то со многими оговорками, лишь для классического русского ямба XVIII–XIX вв. В английском ямбе сверхсхемное ударение неодносложного слова возможно не только в начале, но и в середине стиха, не только "левее", но и "правее" безударного икта, и охватывать такие переакцентуации могут не только два, но и три, и четыре слога подряд. Все эти особенности расшатанного пентаметра английских драматургов-елизаветинцев в переводах Ив. Аксенова стилизованы и порой утрированы [Bailey 1973: 134–135; Гаспаров 1989: 190; 1990: 53–54, 60; Тарлинская 1996]:

Невинность оскорбляете, прося.
Встаньте! Первым – нахлебник. Вы, как видно,
Главный вершитель, если не зачинщик
Всех дерзких лжей и только что сейчас
Своим бесстыдством оскорбляли суд наш
И внешность веницейского вельможи,
Будучи и без племени и роду.

[Аксенов 1933: 271][21]

В русском монометрическом ямбе время от времени нарушаются любые ограничения, связаны ли они с запретными переакцентуациями, с константной ударностью конечной стопы или с равносложностью стихов, считая от начала строки до последнего метрического ударения (см. [Шапир 1990в: 66–68; 1996: 285–286, 302 примеч. 17–19; 2000а: 95–100]). И всё же родовое единство силлабо-тонических ямбов (независимо от свободы их ритма) на интуитивном уровне ощущается. Переводя эту интуицию в рациональное русло, я прихожу к тому, что в основе ямбической стопы лежит отношение двух слогов, отличных по своему акцентологическому качеству: первый слог, метрически безударный, противостоит второму, метрически ударному. Повтором этих стоп создается ямбический метр, но принципы ритмической реализации метрической ударности/безударности кардинально отличаются в зави-

---

[20] Ритмические вольности в стихе Г. Иванова расшатывают старую метрическую форму, но не создают новой: ритмизация метра не становится метризацией ритма [Шапир 1990в: 71–74; 2000а: 103–108]. Этим ямб Иванова несхож с логаэдом Гумилева, у которого в четверостишиях "Товарища" три стиха, образованные по схеме "хорей – ямб – ямб – ямб", завершаются строкой "нормального" 4-стопного ямба:

Сладостной верю я надежде,	–́∩∩–́∩–́∩–́∩
Лгать не умеют сердцу сны,	–́∩∩–́∩–́∩–́
Скоро пройду с тобой, как прежде,	–́∩∩–́∩–́∩–́∩
В полях неведомой страны.	∩′∩–́∩×∩–́

[21] Такие переакцентуации нередки в ямбе не только переводных, но и оригинальных произведений. Например, в вольном стихе "Приключения", сравнительно короткой пьесы М. Цветаевой, есть 18 аналогичных случаев (2,9% строк): ***Кинула** чепчик в огород* (4-ст. ямб); *Так – никогда, **тысячу** раз – иначе*; ***Розовым** шелком вышит, – всюду кисти!* (5-ст. ямб); *За ужином сидят, – **похороны**, не ужин!* (6-ст. ямб) и т. п.

симости от периода, от автора, от произведения, от места стопы в предложении или в строке. Такое понимание мне кажется более или менее адекватным, но его трудно счесть по-настоящему строгим и универсальным; как бы то ни было, его уточнение и конкретизация неминуемо выльются в открытое множество исторических высказываний "о существовании", для которых и надобна статистика.

3. Стратегия прескриптивной математизированной теории. Дать реальное математизированное определение ямба (равно как и других понятий теоретической поэтики) невозможно: мнимая универсальность без особого труда опровергается литературной практикой или мысленным экспериментом. Поэтому, чтобы "победить" протеичность поэтических форм, сторонники точных методов бывают готовы выбрать другой сценарий: пусть нельзя твердо выяснить, что такое ямб, но зато можно раз и навсегда назначить ямбом то-то и то-то. К сожалению, все эти строгие предписания не выполняются: они обязательно входят в противоречие с культурной интуицией и опытом.

Обреченность подобных методологических решений хорошо иллюстрируется на примере прескриптивной теории стиха, предложенной Б.И. Ярхо: "Речь, в которой какой-либо звуковой признак периодически повторяется, мы называем стихотворной речью, а самую эту периодичность повторения – ритмом". Но в прозе "звуковые признаки" тоже повторяются, и, чтобы хоть как-то отграничить стихотворную речь от прозаической, ученому пришлось своей волей назначить количественный порог урегулированности, за которым "кончается" стих и "начинается" проза: "⟨...⟩ можно принять, что если какая-нибудь данная мерка речевого отрезка (т. е. интервал между повторяющимися звуковыми признаками: паузами, константами или рифмами) обнимает более 50% всех отрезков произведения, то такое произведение написано более или менее свободным стихом, если же преобладающая мерка обнимает меньше половины отрезков, то произведение написано более или мен⟨ее⟩ ритмической прозой" [Ярхо 1928а: 9, 10; 1928б: 169–170 и далее; 1931: 350 примеч. 1; Лапшина, Романович, Ярхо 1934: 15; Шапир 1994а: 191–192, 196 примеч. 5; Акимова 2002а: 215–216; 2002б: 227–228, 230][22].

Принятой им процентной норме Ярхо следовал неукоснительно, не считаясь ни с традицией, ни с авторской волей, ни с культурными навыками публики. Он утверждал, что верлибр и даже правильный стих, состоящий из одних enjambement'ов, – это проза (см. [РГАЛИ, ф. 2186, оп. 1, ед. хр. 83, л. 7 об.; Акимова 2002а: 216]), и наоборот, "проза Белого, сложенная из амфибрахиев, уже не проза, а стих" [РГАЛИ, ф. 941 (Государственная академия художественных наук), оп. 6, ед. хр. 38, л. 23 об.]. Отрывки из лесковских "Островитян", где М.П. Штокмар [1928: 209] насчитал 76% ямбических стоп, Ярхо, разумеется, относил к стиху (см. [РГАЛИ, ф. 941, оп. 6, ед. хр. 50, л. 29 об.]), а "Сказку о попе и о работнике его Балде" – не обинуясь почитал за рифмованную прозу, ведь ударность в ее строках выравнена менее, чем наполовину, а ее слоговой состав – менее, чем на четверть [Ярхо 1928б: 169–176].

---

[22] Эту же концепцию Ярхо излагает в "Методологии точного литературоведения" (см. [РГАЛИ, ф. 2186 (Б.И. и Г.И. Ярхо), оп. 1, ед. хр. 41, л. 171–172]). Судя по всему, к количественной теории стиха (по крайней мере, в начале 1960-х годов) склонялся также А.Н. Колмогоров: он исходил "из той отличительной особенности стиха (по сравнению с прозой), что в стихе наличествуют количественные ⟨!⟩ закономерности, устанавливаемые вне зависимости от содержания и непосредственно не связанные с последним" [Ревзин 1962: 286]. Из количественной теории стиха автоматически вытекает гипотеза стихопрозаического континуума: "Известно, – писал Колмогоров, – что различие между художественной прозой и стихом не является вполне отчетливым, да и не ясно, для чего было бы надобно проведение между ними резкой ⟨...⟩ черты" (из неопубликованной статьи "Метр как образ", начало 1960-х годов; в настоящее время готовится к печати Вяч. Вс. Ивановым и М.В. Акимовой).

Но, пожалуй, всего симптоматичнее, что доверие к определению Ярхо подрывают не промежуточные случаи, якобы "переходные" от стиха к прозе, а, так сказать, чистые формы, подпадающие под определение на 100%. Сюда принадлежит, среди прочего, игривая фольклорная шутка, читать которую положено с окающим акцентом: «Однажды отец Онуфрий, обходя окрестности Онежского озера, обнаружил обнаженную Ольгу. "Отдайся, Ольга, озолочу!" – "Отойди, отец Онуфрий, оторву отросток окаянный!" Ослушался отец Онуфрий» и т. д. (ср. [Шапир 2002а: 243 примеч. 5]). "Стихотворной, – пишет Ярхо, – мы называем речь, в которой какая-нибудь звуковая форма (ударение, пауза, рифма, клаузула) равномерно повторяется" [Ярхо 1931: 350 примеч. 1]. В процитированном тексте равномерно повторяется буква *о* (в начале каждого слова), а кроме того, по числу тактов приблизительно равны синтагмы (они на 80% трехсловны, а в остальном – четырехсловны). Но если "речь, соблюдающую абсолютную ритмичность хотя бы в одном отношении, мы можем назвать правильными стихами" [Ярхо 1928а: 10], значит, перед нами вовсе не проза, в чём "наивно" уверены все, кому ведома эта незамысловатая прибаутка, а правильные аллитерационные стихи – так нас учит Ярхо.

Остроумную догадку о происхождении концепции, устанавливающей между стихом и прозой пятидесятипроцентный порог ритмичности, высказал М.Л. Гаспаров: "Ярхо с его выучкой филолога-классика и медиевиста исходил из предпосылки: основной материал работы литературоведа – памятники мертвых языков и чужих культур, по отношению к ним никакого интуитивного ощущения разницы между стихом и прозой быть не может, и никакое членение на строки подсказкой служить не может, потому что в рукописях и надписях, как правило, членения на стихотворные строки нет: ни оды Пиндара, ни библейские псалмы по строкам не записывались. Наличие текста, разбитого на строки, и наличие непрерывной культурной традиции, на которую может опереться интуиция, – это не правило, а приятное исключение, и основывать методологию на нем нельзя" [Гаспаров 2002: 237]. Но сколь бы скудной ни представлялась культурная традиция, подкрепленная надежными свидетельствами ее носителей (testimonia), никаких других серьезных оснований для теоретизирования у нас попросту нет (если, конечно, вместо ключа, который в состоянии нам дать лишь филологическая экзегеза, мы не хотим вооружиться отмычкой на все случаи жизни)[23].

Установить и осмыслить суть различия между стихотворной и прозаической речью мы можем только на том материале, который нам интуитивно ясен (да и как нам понять специфику стиха, если мы не уверены, что̀ перед нами – стих или проза). Это не призыв ориентироваться лишь на привычные и типовые формы – сам я, во всяком случае, сосредоточился на крайних проявлениях "стиховности", постаравшись собрать как можно более богатую и разнообразную коллекцию "пограничных" явлений. Они, как вехи, оградили собой обширное эмпирическое поле, в центр которого попали наиболее распространенные стиховые формы. Мысленно освободив выявленные крайности от частных эмпирических свойств, мне удалось, надеюсь, обнаружить то общее, что объединяет между собой весьма разнородные явления, без колебаний квалифицируемые как стихи, и противопоставляет их другим явлениям, которые к стихам отношения не имеют. В итоге я пришел к тому, что стих есть система сквозных принудительных парадигматических членений, которые формируют дополнительное измерение текста (подробнее см. [Шапир 1995; 1996: 272–277; 2000а: 36–75, 81–83; 2000б: 117, 128–129 примеч. 2]).

---

[23] Ср. позицию Колмогорова, которую тот занял в методологически сходной ситуации: «В отграничении "искусства" от "не искусства" можно или целиком довериться исторически сложившейся традиции, или стремиться к созданию точного логического определения, *опираясь на эту традицию*» [Колмогоров 1997: 225].

Этот вывод обладает эвристической ценностью в той мере, в какой помогает прояснить версификационный статус текстов, по поводу которых молчит интуиция [Шапир 2000а: 85]. Идет ли речь о памятнике древнейшей словесности или о новейшем литературном эксперименте, механизм, позволяющий судить об их принадлежности к стиху, будет один и тот же. Чтобы вынести суждение, надо ответить на четыре вопроса, касающиеся единиц текста, которые, как мы подозреваем, выполняют функцию стихообразующих: 1) можно ли считать эти единицы принудительно выделенными в тексте, 2) является ли их выделение сквозным, 3) находятся ли они в парадигматических отношениях, выступая как варианты единого инварианта, и, наконец, 4) образуют ли они в тексте дополнительное измерение, по которому приравниваются отрезки, иногда разительно отличающиеся друг от друга своей длиной, грамматикой и семантикой[24]. Если перечисленные условия выполнены, мы смело можем назвать тестируемое произведение стихотворным – именно так, в частности, надо поступить по отношению к "стихам на карточках" Льва Рубинштейна, которые всё еще продолжают у многих вызывать недоумение[25]. Однако часто для решения нам недостает сведений, и тогда, не оставляя дальнейших поисков, нужно временно воздержаться от суждения (ἐποχή), вместо того чтобы разрубать узел сомнений гордиевым мечом статистики.

Познавательное значение феноменологии стиха не исчерпывается завоеваниями в практической таксономии. Демаркация формально-лингвистической границы между стихом и прозой, проясняя природу обеих форм речи, заодно способствует более глубокому пониманию многих других теоретико-стиховедческих понятий, таких, как система стихосложения, метр, ритм, рифма, строфа, твердая форма и т. д. [Шапир 2000а: 83–84]. Например, лишь под углом зрения на стихообразующие единицы как на репрезентанты общей ритмической парадигмы было обнаружено, что в верлибре, который раньше считался стихом, лишенным регулярных формальных ограничений, на самом деле почти всегда присутствует имплицитный ритмический инвариант: подсчеты показали, что в своем произведении поэт-верлибрист (будь то Кузмин, Блок, Хлебников, С. Нельдихен, Хармс, Г. Оболдуев или М. Гаспаров), ориентирован на какую-то определенную длину строки, а стихи большей или меньшей протяженности встречаются в тексте тем реже, чем сильнее они отличаются от превалирующей размерности (см. [Шапир 2000б: 119–124]).

Вместе с тем вывести теорию верлибра из подобных подсчетов не получится. Чтобы ритмическая инерция проявилась, текст должен набрать ощутимый объем. О какой "превалирующей размерности" может идти речь, если перед нами трехстрочный, двустрочный или однострочный верлибр, как в моностихе Ивана Жданова "Осень":

Падая, тень дерева увлекает за собой листья.

С другой стороны, многострочный верлибр тоже изредка бывает свободен от чисто формальных ограничений. Тут, правда, включаются окказиональные механизмы их компенсации – грамматический или семантический инвариант заступает место рит-

---

[24] Дополнительное измерение позволяет не только уравнивать неравное, но и растождествлять тождественное в языковом отношении: *Вон там звезда одна горит // Так ярко и мучительно, // Лучами сердце шевелит, // Дразня его язвительно* (А. Григорьев. "О, говори хоть ты со мной..."). В двух последнихстроках по восемь слогов и по три слова (такта), но в стиховом измерении нечетная строка длиннее – на целую стопу.

[25] В них минимальной парадигматической константой является отдельная карточка (все равно, с текстом или пустая), причем внутри одного произведения помещаемый на карточке фрагмент никак не ограничен с точки зрения формы и содержания: он может быть "прозаическим", "стихотворным" либо смешанным, а "стихи" могут записываться в столбик или в строку, принадлежа к какой угодно системе стихосложения [Шапир 1996: 301 примеч. 10].

мического, как это происходит в "Третьей цисфинитной логике" Хармса или в разобранном на сей предмет стихотворении Д.А. Пригова "Широка страна моя родная" (см. [Шапир 2000б: 124–137]). Но и такой механизм компенсации теоретически необязателен: парадигматичность произвольно неравных строк может быть сведена к тождеству их роли в стиховой конструкции. Даже если вообразить, что русского верлибра, который бы отрицал абсолютно все количественные проявления стиховой инвариантности, по какой-то неведомой случайности сегодня еще нет, – что помешает сочинить этот "наисвободнейший" стих завтра?

4. Стратегия элиминированной (имплицитной) теории. Все попытки математизировать теоретическую поэтику до сих пор не принесли впечатляющих результатов; в то же время исторической поэтике количественные методы сулят подлинный прорыв (см. [Ярхо 1997; 2000])[26]. Не удивительно, что иных приверженцев "точного литературоведения" манит научный соблазн: нельзя ли, минуя теоретическую ступень, напрямую соединить "голые факты" с методологией. Широкомасштабный диахронический синтез, ожидаемый "на выходе", сделает теорию ненужной, третьестепенной или отодвинет ее разработку на неопределенный срок. Прямо эта гносеологическая программа нигде не была заявлена, но она вычитывается из "Методологии точного литературоведения" и других основополагающих трудов Ярхо.

Начать с того, что в "Методологии" термин "теория" и его дериваты низкочастотны. Порядка четверти употреблений падает на оглавление, или "план", причем и в нем, и в основном корпусе книги речь идет по большей части о старых, отживших, чужих и даже о нефилологических теориях. Ярхо жалуется на плачевное состояние теоретической мысли: на "недоработанность теории пауз", на "неразработанность теории жанров", на то, что "не изжиты еще музыкальные теории стихосложения", на то, что "теория сюжета оставляет желать лучшего", а "самым больным разделом теории композиции является *учение о жанрах*", где "под богатой номенклатурой ⟨...⟩ скрывается полная бессистемность" [Ярхо 1984: 199, 218, 223, 226]. И все это не претензии к конкретным разделам теории, а глобальная проблема: «Несмотря на существование множества “теорий литературы”, я считаю эту книгу еще не написанной» [РГАЛИ, ф. 2186, оп. 1, ед. хр. 41, л. 94]. Но мы обманулись бы, решив, что исправление дел ученый вменяет себе в обязанность. Так, сетования на неразработанность теории сюжета он обрывает словами: "Выхода из этого положения я пока не знаю" [Ярхо 1984: 223]. И вообще считает нелишним напомнить, что "пишет не теорию литературы" и потому "не его дело создавать" некую классификацию [РГАЛИ, ф. 2186, оп. 1, ед. хр. 41, л. 359][27].

Кто-то подумает, что это отражает лишь общее разделение труда: одни, как Ярхо, занимаются методологией, пусть теорией займутся другие. Однако все не так просто. Raison d'être "Методологии точного литературоведения" отнюдь не подталкивал к уклонению от теоретической проблематики: "Бегло намечаемый на этих страницах сдвиг всей системы понятий (Begriff(s)system) литературоведения представляется автору в трех аспектах: теоретическом, методологическом, номологическом" [Ярхо 1984: 197]. Почему же аспект, поименованный первым, практически был оставлен без внимания? Разгадку подсказывает сам автор: "Теоретически литература мыслится как структура, т. е. не столько как совокупность, сколько как система пропорций и связей между признаками. Далее, эта система мыслится в вечном движении, причем признаки движутся по кривым разного типа то независимо друг от друга, то сцепляясь попарно или пучками. Это в свою очередь приводит к понятию *органической динамики* литературы" [Ярхо 1984: 197].

---

[26] Из новейших работ в этом роде сошлюсь на исследование В. В. Сперантова [1998].

[27] В силу сказанного я не могу согласиться с тем, что в 1920–1930-е годы у Ярхо "теория литературы ⟨...⟩ стала главным предметом" исследований [Гаспаров 1969: 504].

Очевидно, "множественность, непрерывность и изменчивость" любых литературных явлений [Ярхо 1984: 198] приобретали в глазах ученого тотальность, которая не оставляла места для теоретических универсалий: явления, расщепляясь на мутирующие признаки, способные вступать в разнообразные комбинации между собой, менялись в процессе эволюции до полной неузнаваемости; по крайней мере, их "гомеоморфизм" не поддавался числовому выражению, а стало быть, в соответствии с принципами Ярхо, не имел научной силы. Потому-то филолог, последовательно различавший литературную синхронию и диахронию, только первую числил по ведомству теории, чья прямая задача – "борьба с множественностью и изменчивостью" [Ярхо 1984: 200–201]; надо полагать, что в диахронии такая борьба казалась ему заведомо проигрышной. "Находиться в пределах теории литературы" для Ярхо означало "изучать статику явлений" [РГАЛИ, ф. 2186, оп. 1, ед. хр. 41, л. 251]: "Соотношения, долженствующие войти в синтез, могут касаться сосуществующих признаков (синхроническое отношение) или же признаков, сменяющих друг друга во времени (диахроническое отношение). Первые отражают статику, вторые динамику литературы. Первые лежат в основе теории, вторые в основе истории литературы. Отсюда деление на: А) ⟨с⟩инхронический синтез и Б) диахронический синтез" [РГАЛИ, ф. 2186, оп. 1, ед. хр. 41, л. 130][28].

Хотя на долю теории достался синхронический синтез, Ярхо и тут готов был без нее обойтись. Признавая "полную бессистемность", царящую "и в определении жанра, и в классификации, и в описании" [Ярхо 1984: 226], свой "Этюд по теории ⟨!⟩ жанра", посвященный драматургии Корнеля, автор предварил на редкость знаменательной фразой: "Считаю долгом предупредить, что этот очерк носит в высшей степени эскизный характер и преследует цель скорее методологическую, чем теоретическую или историческую" [Ярхо 2000: 143][29]. В этом блистательном исследовании Ярхо шел параллельно с развитием фонологии: он представил каждый изученный жанр в виде пучка из 15 релевантных признаков (причем трагедии от комедий не обязательно отличались наличием или отсутствием дифференциальных черт, но зачастую – интенсивностью их проявления, измеренной по оригинальной методике)[30]. Кроме того, Ярхо проанализировал, насколько эти 15 признаков автономны или взаимозависимы, а также проследил их динамику в творчестве Пьера Корнеля, пьесы которого сравнил с произведениями Томá Корнеля, Расина и Вольтера.

Значение монографии Ярхо "Комедии и трагедии Корнеля" переоценить, мне кажется, трудно, но к теоретической поэтике ее выводы относятся в последнюю оче-

---

[28] В данном случае Ярхо выступал как соссюрианец от поэтики: подобным образом автор "Cours de linguistique générale" распространял принцип системности исключительно на область синхронии (ср. [Saussure 1916: 120, 125–128, 135]). Но в "Методологии точного литературоведения" кое-где проступают следы преодоления дуализма неподвижной системности и внесистемной подвижности: "⟨...⟩ я хочу ⟨...⟩ указать на ближайшую и вполне разрешимую задачу, стоящую перед теоретиками ⟨!⟩ нашей науки, в разрешении коей и методологи могут принести посильную помощь. Речь идет о систематике эволюционных процессов" [РГАЛИ, ф. 2186, оп. 1, ед. хр. 41, л. 359]. Ср.: "Противопоставление синхронии и диахронии было противопоставлением понятия системы понятию эволюции и теряет принципиальную существенность, поскольку мы признаем, что каждая система дана обязательно как эволюция, а с другой стороны, эволюция носит неизбежно системный характер" [Тынянов, Якобсон 1928: 36–37] (ср. также [Havránek, Jakobson, Mathesius, Mukařovský 1929: 7–8]).

[29] Под последней имеется в виду изучение не синхронных исторических фактов, а законов литературной динамики.

[30] Ярхо, например, вычислил, что в трагедиях больше событий случается за сценой; чаще попадаются "немые роли" и персонажи, молчащие на протяжении целого явления; действие здесь менее подвижно, экспозиция длиннее, реплики протяженнее, а диалог скованнее; для трагедий типичны "жестокие" герои и т. д.

редь. Ученый демонстрирует несостоятельность жанровой теории самого́ Корнеля и его современников, однако собственных дефиниций комедии и трагедии не выдвигает. И где их взять, когда "ни один драматический жанр не поддается совершенно отчетливому ограничению", а "система ⟨его⟩ отличительных признаков ⟨...⟩ есть в е л и ч и н а п е р е м е н н а я, колеблющаяся по эпохам, школам, авторам и даже в течение жизни одного писателя" [Ярхо 2000: 284]. Мало того, в работе по "теории жанра" Ярхо откровенно сознается, что са́мому общему из ее понятий он тоже не в силах подыскать определение: "Жанр есть совокупность произведений, объединенных общими признаками, но сколько и какого рода признаки требуются для составления жанра⟨,⟩ у нас ⟨...⟩ не установлено" [Ярхо 2000: 151]. Главные заслуги Ярхо – историческая и методологическая, а не теоретическая: он в деталях показал, чем комедии от трагедий отличались у Корнеля в разные периоды творчества. Это знание, добытое с широким использованием статистики, изложено в целой серии исторических высказываний "о существовании". Так, пустив теорию побоку, факт и метод окончательно замкнулись друг на друге[31].

Что плохого в том, что гуманитарная теория, раз уж нельзя добиться ее математической точности, вообще изгоняется из науки? В том-то и дело, что не изгоняется: выпровоженная за дверь, она тут же влетает в окно. Без априорных теоретических установок, которые хоть как-то обеспечивают исходную классификацию и первичный анализ, исследователю, даже вооруженному изощренной сверхточной методикой, с предметом его изучения делать нечего. Прежде чем собрать в пучок различительные признаки трагедии и комедии, Ярхо надо было как минимум разделить пьесы по жанрам. Но откуда узнать, какие произведения являются трагедиями и какие – комедиями? Есть два пути: либо интуитивно, то есть с опорой на культурную традицию, либо – руководствуясь жанровым подзаголовком. Оба этих способа получения теоретической информации не слишком надежны (и нематематичны), но до поры до времени пригодны – конечно, если авторское определение жанра зафиксировано, если оно не слишком противоречит интуиции исследователя и если таковая у него имеется. Чтобы меньше зависеть от всех этих "если", сто́ит развивать теорию (даже отдавая себе отчет в том, что ей никогда не сделаться математически точной).

Мы видим, что без теории историческое исследование немыслимо, но, как ни парадоксально, неточная и даже неверная теория – это еще не гарантия ошибочности основанных на ней исторических выводов. Чтобы найти отличительные особенности трагедий и комедий, Ярхо предстояло решить, по каким параметрам их сравнивать. Он рассудил, что направления контрастивного анализа должны быть не случайными, а специфичными для сочинений в драматическом роде. Тут-то и понадобилось определение драмы, которая, если верить Ярхо, "есть повествовательное произведение, написанное в форме диалога и изображающее персонажи в действии" [Ярхо 2000: 145]. Следствием явился список жанровых признаков, характеризующих а) манеру построения диалога, б) персональный состав участников и в) движение сюжета. Из более чем тридцати рассмотренных признаков 15 доказали свою релевантность – налицо несомненная исследовательская удача, хотя определение драмы, которое вызвало ее к жизни, ровным счетом никуда не годится: нам извест-

[31] Любопытно, что Ярхо, будучи новатором в методологии, то и дело оказывался традиционалистом в теории. Полагая настоящую "Теорию литературы" ненаписанной, он пользовался паллиативами и старался не конфликтовать с устоявшимся пониманием терминов. Ср.: "С вопросом о *мотивах* мы вступаем в область теории сюжета, тематики. Определяя мотив как *образ в действии* (или состоянии), я, кажется, верно передаю тот смысл, который большинство специалистов по истории сюжета вкладывают в этот термин" [Ярхо 1984: 221] (ср. [Пропп 1928: 30–31 и др.]).

ны пьесы, фактически лишенные повествовательности, диалога, действий, а то и персонажей[32].

Выходит, что в гуманитарных науках четкость и адекватность априорных теоретических воззрений не является непременным условием эффективности точных методов. Скажу больше, однозначное определение не всегда споспешествует квантификации. В поэзии Пастернака меня заинтересовал феномен, для которого я пока не сумел подобрать лучшего названия, чем "метакинез" – в моей статье этот термин покрывает все случаи непроизвольно возникающей полисемии (см. [Шапир 2004]). М.Л. Гаспаров, ставший одним из первых читателей этой работы о Пастернаке, высказал резонное пожелание проверить, свойствен ли ему метакинез больше, чем другим поэтам. Но даже на ограниченные предварительные подсчеты я согласился не сразу, преодолев большое внутреннее сопротивление. Несмотря на полную ясность понятия, все факты непреднамеренных двусмысленностей выловить в тексте очень непросто: каждый раз приходится себя спрашивать, вправду ли это двусмысленность и кто поручится, что она тут случайна.

Меньше всего, впрочем, я хочу быть понятым так, что ложные теоретические посылки не сказываются на истинности историко-статистических выводов. Например, синхроническое и диахроническое описание дериватов русского гексаметра напрямую зависит от того, будем ли мы понимать под ними стиховые формы, реально произведенные от гексаметра в ходе развития поэзии, или те, что из исходного размера получаются комбинаторно, то есть путем умозрительной замены его отдельных метрических констант [Шапир 1994б: 53 и далее; 2000а: 288 и далее]. Точно так же на историческую грамматику русского стиха наложат отпечаток базовые теоретические допущения: захотим ли мы учитывать все межстрочные связи или только одну, станем ли различать силу этих связей в зависимости от того, требует или нет синтаксическая конструкция непременного продолжения, и т. д. [Шапир 1999: 57–59; 2000а: 163–167; 2003: 31–33]. Несравненно труднее найти обратные примеры безразличия теоретического "базиса" к фактической "надстройке"; так, Ярхо, я думаю, избежал провала лишь потому, что обследовал пьесы, созданные в короткий исторический промежуток и действительно обладавшие характеристиками, которые ученый неправомерно обобщил до универсальных признаков драмы.

Но служить удобным подспорьем для дальнейших подсчетов – далеко не единственное назначение теории. Ее наивысшая цель – получить универсальное знание о предмете. А так как речь идет о непрерывно меняющихся явлениях культуры, гуманитарной теории ничего не остается, как пуститься на поиски растяжимых "топологических инвариантов" (прошу простить за математическую метафорику). Если бы Ярхо, не сводя всё дело к подсчетам, задумался о сущности драмы, он поневоле забыл бы о диалоге, действии, повествовательности и персонажах. Не знаю, к чему

[32] В "Госпоже Лени́н", этом трагическом шедевре Хлебникова, персонажи в общепринятом смысле слова не представлены ни в речах, ни в ремарках: они даны лишь в ощущениях, эмоциях и размышлениях заглавной героини, не проронившей по ходу произведения ни единого слова и непосредственно читателю не предъявленной. Точно так же – косвенно – читатель узнаёт о событиях, коими так бедна эта пьеса: в 1-м действии госпожу Ленин посещает врач и уходит, не сумев с нею заговорить; во 2-м действии душевнобольную пациентку насильно пытаются перевести в другое помещение. В сущности, хлебниковская вещь лишена и повествовательности, и действия, и даже диалога; "действующие лица", говорящие в пьесе, суть внутренние голоса героини (Голос Зрения, Голос Слуха, Голос Рассудка, Голос Внимания, Голос Памяти, Голос Страха и т. д.), но живой голос само́й госпожи Ленин (Голос ее Голоса) не звучит. Если, размывая значения терминов, счесть внутренние монологи – диалогами, "голоса" чувств – персонажами, а переживания и мысли – действиями, то таких "диалогов", "персонажей" и "действий" будет с избытком в любой лирике ("Кладбище" Карамзина, "Два голоса" Тютчева и др.).

пришел бы такой полиглот и эрудит, как он, но сам я, пытаясь суммировать свой скромный культурный опыт, в многообразии ипостасей драмы усматриваю нечто общее. Она всегда видится мне представлением особого рода: упрощая и схематизируя, можно сказать, что лирика есть поэзия представляющего, эпос – поэзия представляемого, а драма – поэзия представления; и это, разумеется, не классификация текстов, а типы презентации литературной реальности. Иными словами, в драматическом высказывании автор говорит так, словно он – это на самом деле другой; в лирическом высказывании автор говорит так, словно он – это на самом деле он; а в эпическом высказывании автор говорит так, словно другой – это на самом деле другой. Между тем как всё это вымысел.

5. Заключение. Попробую извлечь мораль из теоретико-методологических экскурсов. Она таит в себе кажущийся парадокс: с успехом применяя точные методы для теоретического описания физического мира, мы бессильны построить универсальную математическую модель даже самого "простого" и "поверхностного" явления духовной культуры – явления, которое люди сами вызвали к жизни и всё новые модификации которого они постоянно порождают. Причина банальна: нельзя сконструировать математизированную картину универсума, которым управляет множество относительно равноправных демиургов; кто-нибудь из них во что бы то ни стало отменит закон, установленный другим. И этому не помешать. Количественная и формальная необузданность творческой воли человека коренится в его природе: он не так много может, и чего ради ему сдерживаться там, где он чувствует себя хозяином?[33]

Изучение текстов точными методами нужно всячески приветствовать, но математизированная теория текста как такового, увы, неосуществима: каждый объект, будучи повторимым в самых разных своих деталях, уникален как единство смысла во всей полноте и в любых тонкостях его материального воплощения в чувственно воспринимаемой форме [Шапир 2002в: 57][34]. Именно уникальность, "чрезмерность" приводит к пропасти между естественными и гуманитарными науками (ср. [Windelband 1894; Rickert 1902; 1910; а также Propp 1966: 227]), создаваемой, в том числе, повторимостью языка и неповторимостью речи. При этом "китайская фантазия" создателей простирается не только на текст как целое, но и на любой из его компонентов: он тоже по соизволению автора всегда может оказаться "чрезмерным", как 429-словная стихотворная строка из стихотворения Пригова [Шапир 2000б: 126, 135–137] или же как некий орган тела из сказки про принца Бирибинкера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акимова 2002а — *М. В. Акимова.* Б. И. Ярхо в полемике с тыняновской концепцией стихотворного языка // Philologica. 2001/2002. Т. 7. № 17/18.

[33] Этим объясняется принципиальная разница между опровержимостью точного универсального знания в естественных и гуманитарных науках: в первых она потенциальна (когда еще опровергнут, да и смогут ли вообще!), а во вторых – всегда актуальна (количественный закон в области, управляемой и контролируемой человеком, по его соизволению нарушается немедленно).

[34] Данный тезис казался мне само собой разумеющимся, но однажды Вяч. Вс. Иванов предложил мне его доказать. Если разные тексты не совпадают дословно (что бывает в подавляющем большинстве случаев), уникальность их как будто не нуждается в дополнительном подтверждении. Если же (как в рассказе Борхеса, у которого Пьер Менар сочиняет "Дон Кихота") два **разных** текста формально неотличимы, – они отличаются по контексту: у них не совпадают авторы, аудитория, время создания, ситуация появления на свет. Контекст не есть нечто постороннее: он становится могущественным фактором текста, поскольку до некоторой степени предопределяет его семантику и прагматику (смысл высказывания меняется в зависимости от того, ктò говорит, кому, когда и при каких обстоятельствах).

Акимова 2002б — Дискуссия о стихе и прозе в Государственной академии художественных наук / Подгот. текста, публ. и примеч. М.В. Акимовой // Philologica. 2001/2002. Т. 7. № 17/18.

Акимова, Шапир 2003 — *М.В. Акимова, М.И. Шапир.* Борис Исаакович Ярхо и стратегия "точного литературоведения" // Российская наука: "Природой здесь нам суждено..." М., 2003.

Аксенов 1933 — *Б. Джонсон.* Драматические произведения. М.; Л., 1933. [Т.] II / Ред., вступ. ст. и примеч. И.А. Аксенова.

Александров 1964 — *А. Александров.* Математика // Философская энциклопедия. М., 1964. [Т.] 3: Коммунизм – Наука.

Белый 1910 — *А. Белый.* Символизм: Кн. ст. М., 1910.

Белый 1922 — *А. Белый.* Пушкин, Тютчев, Баратынский в зрительном восприятии природы // А. Белый. Поэзия слова. Пб., 1922.

Брик 1927 — *О.М. Брик.* Ритм и синтаксис (Материалы к изучению стихотворной речи) // Новый леф. 1927. № 3—6.

Винокур 1941 — *Г. Винокур.* Слово и стих в "Евгении Онегине" // Пушкин: Сб. ст. М., 1941.

Гаспаров 1969 — *М.Л. Гаспаров.* Работы Б.И. Ярхо по теории литературы // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. 1969. Вып. 236.

Гаспаров 1974 — *М.Л. Гаспаров.* Современный русский стих: Метрика и ритмика. М., 1974.

Гаспаров 1984 — *М.Л. Гаспаров.* Очерк истории русского стиха. М, 1984.

Гаспаров 1989 — *М.Л. Гаспаров.* Очерк истории европейского стиха. М., 1989.

Гаспаров 1990 — *М.Л. Гаспаров.* Буквализм словесный против буквализма ритмического (Неизданный перевод из "Пана Тадеуша" // Quinquagenario Alexandri Ilušini oblata. М., 1990.

Гаспаров 1993 — *М.Л. Гаспаров.* Воспоминания о С.П. Боброве // Блоковский сборник. Тарту, 1993. [Вып.] XII.

Гаспаров 1996 — *М.Л. Гаспаров.* Лингвистика стиха // Славянский стих: Стиховедение, лингвистика и поэтика. Материалы международной конференции 19–25 июня 1995 г. М., 1996.

Гаспаров 2002 — *М.Л. Гаспаров.* По поводу критерия стиха у Б.И. Ярхо (примечание к статье М.В. Акимовой) // Philologica. 2001/2002. Т. 7. № 17/18.

Грекова 1988 — *И. Грекова.* Необязательные украшения // Вопросы литературы. 1988. № 2.

Иванов 1967 — *Вяч. Вс. Иванов.* О применении точных методов в литературоведении // Вопросы литературы. 1967. № 10.

Илюшин 1986 — *А.А. Илюшин.* О метрике силлаботонического стиха // Сов. славяноведение. 1986. № 5.

Колмогоров 1954 — *А.Н. Колмогоров.* Математика // Большая советская энциклопедия. Изд. 2-е. М., 1954. Т. 26: Магнитка – Медуза.

Колмогоров 1997 — *А.Н. Колмогоров.* Семиотические послания / Публ. В.А. Успенского // Новое лит. обозрение. 1997. № 24.

Колмогоров, Прохоров 1963 — *А.Н. Колмогоров, А.В. Прохоров.* Статистика и теория вероятностей в исследовании русского стихосложения // Симпозиум по комплексному изучению художественного творчества: Тез. и аннот. (18–22 февр. 1963 г.). Л., 1963.

Колмогоров, Прохоров 1968 — *А. Колмогоров, А. Прохоров.* К основам русской классической метрики // Содружество наук и тайны творчества. М., 1968.

Колмогоров, Прохоров 1985 — *А.Н. Колмогоров, А.В. Прохоров.* Модель ритмического строения русской речи, приспособленная к изучению метрики классического русского стиха // Русское стихосложение: Традиции и проблемы развития. М., 1985.

Колмогоров, Рычкова 1999 — *А.Н. Колмогоров, Н.Г. Рычкова.* Анализ ритма русского стиха и теория вероятностей [1962] // Теория вероятностей и ее применения. 1999. Т. 44. Вып. 2.

Лапшина, Романович, Ярхо 1934 — *Н.В. Лапшина, И.К. Романович, Б.И. Ярхо.* Метрический справочник к стихотворениям А.С. Пушкина. [Л.], 1934.

Матяш 2001 — *С.А. Матяш.* К истории и типологии стихотворного переноса // Славянский стих: Лингвистическая и прикладная поэтика. Материалы международной конференции 23—27 июня 1998 г. М., 2001.

Панов 1979 — *М.В. Панов.* Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.

Поливанов 1892 — *Л. Поливанов.* Русский александрийский стих // Ж. Расин. Гофолия (Athalie): Трагедия в 5-ти действиях в стихах (1691) / Пер. с фр. размером подлинника Л. Поливанова. М., 1892.

Пропп 1928 — *В. Пропп.* Морфология сказки. Л., 1928.

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

Ревзин 1962 – *И. И. Ревзин.* Совещание в г. Горьком, посвященное применению математических методов к изучению языка художественной литературы // Структурно-типологические исследования. М., 1962.

Ревзин 1977 – *И. И. Ревзин.* Современная структурная лингвистика: Проблемы и методы. М., 1977.

Сперантов 1998 – *В. В. Сперантов.* Поэтика ремарки в русской трагедии XVIII – начала XIX века (К типологии литературных направлений) // Philologica. 1998. Т. 5. № 11/13.

Тарлинская 1996 – *М. Г. Тарлинская.* Ритмический буквализм? О том, как Иван Аксенов переводил елизаветинцев // Славянский стих: Стиховедение, лингвистика и поэтика. Материалы международной конференции 19–25 июня 1995 г. М., 1996.

Тынянов, Якобсон 1928 – *Ю. Тынянов, Р. Якобсон.* Проблемы изучения литературы и языка // Новый леф. 1928. № 12.

Успенский 1997 — *В. А. Успенский.* Предварение для читателей "Нового литературного обозрения" к семиотическим посланиям Андрея Николаевича Колмогорова // Новое лит. обозрение. 1997. № 24.

Успенский 2002 — *В. А. Успенский.* Труды по нематематике. С приложением семиотических посланий А. Н. Колмогорова к автору и его друзьям: В 2-х т. М., 2002. Т. 2.

Шапир 1987 — *М. И. Шапир.* "Грамматика поэзии" и ее создатели (Теория "поэтического языка" у Г. О. Винокура и Р. О. Якобсона) // ИАН СЛЯ. 1987. Т. 46. № 3.

Шапир 1990а — *М. И. Шапир.* Язык быта / языки духовной культуры // RLing. 1990. V. 14. № 2.

Шапир 1990б — *М. И. Шапир.* Приложения: Комментарии; Библиографии; Указатели // Г. О. Винокур. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М., 1990.

Шапир 1990в — *М. И. Шапир.* Metrum et rhythmus sub specie semioticae // Даугава. 1990. № 10.

Шапир 1994а — *М. И. Шапир.* Протокол заседания Московского лингвистического кружка 26 февраля 1923 г. / Подгот. текста, публ. и примеч. М. И. Шапира // Philologica. 1994. Т. 1. № 1/2.

Шапир 1994б — *М. И. Шапир.* Гексаметр и пентаметр в поэзии Катенина (О формально-семантической деривации стихотворных размеров) // Philologica. 1994. Т. 1. № 1/2.

Шапир 1995 — *М. И. Шапир.* "Versus" vs "prosa": пространство-время поэтического текста // Philologica. 1995. Т. 2. № 3/4.

Шапир 1996 — *М. И. Шапир.* Гаспаров-стиховед и Гаспаров-стихотворец: Комментарий к стиховедческому комментарию // Русский стих: Метрика; Ритмика; Рифма; Строфика. М., 1996.

Шапир 1999 — *М. И. Шапир.* Ритм и синтаксис ломоносовской оды (К вопросу об исторической грамматике русского стиха) // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сб. к 70-летию Вяч. Вс. Иванова. М., 1999.

Шапир 2000а — *М. И. Шапир.* Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII—XX вв. М., 2000. Кн. 1.

Шапир 2000б — *М. И. Шапир.* О пределах длины стиха в верлибре (Д. А. Пригов и другие) // Philologica. 1999/2000. Т. 6. № 14/16.

Шапир 2002а — *М. И. Шапир.* Филология как фундамент гуманитарного знания: Об основных направлениях исследований по теоретической и прикладной филологии // Антропология культуры. М., 2002. Вып. 1.

Шапир 2002б — *М. И. Шапир.* Нечто о "механизме российских стихов", или Почему Онегин не мог отличить ямб от хорея // ИАН СЛЯ. 2002. Т. 61. № 5.

Шапир 2002в — *М. И. Шапир.* "...Домашний, старый спор..." (Б. И. Ярхо против Ю. Н. Тынянова во взглядах на природу и семантику стиха // Philologica. 2001/2002. Т. 7. № 17/18.

Шапир 2003 — *М. И. Шапир.* Три реформы русского стихотворного синтаксиса (Ломоносов – Пушкин – Иосиф Бродский) // ВЯ. 2003. № 3.

Шапир 2004 — *М. И. Шапир.* Эстетика небрежности в поэзии Пастернака (Идеология одного идиолекта) // ИАН СЛЯ. 2004. Т. 63. № 4.

Шапир 2005 — *М. И. Шапир. Донос*: социолингвистический аспект (Игра словами как средство языковой политики)' (в печати).

Ширяев 1989 — *А. Н. Ширяев.* Андрей Николаевич Колмогоров (25.IV.1903–20.X.1987): In Memoriam // Теория вероятностей и ее применения. 1989. Т. XXXIV. Вып. 1.

Штокмар 1928 — *М. П. Штокмар.* Ритмическая проза в "Островитянах" Лескова // Ars poetica: Сб. ст. М., 1928. [Сб.] II: Стих и проза.

Яглом 1980 — *И. М. Яглом.* Математические структуры и математическое моделирование. М., 1980.

Якобсон 1922 — *Р. Якобсон.* Брюсовская стихология и наука о стихе [1920] // Науч. Изв. Акад. Центра Наркомпроса. 1922. Сб. 2: Философия; Литература; Искусство.

Якобсон 1923 — *Р. Якобсон.* О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским. [Москва; Берлин], 1923.

Ярхо 1928а — *Б. И. Ярхо.* Ритмика так наз. "Романа в стихах" // Ars poetica. М., 1928. [Сб.] II: Стих и проза.

Ярхо 1928б — *Б. И. Ярхо.* Свободные звуковые формы у Пушкина // Ars poetica. М., 1928. [Сб.] II: Стих и проза.

Ярхо 1931 — *Б. И. Ярхо.* Действо о десяти девах // Памяти П. Н. Сакулина. М., 1931.

Ярхо 1984 — *Б. И. Ярхо.* Методология точного литературоведения (набросок плана) [1935–1936] / [Подгот. текста М. Л. Гаспарова] // Контекст 1983: Лит.-теорет. исслед. М., 1984.

Ярхо 1997 — *Б. И. Ярхо.* Распределение речи в пятиактной трагедии (К вопросу о классицизме и романтизме) [конец 1920-х – 1930-е годы] / Подгот. текста, публ. и примеч. М. В. Акимовой; Предисл. М. И. Шапира // Philologica. 1997. Т. 4. № 8/10.

Ярхо 2000 — *Б. И. Ярхо.* Комедии и трагедии Корнеля (Этюд по теории жанра) [1937] / Подгот. текста, публ. и примеч. М. В. Акимовой // Philologica. 1999/2000. Т. 6. № 14/16.

Bailey 1973 — *J. Bailey.* The evolution and structure in the Russian iambic pentameter from 1880 to 1922 // International journal of Slavic linguistics and poetics. 1973. [V.] XVI.

Havránek, Jakobson, Mathesius, Mukařovský 1929 — *B. Havránek, R. Jakobson, V. Mathesius, J. Mukařovský.* Thèses // TCLP. 1929. [T.] 1: Mélanges linguistiques dédiés au Ier Congrès des philologues slaves. (Без подписи.)

Jakobson 1960 — *R. Jakobson.* Closing statement: Linguistics and poetics // Style in language. New York; London, 1960.

Jarcho 1935 — *B. J. Jarcho.* Organische Struktur des russischen Schnaderhüpfels (Častuška): Mit Ausblicken auf das deutsche Schnaderhüpfel) // Germanoslavica. 1935. Heft 1/2.

Popper 1935 — *K. Popper.* Logic der Forschung: Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft. Wien, 1935.

Propp 1966 — *V. Ja. Propp.* Struttura e storia nello studio della favola // V. Ja. Propp. Morfologia della fiaba / Con un interv. di C. Lévi-Strauss e una replica dell'autore. Torino, 1966.

Rickert 1902 — *H. Rickert.* Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung: Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. Tübingen; Leipzig, 1902.

Rickert 1910 — *H. Rickert.* Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. 2., umgearb. und verm. Aufl. Tübingen, 1910.

Saussure 1916 — *F. de Saussure.* Cours de linguistique générale / Publ. par C. Bally et A. Sechehaye avec la collaboration de A. Riedlinger. Lausanne; Paris, 1916.

Windelband 1894 — *W. Windelband.* Geschichte und Naturwissenschaft. Strassburg, 1894.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2005

© 2005 г. Б. А. УСПЕНСКИЙ

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГЛАГОЛИЦЫ

Работа посвящена рассмотрению идеографических элементов в глаголическом алфавите. Особое внимание уделается буквам, симметрично ориентированным по отношению друг к другу, т.е. представляющим собой одно и то же начертание в прямой и перевернутой позиции ("иже" и "слово", "добро" и "вѣди"); показывается, что эти буквы восходят к сокращенным (под титлом) написаниям сакральных имен. Специально рассматривается также начертание и наименование буквы "азъ". Высказывается гипотеза, что ключевое значение при создании глаголического алфавита имели слова Христа "Азъ есмь альфа и омега, начатокъ и конецъ" (Откр., I, 8). Славянский алфавит, созданный Кириллом Философом, может быть понят вообще как идеографическое выражение Священного Писания; на этом основании интерпретируются некоторые места Жития Константина-Кирилла и Сказания черноризца Храбра.

Вопрос о происхождении глаголицы с полным основанием может быть назван "проклятым вопросом" (questio diabolica) славистики. В самом деле, едва ли можно назвать другую область в нашей науке, где было бы сломано столько копий – при отсутствии положительных (общепризнанных) результатов. Более того, трудно надеяться на окончательное решение данного вопроса: это предполагало бы открытие принципиально новых источников, что мало вероятно и не может быть предметом целенаправленного поиска. Мы вынуждены искать не новые источники, а новые подходы к проблеме.

Все предлагаемые решения данной проблемы по необходимости имеют гипотетический характер. Гипотезы эти распадаются на два вида: предположения о естественном происхождении глаголицы, которые исходят из того, что св. Кирилл основывался на каком-то из известных ему алфавитов (на одном из них или же на нескольких), и предположения об искусственном ее происхождении, исходящие из того, что глаголица была создана независимо от существующих алфавитов. Необходимо отметить при этом, что гипотеза об искусственном происхождении глаголицы не исключает возможности того, что глаголический алфавит может отражать принципы того или иного письма: речь идет исключительно о начертаниях букв, т.е. об их графическом облике.

Попытки связать глаголицу с каким-либо из существующих алфавитов в целом не привели к сколько-нибудь убедительным результатам, хотя в ряде случаев глаголические буквы могут разительно напоминать соответствующие по звучанию буквы того или иного алфавита: мы можем констатировать, например, несомненное сходство глаголической буквы "добро" и греческой минускульной буквы "дельта", глаголической буквы "ша" и еврейской буквы "шин".

Из гипотез, предполагающих искусственное происхождение глаголицы, наибольшую известность по праву получила гипотеза Г. Чернохвостова, согласно которой буквы глаголического алфавита в значительной части искусственно составлены из основных сакральных символов – креста (символ Христа), круга (символ бесконечности и всемогущества Бога-Отца) и треугольника (символ Троицы)[1]. Попутно заметим, что

[1] См.: [Tschernochvostoff 1995; Кипарский 1958; Kiparsky 1964; Кипарский 1968]. Гипотеза Чернохвостова, доступная до недавнего времени в изложении В. Кипарского, получила сочувственный отклик целого ряда ученых; помимо указанных работ самого Кипарского см. в частности [Samilov 1970: 98; Auty 1971: 41–42; Толстой 1998: 53; Вереекен 1995: 7; Marti 1999: 178, примеч. 13].

Ср. в этой связи предположение о связи глаголицы с греческим магическим письмом (с алхимическими и криптографическими знаками) [Гранстрем 1955].

круг в качестве солярного символа с равным успехом мог бы трактоваться также и как символ Христа – "солнца правды".

Даже если и не соглашаться с этой интерпретацией – которая, строго говоря, не может быть доказана и в этом смысле имеет априорный характер[2], – искусственный характер глаголицы представляется достаточно очевидным. Об этом говорит целый ряд фактов; на некоторые из них указал сам Чернохвостов.

Чернохвостов обратил внимание, в частности, на то, что глаголические буквы "иже" и "слово" симметрично ориентированы по отношению одна к другой (представляя собой один и тот же знак в прямой и перевернутой позиции), и объяснил это тем, что их сочетание соответствует обозначению имени Христа, как оно писалось под титлом: ис҃[3]:

ис҃

ꙋѡ

НΣ҃

Это соображение представляется убедительным и, вместе с тем, весьма перспективным в содержательном отношении: оно позволяет видеть в славянском написании имени Христа особый богословский смысл (отсутствующий в соответствующем греческом или латинском написании). Будучи написано по-славянски (глаголическим алфавитом), имя Христа образует цикл, законченный круг, и это соответствует словам: "Азъ есмь альфа и омега, начатокъ и конецъ" (Откр. I, 8, ср. I, 10, 17, II, 8, XXI, 6, XXII, 13; ср. также: Ис. XLI, 4, XLIV, 6, XLVIII, 12). Таким образом, глаголическое написание имени Христа предстает как своего рода идеограмма, которая соответствует тому, что он сам говорит о себе в Апокалипсисе.

Однако для того, чтобы полностью согласиться с предложенной интерпретацией букв "иже" и "слово", необходимо объяснить аналогичное соотношение букв "добро" и "вѣди". Как известно, в глаголической азбуке есть еще один случай симметричной ориентации букв: в таком же отношении, как буквы "иже" и "слово", находятся и буквы "добро" и "вѣди": в обоих случаях мы имеем один и тот же знак, представленный в прямой и перевернутой позиции. Ср.:

ѵ "вѣди" ⰴ "добро"

Приведенными примерами ограничиваются все случаи симметричной организации глаголических букв; иными словами, данный принцип прослеживается только в двух парах: в начертаниях букв "иже" и "слово", с одной стороны, "добро" и "вѣди", с другой. Если начертание букв "иже" и "слово" восходит к сокращенному написанию име-

---

[2] Данная интерпретация относится к числу тех, которые не могут быть доказаны и могут быть отвергнуты только в том случае, если находится другое, более правдоподобное объяснение.

[3] См. [Tschernochvostoff 1995: 146; Кипарский 1958: 316; Kiparsky 1964: 400; Кипарский 1968: 93; Auty 1971: 44; Иванова 1977: 29].

В старославянских памятниках имя Христа могло писаться под титлом как с "ї десятиричным" (іс҃), так и с "и восьмеричным" (ис҃); показательно при этом, что в глаголических памятниках оно, как правило, пишется с "и восьмеричным" (ис҃) (см. [Sill 1972: 107-112 и особенно табл. 10; Čremošnik 1925: 261]). Равным образом и в греческих текстах это имя могло писаться под титлом как с "йотой" (ις҃), так и с "этой" (ης҃).

Отметим в этой связи, что глаголическая буква ꙋ может соответствовать в кириллице как "ї десятиричному" (ι), так и "и восьмеричному" (и). Так, по наблюдениям Б. Велчевой, эта буква соответствует букве ι в Киевских листках, но букве и – в Зографском евангелии (см. [Велчева 1983: 205, примеч. 17]. Характерно в этом смысле, что как та, так и другая буква может носить название "иже" (см. [Успенский 1997: 252 и 275, примеч. 36, 37]).

ни Христа, очевидно, что аналогичное начертание букв "добро" и "вѣди" не может быть случайным. Мы должны предположить, что за этой аналогией кроется какой-то смысл. Но какой именно?

Если же симметричное отношение букв "добро" и "вѣди" не имеет специального смысла, то не обязательно усматривать скрытый смысл в аналогичном соотношении букв "иже" и "слово".

Отсутствие объяснения симметричной организации букв "добро" и "вѣди" оказывалось, таким образом, слабым звеном теории Чернохвостова, ставя под сомнение предложенную им интерпретацию букв "иже" и "слово", т.е. позволяя предположить отсутствие связи начертаний этих букв с написанием имени Христа[4].

Полагаем, что параллелизм в соотношении между буквами "иже" и "слово", с одной стороны, и "добро" и "вѣди", с другой, – отражает ассоциацию Христа и Давида, когда Давид рассматривается как типологический (ветхозаветный) прообраз Христа. Такого рода ассоциация нашла отражение в греческой и латинской письменности, где имя Давид, подобно имени Иисус, регулярно пишется под титлом, выступая таким образом как сакральное имя (nomen sacrum) – при том, что все остальные личные имена, как правило, представлены здесь в полном написании[5]. Людвиг Траубе писал в этой связи: "Daß eine Kurzschreibung für ΔΑΥΕΙΔ aufkam, erklärt sich wieder aus messianistischen Anschauungen und scheint ursprünglich, wenn wir die Wortbilder ins Auge fassen, eher vorchristlicher Zeit anzugehören, als bereits der typologischen Beziehung von David auf Christus graphischen Ausdruck zu geben"[6]. Если обычным греческим сокращением имени Давид является ΔΑΔ, то в латыни оно, как правило, пишется как DD, и это объясняется, можно думать, именно аналогией с сокращенным написанием имени Иисуса как IC или IS, HS[7]. В старославянской и последующей церковнославянской традиции это имя обычно пишется как **дв҃дъ** (или **дв҃д**), хотя встречается и сокращение **дд҃ъ**, аналогичное латинскому[8]. Особенно же показательно в этом отношении сокращение **дв҃**-, встречающееся в старославянских глаголических памятниках (ср. **дв҃ъ** в им. падеже в Мар. евангелии, л. 38, **дв҃ı** в дат. падеже в Син. псалтыри, л. 17), которое обнаруживает непосредственное сходство с сокращенным написанием имени Иисуса: в обоих случаях в основе сокращения находится конфигурация букв, которые представляют собой один и тот же знак в прямой и перевернутой позиции[9]. Можно предположить, что именно такое сокращение имени Давид является древнейшим для церковнославянской письменности; не исключено при этом, что данное имя в сокращенной форме могло писаться в именительном падеже без конечного ера, что должно было делать аналогию с сокращенным написанием имени Иисуса еще более явной.

Так же, как в греческих и латинских текстах, всего лишь два личных имени представлены в старославянских памятниках в сокращенном (подтительном) написании –

---

[4] См. в этой связи [Vlasto 1970: 43, примеч. "c"]. М. Самилов предположил, что в основе ассоциации этих букв лежит ассоциация слов "вѣра" и "добро" (см. [Samilov 1970: 101]), что не кажется убедительным.

[5] См. [Traube 1907].

[6] [Там же: 104].

[7] Говоря о сокращении ΔΔ в одной поздней греческой рукописи, Л. Траубе замечает: "Wir glauben nicht zu irren, wenn wir diese Form für eine Anlehnung an θς oder vielleicht schon an ις halten" [Traube 1907: 105].

[8] См. [Sill 1972: 99–100 и табл. 7; Čremošnik 1925: 259].

[9] Эти сокращения не указаны в работе У. Зилл [Sill 1972], посвященной старославянским написаниям nomina sacra: сокращение **дв҃ъ** фигурирует здесь только как форма посессивного прилагательного от имени Давид. Отметим, вместе с тем, что подобное написание посессивного прилагательного может быть также связано с сокращенным написанием имени Иисуса, поскольку обе формы встречаются в сочетании "Иисус, сын Давидов" (ср., например, в Син. евхологии, л. 33 об.: **ісе сн҃е дв҃ъ • помилоуи ны**).

это имена Иисус и Давид[10], т.е. только они рассматривались как nomina sacra. Отметим, вместе с тем, что, в отличие от греческих и латинских сокращений, славянское подтительное написание **дв҃д** ближайшим образом соответствует еврейскому написанию этого имени: в еврейской письменности, как известно, передаются только согласные и, соответственно, данное имя пишется здесь как דוד. Между тем сокращение **дв҃**, поскольку мы знаем, является специфически славянским сокращением[11].

Из Жития Константина-Кирилла мы знаем, что он изучил древнееврейский язык (гл. VIII, ср. гл. X), и есть все основания доверять этому свидетельству[12]. Как полагают, знакомство с еврейским письмом отразилось при создании глаголической азбуки: некоторые буквы глаголицы – такие, например, как буква "ша", – были, по-видимому, непосредственно заимствованы из древнееврейского алфавита[13]; это знакомство, возможно, нашло отражение и в сокращенном (подтительном) написании имени Давида в виде **дв҃д**[14].

---

[10] См. [Sill 1972].

[11] Сокращение **дв҃-** встречается еще в написании под титлом слова **дѣва**, и, соответственно, можно было бы предположить, что в основе симметрической организации глаголических букв "иже" и "слово", с одной стороны, "добро" и "вѣди", с другой, лежит не ассоциация Христа и Давида, а ассоциация Христа и Марии. Это, однако, кажется менее вероятным. Сокращенная форма имени "Давид" встречается в древнейшей церковнославянской письменности гораздо чаще, чем сокращение слова "дѣва". При этом это последнее сокращение встречается, как правило, в кириллической письменности (исключение представляет лишь форма **дв҃ъ** в Син. евхологии, л. 88, где речь не идет о Богоматери: **моусикиискихъ дв҃ъ слышати гѫслеи**). См. [Sill 1972: 93 и 168] (здесь ошибочно указаны две формы **дв҃ъ** в Син. евхологии).

[12] См. [Minns 1925: 94–95], ср. относительно знакомства Кирилла с другими семитскими языками (арамейским и сирийским) [Горалек 1956].

[13] См. в этой связи [Minns 1925: 96; Иванова 1977: 22].

[14] В миниатюрах Киевской псалтыри 1397 г. (ГПБ, ОЛДП F 6; см. изд. [Вздорнов 1978, прилож.] – русской иллюминированной Псалтыри, изготовленной в Киеве в окружении митрополита Киприана, – имя Давида обычно пишется в виде сокращения, состоящего из греческих и славянских букв: **δвδ** (л. 4 об., 14, 164, 184 об., 195), **δвд** (л. 2, 7 об., 10, 19, 22 об., 65 об., 71 об., 85, 108 об., 124 об., 138, 196, 205), которое может быть под титлом или без титла; по одному разу встречается написание **δδв** (л. 185) и **δаδ** (или же δαδ, л. 79). При этом греческая "дельта" представлена в минускульном написании, которое в принципе соответствует глаголическому изображению буквы "добро". Примечательно, что сокращение **δвд**, так же, как и соответствующее ему написание **двд**, обычно представлено в виде треугольника, где последняя буква **д** вынесена вверх: она либо надписана над буквой **в**, либо смещена несколько влево, приходясь на середину по отношению к буквам нижнего ряда (л. 2, 7 об., 10, 17, 19, 22 об., 25 об., 27, 30, 37 об., 39 об., 41 об., 44 об., 46 об., 47 об., 50 об., 53, 57, 61, 63, 65 об., 69, 96 об., 97 об., 108 об., 111, 113, 138, 140, 196, 205). Центральное положение вынесенной в верхнюю строку последней буквы имени Давид отразилось в написании **δδв** (л. 185), которое восходит, по-видимому, именно к такому написанию: выносная буква была помещена в нижнюю строку и при этом оказалась не в конце, а между двух других согласных.

Миниатюры Киевской псалтыри ближайшим образом напоминают миниатюры византийской Балтиморской псалтыри начала XIV в. из собрания Walters Arts Gallery, и следует полагать, что обе рукописи восходят к одному и тому же греческому прототипу [Вздорнов 1978: 66–70]. Поскольку сокращение **δυδ** нетипично для греческих рукописей (для них, как упоминалось, характерно сокращение δαδ, откуда и объясняется аналогичная аббревиатура на л. 79 Киевской псалтыри), мы можем предположить, что непосредственным источником Киевской псалтыри была не греческая, а южнославянская рукопись, и она, видимо, была написана глаголицей. Если перевести сокращение **двд**, представленное в виде треугольника, в глаголицу, перед нами окажутся два симметричных написания одного и того же знака, выступающего в прямой и перевернутой позиции, которые расположены по горизонтали и по вертикали. Миниатюрист Киевской псалтыри мог заменить глаголические буквы соответствующими кириллическими или греческими (в случае буквы "добро"); в последнем случае он мог просто копировать глаголическое "добро", интерпретируя его как греческую минускульную "дельту", поскольку эти славянская и греческая буквы совпадают по начертанию.

Что же касается сокращения дв, то оно объясняется соотнесением имени Христа и имени Давида. Глаголический алфавит призван подчеркнуть, таким образом, типологическую связь Христа и Давида: как глаголическое написание имени Христа, так и написание имени Давида образует симметричную конструкцию, начинающуюся и оканчивающуюся одним и тем же знаком (в прямой и перевернутой позиции) и символически выражающую таким образом идею круга, цикла – ту идею, которая выражена словами: "альфа и омега, начатокъ и конецъ". Та же идея, вообще говоря, может быть усмотрена и в сокращении двд, которое символизирует круг, совершающий полный оборот и возвращающийся к своему исходному положению.

Итак, написание имени Давид как двд в принципе может быть объяснено как из еврейского, так и из славянского источника: оно соответствует еврейскому написанию этого имени и, вместе с тем, может рассматриваться как развитие той идеи, которая заложена в собственно славянском сокращении дв и которая объясняется в конечном счете ассоциацией Давида и Христа. Думается, что одно объяснение не противоречит другому: они как бы дополняют друг друга, создавая, так сказать, эффект резонанса, взаимного усиления.

Обращает на себя внимание при этом, что глаголическая буква "добро" обнаруживает явное сходство с греческой минускульной "дельтой". Сходство это настолько очевидно, что мы можем предположить, что св. Кирилл основывался в данном случае именно на начертании греческой буквы; что же касается буквы "вѣди", то он создал ее искусственно, представив ее как перевернутое "добро"; основанием для этого послужило именно сокращенное (подтительное) написание имени Давид. Таким образом, возвращаясь к полемике о естественном или искусственном происхождении глаголицы, мы можем заключить, что истина находится посредине. Как мы видим на примере букв "добро" и "вѣди", св. Кирилл в каких-то случаях мог исходить из начертаний соответствующих по звучанию греческих букв (речь идет при этом, понятно, об орнаментализации греческого минускульного письма); в других же случаях он мог искусственно создавать славянские (глаголические) буквы, представляя их как результат трансформации тех славянских букв, которые, в свою очередь, восходят к греческим. В основе такого рода трансформации может лежать содержательная ассоциация связи этих букв, обусловленная их сочетанием в том или ином сакральном имени.

Итак, симметричные (перевернутые) начертания букв "иже" и "слово", "добро" и "вѣди" свидетельствуют, по-видимому, о стремлении придать начертаниям букв особый богословский смысл. Не менее показательно в этом плане и то, что первая глаголическая буква алфавита "азъ" представляет собой крест (✠)[15] – символическое изображение Христа, "Бога Слова", который, по Иоанну Богослову, был "в начале" и является "началом" (Ин. I, 1; Откр. I, 8). Как известно, "греческие или латинские документы раннего средневековья [...] имеют в начале, перед текстом, один или три креста, символизирующих имя Христа [...]. В дипломатике этот знак называется хризмон [chrismon]. Иоанн Златоуст [...] упоминает обычай помещать имя Христа в начале писем [...] Начиная свой алфавит хризмоном, Кирилл начинал его призыванием имени Христа"[16]. При этом, как отметил Г. Чернохвостов, буквы "иже" и "слово", символизирующие имя Иисуса Христа, находятся в слове *искони* в начале Евангелия от Иоанна ("Искони бѣ слово..."), которым открывается Евангелие-апракос, переведенное Философом, – текст, с которого, как мы знаем, началась вообще славянская письмен-

[15] См. [Tschernochvostoff 1995: 146; Кипарский 1958: 316; Kiparsky 1964: 398; Кипарский 1968: 93; Гранстрем 1955: 307; Auty 1971: 44; Иванова 1977: 29].

[16] [Гранстрем 1955: 307]. Начертание креста в начале текста соответствует обычаю осенять себя крестом в начале всякого дела.

ная традиция (и который читается в Пасхальном богослужении)[17]. Получается, таким образом, что Евангелие открывается символическим обозначением Христа – так же, как открывается им и сама славянская азбука. Имя Христа оказывается в начале как парадигматики, так и синтагматики славянской письменности: оно предстает в начале как системы письма, так и текста, выраженного при помощи этой системы, – того текста, с которого начинается пасхальный богослужебный цикл.

То, что первая буква глаголического алфавита изображает крест, может объяснять название этой буквы, т.е. название "азъ". Именно таким образом во всяком случае должно быть понято сопоставление первых букв славянской и греческой азбуки – славянской буквы "азъ" и греческой "альфа" – у черноризца Храбра (в сказании "О письменех"). Храбр говорит, что св. Кирилл, подобно грекам, начал с первой буквы: как греки начинают с "альфы", так Кирилл начал с "аза"; тем самым, по словам Храбра, оба алфавита начинаются с "аза", ср.: "ѡ^т^ пръваго же наченъ по гръчьскоу. ѡни оубо алфа, а съ" азь. ѡ^т^ аза начѧть обоє"[18]. В основе этого высказывания оказываются, опять-таки, слова: "Азъ есмь альфа и омега, начатокъ и конецъ" – как славянское "азъ", так и греческое "альфа" имеют своим референтом Христа и таким образом отождествляются. В результате слово "азъ" получает двойное значение в церковнославянском языке: оно соотносится как с местоимением первого лица, так и с первой буквой алфавита.

Далее Храбр говорит о том, что греческое название "альфа" соответствует еврейскому названию "алеф", и приписывает обоим названиям сходное значение. Ср.: "Жидове бѡ пръвое писмѧ имѧть *алефь*, єже сѧ сказаєть оучинение съвръшаѫще, въводимоу дѣтищоу и гл[агол]ѧще: *ѹчи сѧ*, єже єсть *алефь*. И гръци подобѧще сѧ томоу *алфа* рѣшѫ. И сподоби сѧ речение сказаниа жидовьска гръчьскѹ ѫзыкоу, да речеть дѣтищоу вь оучениа мѣсто: *ищи; алфа* бо *ищи* сѧ речеть гръчьскомь ѫзыкомъ. Тѣм' бо под[о]бѧ сѧ, с[вѧ]тыи Кирилъ створи пръвое писмѧ *азь*. Нѫ ꙗко и пръвомоу сѫщоу писмени азь, и ѡ^т^ Б[ог]а даноу родоу словѣн'скомоу на ѡ^т^въстиє оустъ, въ разоумъ оучащим сѧ бѹквамъ великомь раздвижениємь оустъ въз'гласит сѧ. А ѡна писмена маломъ раздвижениємь оустъ възгласѧт сѧ"[19]. Начало этого пассажа является почти дословным заимствованием из рассказа о создании греческой азбуки, который читается в схолии к грамматике Дионисия Фракийского[20]. Таким образом, сопоставление греческого названия первой буквы "альфа" и еврейского "алеф" восходит к греческому источнику; самому Храбру принадлежит лишь сопоставление греческого названия "альфа" и еврейского "алеф" со славянским "азъ".

---

[17] См. [Tschernochvostoff 1995: 147; Кипарский 1958: 316; Kiparsky 1964: 400; Кипарский 1968: 93–94]. Житие Константина-Кирилла (гл. XIV) сообщает нам, как Философ, создав славянскую азбуку, начинает писать по-славянски: "И тогда сложи писмена и начѧ бесѣдоу писати еvаггельскоую: искони бѣ слово, и слово бѣ оу бога, и богъ бѣ слово, и прочѧꙗ" [Лавров 1930: 27, ср. 60].

[18] [Ягич 1896: 9, 12; Лавров 1930: 162]; ср. [Куев 1967: 189 и др.]. Перевод: «С первой (буквы) начал, как в греческой (азбуке): они ведь (начинают) с "альфы", а он с "аз". И так обе начинаются с "аз"» [Флоря 1981: 102].

[19] [Ягич 1896: 9–10, 12–13; Лавров 1930: 162]; ср. [Куев 1967: 189 и др.]. Перевод: «У евреев же первая буква "алеф", что значит "учение". И когда приводят ребенка (для обучения), говорят (ему): "учись", а это – "алеф". И греки, подражая этому, сказали "альфа". И так был приспособлен оборот еврейской речи к греческому языку, так что ребенку вместо "учения" говорят "ищи". "Ищи" ведь говорится по-гречески "альфа". И это, следуя за ними, святой Кирилл создал первую букву "аз". Но потому что "аз" было первой буквой, данной от Бога роду славянскому, чтобы открыть для знания учащих буквы уста, возглашается она широко раздвигая губы, а другие буквы возглашаются и произносятся с малым раздвиганием губ» (Флоря 1981: 103).

[20] См. [Dostál 1963: 242, 244; Ziffer 1995: 564–567], ср. [Ягич 1896: 24; Куев 1967: 57–58] (ранее считалось, что данный текст заимствован из грамматики Псевдо-Феодосия). Аналогичные указания можно встретить уже у Евсевия Кесарийского, а также у других византийских авторов (см. [Dornseiff 1925: 27–28; Степанов 1991: 26–27]).

Если семантическое соотнесение названий "альфа" и "алеф" объясняется из греческого источника, то соотнесение слов "альфа" и "азъ" определяется, по-видимому, фразой "Азъ есмь альфа...". Вместе с тем соотнесение славянского названия "азъ" как с греческим "альфа", так и с еврейским "алеф" оказывается оправданным в силу того обстоятельства, что славянская (глаголическая) буква изображается в виде креста: в начале учения, как и вообще в начале всякого дела, полагается осенять себя знаком креста – иными словами, изображать крест, – и тем самым этот знак соответствует в данном случае значению "учись", которое приписывается еврейской букве "алеф" и вслед за ней греческой "альфе": если "алеф" означает учение, а "альфа" поиск, то "азъ" знаменует начало[21].

Остается добавить, что слова "Азъ есмь альфа и омега..." должны были быть произнесены по-арамейски или по-"сирийски", как было принято называть в свое время арамейский язык: Христос говорил по-арамейски, и поэтому "сирийский" язык мог считаться первоначальным и сакральным языком[22]. Надо полагать, следовательно, что в исходном тексте вместо названий "альфа и омега" фигурировали названия "алеф и тав", т.е. названия первой и последней буквы еврейского и, соответственно, арамейского алфавита. В начертании буквы "алеф" нетрудно усмотреть изображение креста. Равным образом и буква "тав" могла ассоциироваться с крестом: в древнееврейской и финикийской письменности эта буква изображалась именно в виде креста, что отразилось в начертании греческой буквы "тау": как известно, греки заимствовали финикийский алфавит вместе с названиями букв. О том, что греческие буквы восходят к финикийским, упоминает, между прочим, черноризец Храбр[23], источником которого является все та же схолия к грамматике Дионисия Фракийского[24]. О преемственной связи греческого алфавита в отношении к финикийскому, несомненно, знал и св. Кирилл, который мог реконструировать первоначальное начертание еврейской буквы "тав", исходя из формы греческой "тау", – во всяком случае он мог ассоциировать эти две буквы. Следует иметь в виду к тому же, что в христианской экзегетике

---

[21] Ср. в этой связи позднейшее описание процедуры обучения грамоте у Константина Костенечского в "Сказании о письменех" (главы XVIII и XIX): по словам Константина, ребенок, начинающий учиться писать, прежде чем изображать буквы, должен изобразить крест, произнося при этом "Кресте помогай"; равным образом, прежде чем учиться читать, необходимо написать в виде креста фразы "Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас" и "За молитв святых отец наших" (см. [Ягич 1896: 143–149]). Дополнения в этом отношении см. [Яцимирский 1917: 49–55 (гл. LXXXVI)], ср. также упоминание о молитве кресту перед началом обучения грамоте у Дмитрия Кантемира в возражениях на букварь Феофана Прокоповича (см. [Чистович 1868: 51]); относительно фразы "Кресте помогай" при изображении алфавита см. [Samilov 1970: 101]. Этому обычаю отвечает византийский обычай съедания букв при обучении грамоте: чтобы мальчик легко учился грамоте, надо было вывести чернилами на дискосе 24 буквы греческого алфавита, смыть буквы вином и дать мальчику выпить вино (см. [Pradel 1907: 381; Аверинцев 1977: 205]; такого рода обычай был известен и в Ирландии, см. [Thurston 1910: 625]): причащение алфавиту оказывается уподобленным причащению Христу. См. вообще о мотиве съедания книги, символизирующего познание [Лопарев 1910: 30; Яцимирский 1917: 54 (гл. LXXXVI); Аверинцев 1977: 204–205]. Характерным образом в целом ряде стран принято изготовлять еду (например, выпекать пирожки и т.п.) в форме букв (см. [Dornseiff 1925: 17]).

Не менее показателен обычай при освящении церкви чертить на полу или на внешней стене церкви алфавит в виде креста (см. [Thurston 1910; Dornseiff 1925: 74–75]); иногда при этом изображались еврейский, греческий и латинский алфавиты (вопреки Гошеву, едва ли так можно объяснить алфавит в баптистерии Круглой церкви в Преславе, который не изображен в виде креста, ср. [Гошев 1961: 65–66]). Как справедливо отмечает Турстон, "the alphabet is to be regarded as symbolic of Christ because it is the expansion of the A and Ω of the Apocalypse [...] In apparently all Western languages the alphabet was closely associated with the cross and shared in the sacred character attributed to the latter" [Thurston 1910: 629, ср. 630]. В этой связи заслуживает внимания попытка представить названия букв славянского алфавита как последовательный текст, содержащий исповедание веры (см. [Eriksson 1970]).

[22] См. [Успенский 1996: 62].

[23] [Ягич 1896: 11, 14; Лавров 1930: 163]; ср. [Куев 1967: 190 и др.].

[24] См. [Dostal 1963: 243; Ziffer 1995: 564–567]; ср. [Ягич 1896: 26; Куев 1967: 58–61].

принято соотносить слова Апокалипсиса о людях, чела которых отмечены именем Бога – "печатью Бога живаго" (Откр. VII, 2–4, XIV, 1), с книгой пророка Иезекииля, где говорится о праведных, на челе которых значится "тав" (Иез. IX, 4, 6)[25]. Еврейская буква "тав", как и греческая "тау", предстает таким образом как прообраз креста[26]. В этом контексте слова Христа приобретают дополнительный – идеографический – смысл: фраза "Азъ есмь альфа и омега" может читаться как "Аз есмь крест". Такого рода осмысление могло служить дополнительным основанием для определения как формы, так и названия первой буквы славянского алфавита.

Мы видим, что и слово "азъ", и слово "альфа", выступая как наименования букв, одновременно предстают как обозначения Христа: "азъ" обозначается крестом, и, вместе с тем, сам Христос говорит о себе: "Азъ есмь альфа и омега...". В этой фразе подчеркнута сакральная роль алфавита – именно поэтому она имеет ключевое значение для нашей темы. Соотнесение слов "азъ" и "альфа" может объясняться тем, что они выступают в одном контексте (будучи при этом объединены глагольной связкой). Можно предположить, вместе с тем, что, выбирая название для первой буквы славянского алфавита, св. Кирилл исходил из фразы Ἐγώ εἰμι ("Я есмь"), которая в абсолютном (беспредикатном) употреблении выступает в Библии как самоопределение Бога (см.: Ин. VI, 20, VIII, 24, 28, 58, XIII, 19, XVIII, 5, 6; Мк. VI, 50, XIII, 6, XIV, 62; Лк. XXI, 8, XXII, 70–71; Мф. XIV, 27; Втор. XXXII, 39; Ис. XLI, 4, XLIII, 10, 25, XLV, 18, 19, XLVI, 4, XLVIII, 12, LI, 12, LII, 6)[27]. В свою очередь, эта фраза естественно ассоциируется с именем Бога, которое Бог Отец сообщает Моисею на Синайской горе: на вопрос Моисея о его имени Бог отвечает, что его имя "Я есмь" (евр. *'ehyeh* – Исх. III, 13–14)[28].

Исходная еврейская фраза ответа Бога Моисею в книге Исход *'ehyeh 'asher 'ehyeh* выглядит как тавтология. Она означает буквально: "Я есмь тот, кто есмь" (и так она переводится в Вульгате: "Ego sum qui sum")[29] или же "Я есмь то, что есмь" (и так она пере-

---

[25] Выступая как название последней буквы еврейского алфавита, слово *тав* собственно обозначает "знак". В переводах Книги Иезекииля *тав* в этом контексте передается как "знак" (ср. то же: Быт. IV, 15).

[26] См. [Daniélou 1961: 143–152; Haman 2000]. Относительно греческой "тау" см. специально [Rahner 1953]. Ср. о традиции изображения креста на лбу [Rondet 1954].

[27] См. [Fossum 1995: 127–129; Fossum 1985: 124–128; Wetter 1915; Zickendraht 1922; Manson 1947; Zimmermann 1960a; Zimmermann 1960b; Williams 2000; Floss 1991]. Ср. в послании св. Александра, епископа александрийского, ок. 319 г.: "Сам Господь предсказал: блюдите, да никто же вас прельстит. Мнози бо приидут во имя мое, глаголяще: *Аз есмь* и – время близко – многи прельстят" (ὁ μὲν κύριος προείρηκε «βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματι μου λεγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ ὁ καιρὸς ἤγγικε καὶ πολλοὺς πλανήσουσι»), см. [Сократ 1996: 13 (кн. I, гл. 6); Opitz, I: 10; PG, XVIII, стлб. 577].

[28] Обычно эта фраза переводится с местоимением "я", хотя более точно было бы передать ее одной глагольной формой ("есмь") – в тех языках, где соответствующая форма выражает 1-е лицо ед. числа. В самом деле, элемент *'e* в евр. *'ehyeh* представляет собой местоименный префикс и, следовательно, форму *'ehyeh* надо рассматривать как самостоятельную глагольную форму, а не как сочетание глагола с местоимением. В еврейском языке вообще личное местоимение обычно опускается, если лицо однозначно определено в форме глагола. В других языках (например, греческом, латинском, церковнославянском) местоимение в таких случаях обычно употребляется, т.е. фраза без местоимения воспринимается как сокращение.

Отсюда "Яхве" (*yahweh*) как имя Бога Отца условно переводится как "Он есть". Это имя (представленное в форме *yhwh*) запрещалось произносить. Масоретские редакторы, осуществившие огласовку еврейского текста Библии, вставили между согласными гласные *e* (= *a*), *ō*, *ā* слова *adōnāi* ("Господь мой" – в усиливающей форме множественного числа); это должно было служить указанием на то, что это имя при чтении Библии надлежало произносить как *adōnāi*. В результате возникла форма Иегова (*yehowah*), которая была воспринята как имя Бога Отца теми, кто изучал еврейский язык в отрыве от еврейской традиции.

[29] Ср. также в апокрифическом перечне имен Бога ("Семьдесят имен Богу"): "Аз есмь иже есмь" [Тихонравов, II: 340]. Так же и в Библии Скорины 1517–1519 гг.: "азъ есмъ ен'жъ есмъ" [Библия Скорины I: 208], ср. в чешской Библии 1489 г.: "Ja sem kto sem" [Библ. 1489, л. 1 об. тетради d].

водится в славянской Острожской библии 1581 г.: "азъ есмь еже есмь"[30]); в сущности, Бог говорит: "Я – это я"[31]. Вместе с тем эта фраза может означать: "Я есмь тот, кто существует"[32], и такой перевод представлен в Септуагинте: Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν[33]; этому соответствует перевод славянской Елизаветинской библии 1751 г., которая воспроизводится в последующих изданиях, став стандартным текстом церковнославянской Библии: "Азъ есмь сый"[34]; аналогичный перевод представлен в древнейших славянских рукописях, где мы находим причастную форму "сущий" или "сый"[35]. Таким образом данная фраза может указывать на абсолютное существование Бога и на представление Бога как абсолютного субъекта.

---

[30] [Библ. 1581, л. 26 (отдельной фолиации); ср. старообрядческую перепечатку: Библ. 1914, л. 34 об]. Так же и в московской печатной Библии 1663 г., однако ко второму "есмь" здесь дается глосса "сый" [Библ. 1663, л. 20 об.]. Хотя слово "сый" фигурирует здесь как глосса к слову "есмь", а не к сочетанию "еже есмь", можно предположить, что это ошибка наборщика и что глосса должна относиться именно к данному сочетанию.

Текст Острожской библии не соответствует в этом месте тексту Септуагинты, и не исключено, что переводчики Острожской библии основывались в данном случае непосредственно на еврейском оригинале (см. [Arranz 1991: 500; 1993: 14]; ср. [Thomson 1998: 654]). Следует подчеркнуть при этом, что они не могли исходить из текста Вульгаты, поскольку здесь стоит относительное местоимение "еже" (в соответствии с текстом Вульгаты ожидалось бы "иже"). Основным источником для Острожской библии была Геннадиевская библия 1499 г. (ГИМ, Син. 915), текст которой был получен издателями Острожской библии из Москвы (см. [Алексеев 1999: 204]), однако в Геннадиевской библии мы имеем иное чтение ("Азъ есмь сыи", л. 34 об.), точно соответствующее тексту Септуагинты. В этих условиях отклонение от текста Геннадиевской библии представляется особенно значимым: оно свидетельствует о том, что этот текст в данном случае не удовлетворял переводчиков. О том, что издатели Острожской библии могли вообще обращаться к еврейскому тексту, см. [Лебедев 1890: 353] (ср. [Евсеев 1916: 86, примеч. 2; Алексеев 1990: 70–71; Thomson 1998: 680–681, а также с. 654, ср. с. 652]); по некоторым сведениям, они основывались на тексте Антверпенской полиглотты 1569–1572 гг. (см. [Алексеев 1990: 67; Немировский 1985: 450]). Ср. в этой связи ниже (примеч. 37) о славянских рукописях, где данная фраза оставлена без перевода.

[31] Ср. различные переводы данной фразы на английский язык: "I am that I am", "I am who I am", "I am what I am", "I will be what I will be", "I will be that I will be", "I am wont to be that which I am wont to be", "I am wont to be he who I am wont to be" [Schild 1954: 296-297]. Комментируя эти переводы, Э. Шильд пишет: "...All these translations suit the generally accepted exegesis, viz. that the passage is meant to emphasize the mystery of God, the impossibility of defining his nature, his 'Name'. 'I am what (or Who or That) I am' means: I am not telling you who or what I am: *I am I*. It is a non-committal, circular definition: God cannot be defined by or as anything else, he is his own definition" [Там же].

[32] Та или иная интерпретация зависит от того, как трактовать вторую форму *'ehyeh*. Она может пониматься как повторение формы, которое значится в начале фразы, и тогда она имеет то же значение глагольной связки (копулы), которое имеет первая форма (примерно так же, как в русской конструкции "будь, что будет"). В этом случае вся фраза означает: "Я есмь тот, кто есмь" (слово *'asher* не является относительным местоимением, но выражает подчинительную связь вводимой синтагмы; таким образом, предикатом в этом случае является *'asher'ehyeh*). Вместе с тем во втором случае форма *'ehyeh* не имеет предиката и употреблена самостоятельно; поэтому она может иметь самостоятельное значение, и тогда вся фраза означает: "Я есмь тот, кто существует".

[33] При таком понимании переводчики Септуагинты сочли нужным ввести причастную форму, изменив синтаксическую структуру фразы (причастная форма соответствует при этом сочетанию *'asher'ehyeh*). В результате в греческом переводе отсутствует тавтология, представленная в исходном еврейском тексте.

[34] [Библ. 1751, стлб. 89].

[35] "Азъ ѥсмь сущии" (ГБЛ, ф. 304 (Тр.-Серг.), № 1, л. 59; рукопись второй пол. XIV или начала XV в., см. [Св. кат. XIV в.: 170–171]); "Азъ есмь сыи" (ГБЛ, ф. 256 (Румянц.), № 27, л. 114 об.; рукопись XV в., см. описание [Востоков 1842: 29–32]); "Азъ есмь сыи" (ГИМ, Син. 915, л. 34 об.; рукопись 1499 г. (Геннадиевская библия), см. описание [Горский, Невоструев, I: 1–164, № 1]); "Азъ есмь сыи" (ГБЛ, ф. 256 (Румянц.), № 28, л. 40 об.; рукопись XVI в., см. описание [Востоков 1842: 32–33]); "Азь есмь съи и съи" (ГБЛ, ф. 256 (Румянц.), № 29, л. 44 об.; рукопись 1537 г., см. описание [Востоков 1842: 33–34]); "Азъ есмь сꙋщии" (Библ. Литовской Акад. наук, ф. 19, № 109, л. 97 об.; рукопись ок. 1556 г., см. описание [Добрянский 1882: 246–255]; относительно датировки см. [Мещерский 1955: 385]). Ср. также в Библии, переведенной на русский язык для употребления евреев: "Я есмь Сущий" [Библ. 1897, I: 92].

Характерно, что в следующей затем фразе библейского текста сочетание "Я есмь" выступает как имя собственное: "Так скажи сынам Израилевым, – говорит Бог Моисею, – 'Я есмь' ('ehyeh) послал меня к вам" (Исх. III, 14)[36]. Достойно внимания при этом, что как форма *'ehyeh* ("я есмь"), так и местоимение *'anī* ("я") начинаются с буквы "алеф"; это могло способствовать соотнесению еврейского названия "алеф" со славянским "азъ"[37].

---

[36] Эта фраза не совсем точно переведена в Вульгате, что объясняется, видимо, ее аграмматичностью: "Sic dices filiis Israel: *Qui est*, missit me ad vos", ср. у Скорины: "Тако повеси сыномъ Із'раилевымъ, Ен'же естъ послалъ мѧ к вамъ" [Библия Скорины, I: 208]. Между тем в еврейском тексте здесь повторена форма *'ehyeh*, и, следовательно, в переводе здесь должна стоять та же фраза, которая фигурировала раньше (в ответе Бога Моисею); в Вульгате следовало бы ожидать "Ego sum" либо же "Qui sum". Ср. точный перевод в Авторизованной версии английской Библии (так называемой Библии короля Иакова): "I am hath sent me unto you". В Септуагинте и, соответственно, в церковнославянском переводе здесь повторена причастная форма "ὁ ὤν" или "сый" ("сущий"): 'Ο ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς, см. в Геннадиевской библии 1499 г.: "сыи мѧ пꙋсти к вам"(ГИМ, Син. 915, л. 34 об.), в Елизаветинской библии 1751 г.: "Сый посла мѧ к' вамъ" [Библ. 1751, стлб. 89]. В Острожской библии 1581 г. и, соответственно, в Московской библии 1663 г. в этой фразе представлена форма "сый", восходящая к переводу Септуагинты, но при этом она выступает не в виде обособленного причастия (как это имеет место в греческом тексте), а оказывается определением к слову "Богъ": "сый мѧ посла къ вам Б[ог]ъ" [Библ. 1581, л. 26 (отдельной фолиации), ср. старообрядческую перепечатку: Библ. 1914, л. 34 об.; Библ. 1663, л. 20 об.]. Таким образом, издатели Острожской библии берут форму "сый" из текстов предшествующей традиции и придают ей иное значение.

[37] В сирийской Библии (Пешитта), а также в самаритянском Таргуме фраза *'ehyeh ('asher 'ehyeh)* в книге Исход оставлена без перевода (см. [Reisel 1957: 12]) – несомненно, потому, что она понимается как имя Бога (собственные имена, как известно, обычно не переводятся). То же имело место в свое время и в русской традиции (в текстах, которые, возможно, были как-то связаны с так называемой "ересью жидовствующих"). Действительно, в целом ряде рукописей мы находим в данном месте еврейскую фразу в славянской транслитерации (см. [Горский 1860: 139; Елеонский 1905: 497–498; Алексеев 1999: 183]). Так, в рукописи XV в. Румянцевского собрания (ГБЛ, ф. 256 (Румянц.), № 27, л. 114 об.) к фразе "Азъ есмь сыи" дана на верхнем поле глосса "азъ ыгие ашеръ ъгие" (начальные буквы *ы* и *ъ* идентифицированы условно; возможно, имеет место имитация еврейских букв). В другой рукописи того же собрания, XVI в. (ГБЛ, ф. 256 (Румянц.), № 28, л. 40 об.), такого рода еврейская фраза дается непосредственно в тексте после соответствующей славянской: "азъ есмь сыи азъ эгее эшеръ эгее" (при этом еврейская фраза сопровождается на полях глоссой: "аданай г[оспод]ь силам"); и затем в следующих непосредственно словах вместо "сый" написано "эгее": "эгее мѧ поусти к вамъ". Аналогично в рукописи первой трети XVI в. собрания Иосифо-Волоколамского монастыря (ГБЛ, ф. 113 (Иос.-Вол.), № 7, л. 74 об.) читаем: "азъ есмь сыи згеьЄшеръ" и затем: "сыи мѧ поусти к вамь", причем к словам "сый мѧ" дается на полях вариант: "агее азъ". Буквой "з" (похожей в данном случае на арабскую цифру 3) передается, скорее всего, буква "э" ("э оборотное") – буква южнославянского происхождения, неизвестная, по-видимому, русскому писцу, который и отождествил ее с буквой "з" ("зѣло") (заметим в этой связи, что буква "э", кажется, появляется в русской письменности как сакральная буква, ассоциирующаяся с написанием еврейского слова "элъ", т.е. "Бог", см. [Успенский 2002: 307, § 11.2]); что касается буквы Є, то она напоминает как "якорное е", т.е. вариант буквы "е", так и букву "ь" ("ерь"): не исключено, таким образом, что еврейскую фразу следует читать как "згеьшеръ". В некоторых рукописях в тексте написаны были те же, по всей видимости, слова, но большая часть букв выскоблена. Так в рукописи 1493 г. Иосифо-Волоколамского монастыря (ГБЛ, ф. 113 (Иос.-Вол.), № 8) в тексте Исх. III, 14, читается "азъ ... гее" (л. 102 об.); следующая далее фраза читается: "сице гл[агол]и с[ы]н[о]мъ ездраилевымъ [одно слово выскоблено] съи мѧ пꙋсти к вамъ", т.е. ранее было, видимо: *"егее съи мѧ пꙋсти к вамъ" (л. 102 об.). В рукописи рубежа XV–XVI в. собрания Кирилло-Белозерского монастыря (ГПБ, Кир.-Бел. № 3/8) в тексте Исх. III, 14, осталось "азъ ге...ге" (см. [Елеонский 1905: 497–498]). Алексеев [Алексеев 1999: 183] ссылается еще в этой связи на списки Пятикнижия конца XV в. (ГПБ, F. I. 1; ГПБ, Кир.-Бел. № 2/7) и список хронографической Палеи (ГПБ, Погод. 1435). Известно, что по благословению митрополита Филиппа I (1464–1473) с еврейского языка была переведена Псалтырь (см. [Варлаам 1859: 2, 43]); возможно, в это же время была осуществлена сверка с еврейским текстом и каких-то других частей славянской Библии.

Кирилло-мефодиевский перевод этого места до нас не дошел, и, по-видимому, оно вообще отсутствовало в первоначальном переводе библейского текста[38]. Вместе с тем св. Кирилл, по всей вероятности, был знаком не только с греческим и латинским переводами данного пассажа, но и с исходным еврейским текстом; отдавая себе отчет в возможности разных интерпретаций данной фразы, он вполне мог понимать ее в смысле характеристики Бога как абсолютного субъекта.

Как видим, славянский алфавит, созданный Философом, в большой степени строится идеографически – как идеографическое выражение Священного Писания.

На основании сказанного может быть понят известный тезис черноризца Храбра о превосходстве церковнославянского языка над греческим; по словам Храбра, церковнославянский язык святее греческого – постольку, поскольку греческий язык создан язычниками, а церковнославянский – святым мужем (св. Кириллом-Константином Философом): "Тѣм же словѣн'скаа писмена с[вѧ]тѣиша сѫ^т^ и чьстнѣиша. с[вѧ]ть бѡ мѫжъ створилъ ꙗ кс[ть], а гръчьскаа еллини погани"[39]. Это высказывание обыкновенно понимается в полемическом контексте соперничества греческого и церковнославянского языков и борьбы церковнославянского языка за свои права. Между тем есть основания понимать его буквально: церковнославянский язык был создан святым мужем, и созданные им формы, в отличие от соответствующих форм греческого языка, могут непосредственно отражать православную богословскую мысль.

И еще одно высказывание может быть интерпретировано по-новому – на этот раз высказывание, принадлежащее самому Кириллу. В ответ на предложение императора создать славянскую азбуку, Философ говорит: "кто можеть на водѣ бесѣдоу написати? или еретичьско имѧ себѣ обрѣсти?" (глава XIV Жития Константина-Кирилла)[40].

Первая часть этой фразы, представляющая собой кальку с греческого, означает напрасные усилия, бесполезную работу, попытку предпринять невозможное[41]. Что же касается всей фразы, то она понимается исследователями по-разному. И. Дуйчев понимает ее таким образом: если проповедь христианства не будет закреплена средствами письменности, она либо не приведет к успеху, либо будет неверно истолкована и приведет к ереси[42]. Ф. Гривец видит в ней выпад против византийских епископов – противников славянской письменности[43]. Р. Оти связывает ее с треязычным учением: если Кирилл создаст славянскую азбуку, он может быть обвинен приверженцами этого учения в ереси[44].

---

[38] Считается, что Кирилл и Мефодий перевели паремейный текст Ветхого Завета – тот текст, который читается за богослужением. Интересующее нас место из книги Исход (Исх. III, 13–14) не входит в паремейные чтения (см. [Пичхадзе 1986; Prophetologium, I–II; Паремейник 1890–1893; Паремейник 1890–1893а] и следовательно, по-видимому, переведено не было. Четий текст Восьмикнижия был переведен позднее св. Мефодием и в целом виде до нас не дошел; не дошла, в частности, и книга Исход. Таким образом мефодиевский перевод книги Исход нам неизвестен. В начале X в. по повелению царя Симеона в Болгарии был выполнен новый перевод Восьмикнижия; вероятно, в нем в какой-то мере был использован перевод Мефодия, но в какой мере – мы не знаем. Сохранившиеся славянские списки отражают, по-видимому, именно этот новый перевод (см. [Алексеев 1999: 142, 152 и сл.; Пичхадзе 1996: 10]).

В древнейших славянских рукописях перевод интересующей нас фразы из книги Исход дословно соответствует греческому тексту Септуагинты: греческая причастная форма ὁ ὤν передается здесь как "сущий" или "сый" (см. выше, примеч. 35). Этот перевод восходит, надо думать, к симеоновской редакции и лишь косвенно связан с кирилло-мефодиевской традицией: он ничего не говорит нам о том, как мог понимать данную фразу св. Кирилл.

[39] [Ягич 1896: 11; Лавров 1930: 164]; ср. [Куев 1967: 190 и др.]. Ср. перевод [Флоря 1981: 104].

[40] [Лавров 1930: 27, ср. с. 60]. Ср. перевод [Флоря 1981: 87].

[41] См. [Лавров 1928: 41]; ср. [Теодоров-Балан, I: 58, примеч.].

[42] См. [Дуйчев 1981: 148–150].

[43] См. [Grivec 1941: 85, примеч. 8].

[44] См. [Auty 1971: 43].

Все эти толкования не представляются убедительными. Как кажется, св. Кирилл говорит здесь примерно следующее: без письменности нельзя проповедовать христианство, но если изобрести письменность – как раз прослывешь еретиком! Это высказывание может относиться как к переводу, так и к буквам, но в данном случае, судя по контексту, относится к буквам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аверинцев 1977 – *С.С. Аверинцев*. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.

Алексеев 1990 – *А.А. Алексеев*. Место Острожской библии в истории славянского текста Священного Писания // Острожская библия: Сборник статей. М., 1990.

Алексеев 1999 – *А.А. Алексеев*. Текстология славянской Библии. СПб., 1999.

Библ. 1489 (чешская) – Библия. Kutná Hora, 1489. См. изд.: Kuttenberger Bibel, 1481. Mit einem Geleitwort von František Cardinal Tomášek. Bd. I–II. Paderborn, 1990 (= Biblia Slavica. Reihe: Tschechische Bibeln. Bd. 2.1–2.2).

Библ. 1581 (Острожская библия) – Библия. Острог, 1581. Репринт: Острожская библия. М., 1988. Ср. старообрядческую перепечатку [Библ. 1914].

Библ. 1663 (Московская библия) – Библия. М., 1663.

Библ. 1751 (Елизаветинская библия) – Библия. СПб., 1751.

Библ. 1897, I–II – Священные книги Ветхого Завета, переведенные с еврейского языка для употребления евреям. Т. I–II. М., 1897.

Библ. 1914 – Библия. М., 1914. (Старообрядческая перепечатка Острожской библии.)

Библия Скорины, I–II – Біблія. Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай Францыскам Скарынаю ў 1517–1519 гадах, ў 3 тамах. Т. I–III. Мінск, 1990. (Ссылаемся на пагинацию внизу страницы. Книга Исход вышла в 1519 г.)

Варлаам 1859 – Архимандрит *Варлаам*. Описание сборника XV столетия Кирилло-Белозерского монастыря // Ученые записки II отделения имп. Академии наук. Кн. V. СПб., 1859.

Велчева 1983 – *Б. Велчева*. Късната глаголица и кирилските приписки в Асеманиевия кодекс от X в. // Литературознание и фолклористика. В чест на 70-годишнината на академик Петър Динеков. София, 1983.

Вереекен 1995 – *Ж. Вереекен* [J. Vereecken]. Названия глаголических букв и иудейско-христианская традиция // Palaeobulgarica/Старобългаристика. Год. XIX. 1995. № 1.

Вздорнов 1978 – *Г. Вздорнов*. Исследование о Киевской Псалтири. М., 1978. Приложение: Киевская Псалтирь 1397 года из Государственной Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (ОЛДП F 6). М., 1978 (факсимильное издание памятника).

Востоков 1842 – *А. Востоков*. Описание русских и словенских рукописей Румянцовского музеума. СПб., 1842.

Горалек 1956 – *К. Горалек*. Св. Кирилл и семитские языки // For Roman Jakobson: Essays on the occasion of his sixtieth birthday / Compiled by M. Halle, H.C. Lunt, H. McLean, C.H. Van Schooneveld. The Hague, 1956.

Горский 1860 – [*А.В. Горский*]. О славянском переводе Пятокнижия Моисеева, исправленном в XV веке по еврейскому тексту // Прибавления к изданию творений святых Отцев в русском переводе. Ч. XIX. М., 1860.

Горский, Невоструев, I–III – [*А.В. Горский, К.И. Невоструев*]. Описание славянских рукописей московской Синодальной библиотеки, отд. I–III. М., 1855–1917. Репринт: Wiesbaden, 1964 (= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris: Fontes et dissertationes. T. II).

Гошев 1961 – *И. Гошев*. Старобългарски глаголически и кирилски надписи от IX и X в. София, 1961.

Гранстрем 1955 – *Е.Э. Гранстрем*. О происхождении глаголической азбуки // ТОДРЛ. Т. XI. М.; Л., 1955.

Добрянский 1882 – *Ф. Добрянский*. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки церковно-славянских и русских. Вильна, 1882.

Дуйчев 1981 – *И.С. Дуйчев*. Към тълкуването на пространните жития на Кирила и Методия // И. Дуйчев. Проучвания върху средновековната българска история и култура. София, 1981.

Евсеев 1916 – *И.Е. Евсеев*. Очерки по истории славянского перевода Библии. Пг., 1916.

Елеонский 1905 – *Ф. Елеонский*. Древнеславянский перевод Исх. I, 7 и III, 4 // Христианское чтение. Т. CCXIX. 1905, апрель.

Иванова 1977 – *Т.А. Иванова*. Старославянский язык. М., 1977.

Кипарский 1958 – *В.Р. Кипарский.* Ответ на вопрос "Какой из славянских алфавитов древнее..." // Сборник ответов на вопросы по языкознанию (к IV Международному съезду славистов). М., 1958.

Кипарский 1968 – *В. Кипарский.* О происхождении глаголицы // Климент Охридски: Материяли за неговото чествуване по случай 1050 години от смъртта му. София, 1968.

Куев 1967 – *К.М. Куев.* Черноризец Храбър. София, 1967.

Лавров 1928 – *П.А. Лавров.* Кирило та Методій в давньо-слов'янському письменстві. Київ, 1928.

Лавров 1930 – *П.А. Лавров.* Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930 (= Труды славянской комиссии АН СССР. Т. I). Репринт: The Hague; Paris, 1966 (= Slavistic printings and reprintings, LXVII).

Лебедев 1890 – *В. Лебедев.* Славянский перевод книги Иисуса Навина по сохранившимся рукописям и Острожской библии: Исследование текста и языка. СПб., 1890.

Лопарев 1910 – *Хр. Лопарев.* Византийские жития святых VIII–IX веков // Византийский временник. Т. XVII, 1910 (выход в свет – 1911 г.). Продолжение этой работы см. там же. Т. XVIII, 1911 (выход в свет – 1913 г.), Т. XIX, 1912 (выход в свет – 1915 г.).

Мар. евангелие – Памятник глаголической письменности: Мариинское евангелие с примечаниями и приложениями. Труд И.В. Ягича (Codex Marianus glagoliticus / Ed. V. Jagić). СПб., 1883. Репринт: Mariinskoe četveroevangelie / Ed. V. Jagić. Graz, 1960.

Мещерский 1955 – *Н.А. Мещерский.* К вопросу о датировке Виленского хронографа // ТОДРЛ. Т. XI. М.; Л., 1955.

Немировский 1985 – *Е.Л. Немировский.* Иллюминированный экземпляр Острожской библии 1581 г. с рукописными дополнениями // ТОДРЛ. Т. XXXVIII. Л., 1985.

Паремейник 1890–1893, I–II – Парїмїйникъ сиесть собра́нїе парїмїй на все лѣто. Кн. I–II. СПб., 1890–1893. Переиздано: СПб., 1904; СПб., 1913.

Паремейник 1890–1893а – Παροιμιάριον τουτέστι, τῶν παροιμιῶν συναγωγή εἰς ὅλον ἔτος. 'Ε Πετροπόλει, 1890–1893.

Пичхадзе 1986 – *А.А. Пичхадзе.* Типология паримийных чтений книги Исход // Palaeobulgarica / Старобългаристика. Т. X. 1986. № 1.

Пичхадзе 1996 – *А.А. Пичхадзе.* Из истории четьего текста славянского Восьмикнижия // ТОДРЛ. Т. XLIX. СПб., 1996.

Св. кат. XIV в. – Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, СНГ и Балтии: XIV век. Вып. 1: Апокалипсис – Летопись Лаврентьевская. М., 2002.

Син. евхологий – Euchologium Sinaiticum: Starocerkevnoslovanski glagolski spomenik. Izdao priredil R. Nahtigal. I–II. Ljubljana, 1941–1942 (= Akademija Znanosti i Umetnosti v Ljubljani. Filozofsko-Filološko-Historični razred, 1–2). Репринт: Graz, 1954.

Син. псалтырь – Синайская псалтырь, глаголический памятник XI в. Приготовил к печати С. Северьянов. Пг., 1922 (= Памятники старославянского языка. IV).

Сократ 1996 – *Сократ Схоластик.* Церковная история. М., 1996.

Степанов 1991 – *Ю.С. Степанов.* Несколько гипотез об именах букв славянских алфавитов в связи с историей культуры // ВЯ. 1991. № 3.

Теодоров-Балан, I–II – *Ал. Теодоров-Балан.* Кирил и Методий. Т. I–II. София, 1920–1934.

Тихонравов, I–II – *Н. Тихонравов.* Памятники отреченной русской литературы. Т. I–II. М., 1863.

Толстой 1998 – *Н.И. Толстой.* Древняя славянская письменность и становление этнического самосознания у славян // Н.И. Толстой. Избранные труды. Т. II: Славянская литературно-языковая ситуация. М., 1998.

Успенский 1996 – *Б.А. Успенский.* Вопрос о сирийском языке в славянской письменности: почему дьявол может говорить по-сирийски? // Б.А. Успенский. Избранные труды. Т. II: Язык и культура. Изд. 2-е, испр. и перераб. М., 1996.

Успенский 1997 – *Б.А. Успенский.* Старинная система чтения по складам (Глава из истории русской грамоты) // Б.А. Успенский. Избранные труды. Т. III: Общее и славянское языкознание. М., 1997.

Успенский 2002 – *Б.А. Успенский.* История русского литературного языка (XI–XVII вв.). Изд. 3-е, испр. и доп. М., 2002.

Флоря 1981 – Сказания о начале славянской письменности. Вступительная статья, перевод и комментарии Б.Н. Флори. М., 1981.

Чистович 1868 – *И.А. Чистович.* Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868 (= Сб. ОРЯС. Т. IV).

Ягич 1896 – Codex slovenicus rerum grammaticarum / Ed. V. Jagić (Разсуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. Собрал и объяснил И.В. Ягич). Petropoli, 1896. Оттиск из "Исследований по русскому языку". Т. I. СПб., 1885–1895. Репринт: München, 1968 (= Slavische Propyläen. Bd. 25).

Яцимирский 1917 – *А.И. Яцимирский*. Мелкие тексты и заметки по старинной южнославянской и русской литературе, LXXIII–XC // ИОРЯС. Т. XXII. 1917. Кн. 1.

Arranz 1991 – *M. Arranz*. Une traduction du tétragramme divin dans quelques textes liturgiques slaves // Homo imago et amicus Dei: Miscellanea in honorem Ioannis Golub / Curavit editionem R. Perić. Roma, 1991.

Arranz 1993 – *M. Arranz*. Une traduction du tétragramme divin dans quelques textes liturgiques slaves // Jews and Slavs / Ed. by W. Moskovich, Sh. Shvarzband, A. Alekseev. V. I. Jerusalem; St. Petersburg, 1993.

Auty 1971 – *R. Auty*. Old and new ideas on the sources of the glagolitic alphabet // Константин-Кирил Философ: Доклади от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му. София, 1971.

Čremošnik 1925 – *G. Čremošnik*. Kratice "Nomina sacra" u c[r]k[o]sl[ovenskim] spomenicima // Slavia. Ročn. IV. 1925. Seš. 2–3.

Daniélou 1961 – *J. Daniélou*. Les symboles chrétiens primitifs. Paris, [1961].

Dornseiff 1925 – *Fr. Dornseiff*. Das Alphabet in Mystik und Magie. 2-te Aufl. Berlin, 1925 (= ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Studien zur Geschichte des antiken Weltbildes und der griechischen Wissenschaft / Hrsg. von Fr. Boll. Hft. VII). Репринт: Leipzig, 1980.

Dostál 1963 – *A. Dostál*. Les origines de l'Apologie slave par Chrabr // Byzantinoslavica. Ročn. XXIV. 1963. Seš. 2.

Eriksson 1970 – *K. Eriksson*. The Slavonic alphabet as Credo // Das heidnische und christliche Slaventum: Acta II Congressus internationalis historiae Slavicae Salisburgo-Ratisbonensis anno 1967 celebrati. Wiesbaden, 1970 (= Annali instituti slavici. VI).

Floss 1991 – *J.P. Floss*. "Ich bin meine Name": Die Identität von Gottes Ich und Gottes Namen nach Ex 3, 14 // Text, Methode und Grammatik: W. Richter zum 65. Geburstag / Hrsg. von W. Gross, H. Irsigler, Th. Seidl. St. Ottilien, 1991.

Fossum 1985 – *J.E. Fossum*. The Name of God and the Angel of the Lord: Samaritan and Jewish concepts of intermediation and the origin of gnosticism. Tübingen, 1985 (= Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 36).

Fossum 1995 – *J.E. Fossum*. In the beginning was the Name: Onomanology as the key to Johannine Christology // J.E. Fossum. The Image of the invisible God: Essays on the influence of Jewish mysticism on Early Christianity. Göttingen, 1995 (= Novum Testamentum et Orbis Antiquus. 30).

Grivec 1941 – Vitae Constantini et Methodii versio latina, notis dissertationibusque de fontibus ac de theologia SS. Cyrilli et Methodii illustrata autore Dr. Fr. Grivec // Acta Academiae Velehradensis. A. XVII. 1941. Fasc. 1–2.

Haman 2000 – *M. Haman*. Tau // Lexicon für Theologie und Kirche. Bd. 9. Freiburg; Basel; Rom; Wien, 2000.

Kiparsky 1964 – *V. Kiparsky*. Tschernochvostoffs Theorie über den Ursprung des glagolitischen Alphabets // Cyrillo-Methodiana: Zur Frühgeschichte des Christentums bei den Slaven. 863–1963 / Im Auftrage der Görres-Gesellschaft / Hrsg. von M. Hellmann, R. Olesch, B. Stasiewski, F. Zagiba. Köln; Graz, 1964 (= Slavistische Forschungen. Bd. 6).

Manson 1947 – *W. Manson*. The ΕΓΩ ΕΙΜΙ of the Messianic presence in the New Testament // Journal of theological studies. V. XLVIII. 1947. № 191–192.

Marti 1999 – *R. Marti*. Abecedaria – A key to the original Slavic alphabet: The contribution to the Abecedarium Sinaiticum glagoliticum // Thessaloniki : Magna Moravia. Proceedings of the international conference, Thessaloniki 16–19 October 1997. Thessaloniki, 1999.

Minns 1925 – *E.H. Minns*. Cyrill really knew Hebrew // Mélanges publiés en honneur de M. Paul Boyer. Paris, 1925.

Opitz, I–II – Urkunden zur Geschichte des Arianischen Streites, 318–328 / Hrsg. von H.-G. Opitz. Athanasius Werke. Bd. III. Tl. 1. Lfg. 1–2. Berlin, 1934–1935. Репринт: Berlin; New York, 2000.

PG, I–CLXI – Patrologiae cursus completus / Accurante J.-P. Migne. Series graeca. T. I–CLXI. Paris, 1857–1866.

Pradel 1907 – Griechische und süditalienische Gebete, Beschwörungen und Rezepte des Mittelalters / Hrsg. und erklärt von F. Pradel // Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten. Bd. III. Giessen, 1907. Hft. 3.

Prophetologium, I–II – Prophetologium. P. I–II. Hauniae, 1939–1981 (= Monumenta Musicae Byzantinae. Lectionaria. V. I). Pars prima: Lectiones anni mobilis. Fasc. 1–6 / Ed. by C. Höeg et G. Zuntz. Hauniae, 1939–1970. Pars altera: Lectiones anni immobilis. Fasc. 1–2 / Ed. by G. Engberg. Hauniae, 1980–1981.

Rahner 1953 – *H. Rahner*. Antenna crucis, V: Das mystische Tau // Zeitschrift für katholischen Theologie. Bd. 75. 1953. Hft. 4.

Reisel 1957 – *M. Reisel*. The Mysterious name of Y.H.W.H.: The tetragrammaton in connection with the names of Ehyeh ašer Ehyeh – Hūhā – and Šem Hamm^{e}phôraš. Assen, 1957 (= Studia Semitica Neerlandica. 2).

Rondet 1954 – *H. Rondet*. Miscellanea Augustiniana: La croix sur le front // Recherches de Science religieuse. T. XLII. 1954. № 3.

Samilov 1970 – *M. Samilov*. Das glagolitische Alphabet // Das heidnische und christliche Slaventum: Acta II Congressus internationalis historiae Slavicae Salisburgo-Ratisbonensis anno 1967 celebrati. Wiesbaden, 1970 (= Annali instituti slavici. VI).

Schild 1954 – *E. Schild*. On Exodus iii 14 – "I AM THAT I AM" // Vetus Testamentum. V. IV. 1954. № 3.

Sill 1972 – *U. Sill*. "Nomina sacra" im Altkirchenslavischen. Bis zum 11. Jahrhundert. München, [1972] (= Forum slavicum. Bd. 40).

Thomson 1998 – *F.J. Thomson*. The Slavonic translation of the Old Testament // Interpretation of the Bible (Interpretation der Bibel; Interprétation de la Bible; Interpretacija Svetega pisma). Ljubljana; Sfeffield, 1998.

Thurston 1910 – *H. Thurston*. The Alphabet and the consecration of churches // The Month: A Catholic magazine. V. CXV. January–June 1910.

Traube 1907 – *L. Traube*. Nomina sacra: Versuch einer Geschichte der christlischen Kürzung. München, 1907 (= Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters. Bd. 2). Репринт: Darmstadt, 1967.

Tschernochvostoff 1995 – *G. Tschernochvostoff*. Zum Ursprung der Glagolica // Studia Slavica Finlandensia. 1995. T. XII.

Vlasto 1970 – *A.P. Vlasto*. The Entry of the Slavs into Christendom: An introduction to the medieval history of the Slavs. Cambridge, 1970.

Wetter 1915 – *G.P. Wetter*. "Ich bin es": Eine johanneische Formel // Theologische Studien und Kritiken. Bd. 88. 1915. Hft. 2.

Williams 2000 – *C.H. Williams*. I am He: The interpretation of "Anî Hû" in Jewish and Early Christian literature. [Tübingen, 2000] (= Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2 Reihe. 113).

Zickendraht 1922 – *K. Zickendraht*. ΕΓΩ ΕΙΜΙ. Theologische Studien und Kritiken. Bd. 94. 1922. Hft. 1–2.

Ziffer 1995 – *G. Ziffer*. Le fonti greche del monaco Chrabr // Byzantinoslavica. Ročn. LVI/3.

Zimmermann 1960a – *H. Zimmermann*. Das absolute 'Εγώ εἰμι als die neutestamentliche Offenbarungsformel // Biblische Zeitungen, N.F. Jahrg. 4. 1960. Hft. 1–2.

Zimmermann 1960b – *H. Zimmermann*. Das absolute "Ich bin" in der Redeweise Jesu // Trierer theologische Zeitschrift. Jahrg. 69. 1960. Hft. 1.

СОКРАЩЕНИЯ

ГБЛ – Российская государственная библиотека (бывшая Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина) (Москва).

ГИМ – Государственный исторический музей (Москва).

ГПБ – Российская национальная библиотека (бывшая Государственная публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина) (Санкт-Петербург).

ЦГАДА – Российский государственный архив древних актов (бывший Центральный государственный архив древних актов) (Москва).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2005

© 2005 г. А.В. ЗЕЛЕНИН

ДЕЗАББРЕВИАЦИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматривается семантическое явление дезаббревиации, возникшее в русском языке на рубеже XIX–XX вв. почти одновременно с появлением нового способа словообразования – аббревиацией – и выступающее своеобразной реакцией разговорно-речевой стихии на необычность нового типа слов в языке. Анализируются психологические, культурологические, семасиологические, семантические механизмы дезаббревиатурных форм в современном дискурсе. Предлагается типология дезаббревиатурных образований (регрессивная и людическая), ее отграничение от схожих явлений (народной этимологии, дедеривации, комминуального раскодирования, стилизации), а также выявляются ведущие тенденции в формировании и развитии дезаббревиации в русском языке в историко-хронологической перспективе.

Процессы аббревиации в русском языке стали объектом фиксации и наблюдения почти одновременно со временем их появления – в предреволюционные и первые послереволюционные годы. Противоположное явление – дезаббревиация – до сих пор находится на периферии внимания лингвистов. Несколько фактов этого языкового феномена упоминалось, в частности, в монографии "Русский язык и советское общество" [РЯСО 1968: 68] в небольшом разделе (автор Д.И. Алексеев), посвященном лексикализации графических сокращений. Однако за приведенными в монографии тремя примерами тогда едва ли просматривалась языковая тенденция.

Случаи дезаббревиации известны уже давно: еще до революции 1917 г. в большевистском подполье существовала дешифрованная (раскодированная) аббревиатура *МК* 'Московский комитет' → 'Михаил Константинович' (так именовали этот партийный орган в социал-демократическом подполье); пример выразителен тем, что явственно показывает сознательный характер раскодирования аббревиатуры с двоякой целью – чтобы эта вторичная (декодированная) номинация: 1) была знакома и понятна только "своему", "посвященному" (криптолалическая функция); 2) не выделялась на фоне других лексических средств для "непосвященных" (маскирующая функция). По-видимому, самой ранней расшифровкой следует считать такую: в юмористическом журнале "Стрекоза" еще в конце XIX века была приведена шутливая интерпретация сложносокращенного слова *К.Б.Ж.Д.* (Киево-Брестская железная дорога) 'каждому бить жида дозволяется' или (с инверсией) 'дурак желает бить кондуктора' [Стрекоза 1883: 7].

Появление и сложносокращенных и раскодированных форм знаменует совершенно новый этап как в языковой компетенции индивида, так и языковом сознании социума: если аббревиатурная лексема представляет один из возможных способов языковой компрессии, "сжатия" текста (номинативного словосочетания), то возможна также и декомпрессия текста, развертывание аббревиатуры либо в исходное словосочетание, либо в новую языковую единицу с модифицированным сигнификатом.

Чтобы отчетливее увидеть новшества в языковой рефлексии русского общества конца XIX – начала XX в., следует сопоставить указанный период с предшествующим. Графические сокращения (акронимы) известны в русском языке уже давно (уточним, что в современной русистике такие сокращения либо не относят к аббревиации, либо считают их особым типом аббревиации). Например, в Древней Руси в ходу были сокращения *И.Х.* (= *ИХ*) 'Иисус Христос', *Р.Х.* (= *РХ*) 'Рождество Христово', *Х.В.* (= *ХВ*) 'Христос воскресе', р.б. 'раб(а) божий(ия)' и мн. др. в сакрально-магических текстах: на иконах,

просвирах, куличах, предметах религиозной утвари, в заговорах. К сокращениям относят также титловую аббревиацию (существовала разветвленная система титл: простое титло и целая группа буквенных титл), которая широко встречалась в средневековых текстах[1]. В XVIII и XIX веках в текстах государственных договоров, соглашений, приказах государственной канцелярии часто употреблялись, например, графические сокращения *Е.И.В.* (*е.и.в.*) 'его императорское величество', *Г.И.* (= *г.и.*) 'государь-император', *В.Св.* (= *в.св.*) 'ваша светлость'[2] (едва ли стоит приводить многочисленные цитаты из текстов той эпохи; укажем, в частности, некоторые источники, из которых можно почерпнуть эти материалы: [Акты 1868: 426 и др.; Акты 1870: 705; Под стягом России 1992: 78, 79, 131, 132, 138, 239, 240 и др.]). В литературе вполне обычным художественным типизирующим приемом было такое сокращение: в *г. Н.* (или, что более обычно, в *г. N*) 'в городе Н. = N.' или *г. Н.* (= *г. N.*) 'господин Н. (= N.)'. Приведенные выше акронимы воспринимались как графический способ "сжатия" или религиозных понятий (терминов), или этикетных формул знати (включая некоторые титулы царского дома), или делопроизводственных языковых клише, или нарративных штампов[3]. Однако все эти сокращения существовали на уровне графики, а не словообразования. Только осознание и использование некоторых типов буквенных сокращений как лексикализованных, то есть элементов, употребляющихся автономно в речевой коммуникации в качестве полноправных единиц, перевело их в иной, лексический, ярус языка и послужило словообразовательной моделью для создания аналогичных языковых единиц. Вызванный именно экстралингвистическими факторами бурный процесс лексикализации определенных типов буквенных сокращений, оперирование ими как лексическими фактами языка (langage) и стали решающими, поворотными пунктами в формировании нового способа словообразования – сложносокращенных слов.

Предреволюционные годы (Первая мировая война) и Февральская и Октябрьская революции 1917 г. усилили наметившееся явление (появление сложносокращенных слов для номинации новых реалий) и вызвали мощную языковую волну аббревиации не только в области политики, коммерции, военном деле, но и во вторичной номинации государственных учреждений, профсоюзных, различных многочисленных общественных организаций и т.п. В качестве контръявления, пародии на новые советские реалии, появились факты дезаббревиации, начиная буквально сразу же с первых лет установления советской власти: *ЧК* 'чрезвычайная комиссия' → 'чертова коробка' или 'чересчурка'; *НС* 'Народная социалистическая (партия)' → 'Не Существующая (партия)' [Mazon 1920: 31, 49, 50]; *ВСНХ* 'Высший совет народного хозяйства' → 'воруй смело, нет хозяина'; *РСФСР* 'Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика' → 'редкостный случай феноменального сумасшествия России' (последний топоним в интерпретации И.А. Ильина заменен на слово *расы* [Кожевникова 1998: 73]) или 'распустили солдат, фронтовиков, собрали разбойников'; *ЖЧК* 'Железнодорожная чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем' → 'ЖенеЧКа'; *ВЧК* 'Всероссийская чрезвычайная комиссия' → 'всякому человеку ко-

---

[1] Огромное количество аббревиатур (более 13000), встречающихся в средневековых текстах на латыни, приводится в ставшем уже классическим словаре [Capelli 1967]; дополнения к нему в: [Pelzer 1966], где приведено еще 1500 сокращений, не включенных в словарь Капелли.

[2] Царский титул *Его* (*Ваше, Их*) *Императорское Величество* является скорее всего калькой с нем. *Seine* (*Eure, Ihre*) *Kaiserliche Majestität* (лат. *majestas* 'величие, величество'). Сочетание *ваша светлость* (в нетерминологизированном значении) упоминается уже в переписке А. Курбского и И. Грозного. Этой же формулой к Ивану Грозному обращается, в частности, Папа Римский Григорий XIII (1502–1585). Однако только в конце XVIII века эта фраза приобрела новый статус, став этикетной формулой для представителей светлейших княжеских родов, в отличие от наследственных [очевидно, в результате влияния нем. *Seine (Eure, Ihre) Durchlaucht* 'Его (Ваша, Их) Светлость'; ср. также англ. *His Serene Highness*].

[3] Мы не приводим здесь примеры, которые указаны, например, в широко известных и цитируемых работах [РЯСО 1968: 66 и сл.; Mazon 1920; Jakobson 1921: 10].

нец' или 'ВероЧКа'; *МЧК* 'Московская чрезвычайная комиссия' → 'МанеЧКа' (последние эвфемизмы построены на намеренном фонетико-ассоциативном противопоставлении "страшной" сущности денотата и имени собственного с уменьшительно-ласкательным суффиксом) [Карцевский 1923: 34].

В 20–30-е годы XX века эта традиция игрового раскодирования была продолжена: *ВКП(б)* 'Всероссийская коммунистическая партия (большевиков)' → 'все кончится погромом (большевиков)' или 'второе крепостное право'; *ОГПУ* 'Объединенное государственное политическое управление' → 'О, Господи, помоги убежать'; ЦК 'Центральный комитет' → 'Цецилия Карловна' (в частности, ее использовал известный музыковед И.И. Соллертинский с криптолалической целью: завуалировать под именем якобы своей немецкой родственницы возможный приход чекистов, исполняющих приказы об арестах, исходящих из ЦК ВКП(б) – КПСС); появилась новая, актуализированная расшифровка аббревиатуры *РСФСР* 'рабочий снял фуражку, снимет и рубашку' (в период индустриализации).

В 30-е годы в сводках ОГПУ по Ленинграду отмечался факт появления в разговорном языке шутливой расшифровки *СССР* 'смерть Сталина спасет Россию'; ср. также интерпретацию данной аббревиатуры в латинской графике писателем С. Кржижановским: *SSSR* → 'Sancta, Sancta, Sancta Russia' (святая, святая, святая Россия; пример приведен в [Кожевникова 2003: 149]). В 50-е годы, после смерти Сталина, аббревиатура *СССР* приобрела такую раскодированную форму: 'смерть Сталина спасла Россию'. Таким образом, в подобной практике шутливых расшифровок аббревиатур совершенно отчетливо видна подвижность, гибкость, эластичность мены сигнификата в зависимости от ситуации, текущего момента.

Причины такого необычного языкового феномена (появление шутливых расшифровок) кроются, во-первых, в уже ранее существовавшей криптолалической традиции (подпольной партийной дешифровки), во-вторых, в новизне и необычности аббревиации как нового способа словообразования в русском языке той эпохи и стремлении этимологизировать (деэтимологизировать) "странные" языковые гибриды. Многие поэты, прозаики, журналисты, фельетонисты живо откликнулись на новый тип слов в языке – абрревиатуры, сделав их предметом языковых упражнений (в частности, подборка выразительных примеров приведена в [Ревзина 1998; Кожевникова 2003]). Вообще интеллектуальная элита (как новая, советская, так и, по преимуществу, старая, дореволюционная) в 20–30-е годы XX века часто смотрела на аббревиатуры как на криптографические знаки, шифрующие некую мистическую, сакральную, потаенную информацию о новом социальном строе.

Вопросы дезаббревиации (кроме упомянутой работы "Русский язык и советское общество") до последнего времени не привлекали внимания лингвистов. Пожалуй, впервые дезаббревиацию как языковой феномен описал А.Ф. Журавлев [Журавлев 1982] и предложил классификацию семантических процессов, связанных с данным явлением. А.Ф. Журавлев рассматривал дезаббревиацию в контексте "вторичного фразообразования", расчленяя его на а) фразопреобразование и б) дезаббревиацию [Там же: 95]. Типология дезаббревиации, в свою очередь, такова: 1) дезаббревиация в стилистических целях (например, вместо стершихся аббревиатур *колхоз* и *совхоз* журналист с целью обновления внутренней формы слов использует синтаксическую конструкцию: *коллективные хозяйства*); 2) "сознательные ложные расшифровки аббревиатур", которые, по мнению А.Ф. Журавлева, "представляют определенный интерес" (например, в речи лектора: *целевая установка → ЦУ → ценные указания*); 3) "особая разновидность дезаббревиации" – "условная дезаббревиация слов, не являющихся аббревиатурами": водка "*Экстра*" → 'эх, как стало трудно русскому алкоголику' или (с инверсией) 'алкоголик русский, терпи, скоро конец этому' [Там же: 97]. А.Ф. Журавлев проницательно увидел за шутливыми языковыми примерами уже давно существовавшую в некодифицированной речи живую семантическую тенденцию. Однако отсутствие достаточного эмпирического материала оставляло факты дезаббревиации на периферии лингвистического

наблюдения и не позволяло лингвистам сфокусировать на данном феномене более пристальное внимание.

В современной лингвистической литературе еще нет устоявшегося и принятого термина для обозначения явления, его именуют: *дезаббревиация (деаббревиация), условное раскодирование, ложные расшифровки, "эвфемистически насмешливое раскрытие аббревиатуры"* [Ермакова 1999: XXIII]. Примечательно, что описания этого процесса вы не найдете ни в вузовских учебниках, ни в энциклопедиях по русскому языку, ни в справочниках [Краткий справочник 1995; Васильева 1995], ни в методической литературе [Розенталь, Теленкова 1995; Азимов, Щукин 1999], ни в словарях словообразовательных терминов [Немченко 1985], ни в обобщающих лексикологических работах даже зарубежных ученых, особенно внимательно и даже пристально вглядывавшихся в языковые факты, обычно избегаемые (чаще всего по политическим причинам) советской лингвистикой [Ward 1965; Comrie, Stone 1978; Ryazanova-Clarke 1999]. Не упоминается данный языковой феномен и в основательной монографии, специально посвященной "языковой игре" в русском языке [Санников 1999]. Отсутствие систематизированного описания этого явления объясняется в первую очередь тем, что 1) языковой материал вторичен по отношению к своему источнику-прототипу; 2) объем его не столь велик; 3) существует известная трудность фиксации и сбора такого материала в силу специфики его употребления; 4) он имеет маргинальный характер; 5) на него смотрят чаще всего как на внутренне неорганизованное, стихийное, окказиональное для речи явление и потому обычно этот феномен относят либо к народной этимологии, либо включают в сферу языковой игры как забавные и курьезные иллюстрации. Однако только ли своей курьезностью интересны эти примеры?

О чем свидетельствуют игровые раскодированные формы? О том, что живое языковое творчество народа не останавливалось (и не останавливается) перед "монстрообразным" (аббревиатурным) подобием слова и превращало (превращает) его в шутливую, ироничную вторичную номинацию с иной (измененной, трансформированной) внутренней формой. Именно в этом ракурсе (как на шутливые номинации, вернее сказать – деноминации или реноминации) лингвисты смотрели на случаи дезаббревиации, иногда приводя их в качестве примера языковой игры, каламбура. Действительно, таких форм в языке не так много, но все-таки они исчисляются достаточным количеством (мне удалось зафиксировать более полутора сотен примеров, нередко обсценного характера), позволяющим сделать некоторые обобщения. Справедливо поставить следующие вопросы: каков статус таких "раскодированных" аббревиатур в языке? на каком языковом "ярусе" они находятся? живы ли случаи "раскодирования" в языке сейчас и если живы, то что нового, по сравнению с революционными годами и послереволюционными десятилетиями, в них появилось? каковы механизмы и мотивы (культурные, семантические, психологические и т.д.) появления таких форм?

Дезаббревиацию следует отличать и не смешивать с такого рода языковыми явлениями, в которых также виден каламбур, ирония, переиначивание или фонетическое шутливое сближение (фонетическая мимикрия), однако они не входят в разряд раскодированных аббревиатур. Не относятся к понятию дезаббревиации следующие случаи:

1. Лексическая омонимия собственных или нарицательных имен, местоимений, падежных, глагольных форм с аббревиатурами: *РАК* 'районная административная комиссия' и имя нарицательное *рак*; *Архип* 'Артель химического производства' и имя собственное *Архип; СТО* 'Совет труда и обороны' и числительное *сто* (примеры заимствованы из [Виноградов 1983: 82]); *ГРОБ* 'гражданская оборона' и нарицательное существительное *гроб* 'ящик с крышкой для тела умершего'; *ВОПЛИ* 'Вопросы литературы' (шутливое название журнала) и нарицательное существительное *вопли* 'продолжительные громкие крики'; *ОКО* 'объединение кинематографических обществ' и нарицательное стилистически маркированное существительное *око* 'глаз'; *ГЛУП* 'главное управление' и краткая форма прилагательного *глупый* 'неумный, несообразительный, недалекий' (примеры заимствованы из [Журавлев 1982:

83]); *ОЛЯ* 'Отделение литературы и языка РАН' и женское имя *Оля; МАРС* 'машина автоматической регистрации и сигнализации' и название планеты Солнечной системы *Марс; ИВАН* 'Институт востоковедения АН (РАН)' и мужское имя *Иван*; *ВНОС* 'воздушное наблюдение, оповещение и связь' и словосочетание *в нос; АИСТ* 'автоматическая информационная станция' и название птицы *аист; АМУР* 'автоматическая машина управления и регулирования' и мифологическое имя бога любви *Амур; НИМИ* 'Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт' и форма местоимения *они* в творительном падеже; *НОЖ* 'новое общество живописцев' и существительное *нож; СОН* 'сеялка овощная навесная' и существительное *сон; СамГАСИ* 'Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт' и предикативное словосочетание *сам гаси; УГРИ* 'Угольный геолого-разведочный институт' и имя существительное *угри* 'рыба со змееевидным телом'; *ОПУС* 'Особый порядок управления страной' (введен Б. Ельциным 20 марта 1993 года) и нарицательное существительное *опус; ВОР* 'вождь Октябрьской революции' (о Ленине) и имя существительное *вор* и под.

В приведенных примерах не происходит раскодирования аббревиатуры, но виден только процесс случайного фонетического (графического) столкновения аббревиатуры и обычного слова (словоформы), в результате чего рождается каламбур. Впрочем, А.Ф. Журавлев полагал, что в данном типе примеров "аббревиатура сознательно ориентирована на реально существующее в языке слово" [Журавлев 1982: 83], однако, по нашему мнению, такая "сознательная ориентация" является только частным случаем; ср., например, действительно искусственное, ориентированное на неслучайное, намеренное созвучие-сходство аббревиатуры и апеллятива, следующее обозначение: *СДВИГ* 'свидетельство долголетней выдержки и героизма' (фестиваль "живой" музыки в Вологде) и нарицательное существительное *сдвиг* 'смещение; отклонение' (с возможной аллюзией к просторечному *сдвиг по фазе, со сдвигом* "о человеке со странным, неадекватным поведением"). В целом же фонетическое сходство аббревиатур с апеллятивами и синтаксическими или морфологическими формами слов внешнее, поверхностное, случайное [когда создавалось Отделение литературы и языка (ОЛЯ) в рамках Академии наук, его основателям едва ли приходило в голову намеренно сблизить аббревиатурное обозначение с женским именем *Оля*; или помощники Ельцина в мартовские дни 1993 г. едва ли стремились во что бы то ни стало придумать аббревиатурное название, созвучное термину *опус*].

2. Дедеривация[4], то есть разложение аббревиатуры (сложносокращенного слова) на элементы, сближающиеся по звучанию с обычными словами: *Беломор* 'сорт сигарет' (от официального названия *Беломорканал* < *Беломорско-Балтийский канал*) и шутливое переиначивание '*спустился я за белым мором*' (в пародии А. Райкина). Комический эффект рождается за счет окказионального (авторского) расщепления композита (*Беломорский канал* < *Белое море*) на компоненты и снабжения их вторичной (несобственной) номинацией (*белый* + *мор*) путем сближения с аналогичными образованиями (*мухомор, клопомор*).

3. Так называемое комминуальное раскодирование (от лат. *comminuo* "раздробляю, расщепляю") – побуквенное расщепление апеллятива (в подавляющем преимуществе нарицательных существительных) по аббревиатурному типу и наделение его новым номинативным содержанием. В классификации А.Ф. Журавлева такой способ декодирования входит в состав дезаббревиации на правах "условной дезаббревиации" [Журавлев 1992: 98]; правда, он сомневался в безоговорочной точности и справедливости отнесения данного способа раскодирования к дезаббревиации, снабдив этот тип специальными модальными уточнениями "особый", "вероятно". Комминуальное раскодирование не связано напрямую с дезаббревиацией, но явственно ориентировано на данный словообразовательный механизм. Игровое "расщепление" обычного слова на отдельные смысловые элементы по аббревиатурной модели мож-

[4] Термин и пример предложен Г.А. Николаевым [Николаев].

но наблюдать, например, в таких примерах: *морг* в исходном значении 'учреждение для хранения трупов' → и трансформированное, переиначенное 'место окончательной регистрации граждан'; *водка* → в[от] о[н] д[обрый] ка[кой] – шутливая народная этимология некоторых сортов более дешевой водки, выпуск которой начался с приходом к власти Ю.В. Андропова; в народе она получила название *андроповка; сосуд* 'небольшая емкость для жидких и сыпучих веществ' → 'словарь отмерших слов, употреблявшихся древними' (В. Шефнер. "Девушка у обрыва"); *Иов* 'имя библейского персонажа' → 'интеллигентус одомашненный вульгарис', или 'интеллектуал, обиженный всевышним', или 'им обратно весело', или 'или очень вумные?'; к приведенной А.Ф. Журавлевым расшифровке названия водки "*Экстра*" добавим: 'а разве так создашь коммунистическую экономику?' (с инверсией); *лира* 'музыкальный инструмент' → 'любовь и радость антонимы' (литературное объединение, лидером которого является Антонина Ефимова); *студент* 'учащийся высшего учебного заведения' → 'срочно требуется уйма денег, есть нечего, точка'; *поп* 'православный священник' → 'пастырь овец православных'[5].

Особенно популярен этот способ кодирования и декодирования в уголовном мире, в частности в татуировках: *босс* 'руководитель, начальник, предприниматель' (обычно ирон.) → 'был осужден советским судом'; *бур* 'инструмент для сверления, бурения' → 'барак усиленного режима'; *вермут* 'виноградное вино с травяным настоем' → 'вернись, если разлука мучает тебя'; *вино* 'алкогольный напиток (обычно из винограда)' → 'вернись и навсегда останься'; *волк* 'хищное животное семейства собаки' → 'волю очень любит колонист', или 'вору отдышка – легавым крышка', или 'вот она, любовь какая'; *воск* 'пластичное вещество, вырабатываемое пчелами из цветочной пыльцы' → 'вот она, свобода колониста'; *жук* 'небольшое насекомое' → 'желаю удачных краж'; *зло* 'дурные дела, поступки' → 'завет любимого отца' или 'за все легавым отомщу'; *Ира* (женское имя) → 'ищи, режь актив'; *кот* 'небольшое животное, самец кошки (обычно домашнее)' → 'коренной обитатель тюрьмы' или 'колония ожидает тебя'; *лев* 'сильное хищное животное, самец львицы' → 'люблю ее вечно'; *лимон* 'цитрусовое дерево; плод кислого вкуса' → 'любить и мучить одной надоело'; *Лора* (женское имя) → 'любовница ответственного работника' или 'любовь однажды родила ангела'; *лорд* 'английский высший дворянский наследственный титул' → 'легавым отомстят родные дети'; *магнит* 'кусок железной руды, притягивающий металлы' → 'милая, а глаза неустанно ищут тебя'; *небо* 'пространство над земной сушей' → 'не грусти, если будешь одна'; *Нина* (женское имя) → 'не был(а) и не буду активистом(кой)'; *Нона* (женское имя) → 'наркоману очень нужна аناша'; *омут* 'водоворот, завихрение на реке от встречных потоков' → 'одно мое утешение' или 'от меня уйти (не) трудно'; *пингвин* 'антарктическая водоплавающая птица с короткими крыльями' → 'прости и не грусти, виноватого искать не надо'; *писк* 'очень тонкий звук' → 'пошел искать себе кукнар'; *пост* 'место, пункт наблюдения' → 'прости, отец, судьба такая'; *риск* 'возможность неудачи, провала' → 'родные, идите скорее кумариться'; *ритм* 'равномерное чередование такта' → 'радость и тоска моя'; *рубин* 'драгоценный камень красного цвета' → 'разлука уже близка и неизбежна'; *Сатурн* 'планета Солнечной системы' → 'слышишь, а тебя уже разлюбить невозможно'; *сентябрь* 'девятый месяц года' → 'скажи, если нужно, то я буду рядом'; *слон* 'крупное животное с хоботом и большими бивнями, ушами' → 'с любимым одним навеки' или 'с (малых) лет одни несчастья'; *снег* 'замерзшая вода в виде снежинок' → 'сильно нравятся единственные глаза'; *сэр* 'почтитель-

---

[5] Любопытно, что комминуальное раскодирование встречалось в языках уже и раньше. По одной из версий, слово *мафия* (итал. maf(f)ia) в период борьбы с Наполеоном Бонапартом стало расшифровываться так: Morte Alla Francia Italia Anela "Девиз Италии – смерть всем французам" [Геворгян 1980: 19]. По другой версии, бытующей в народной мифологии сицилийцев, слово *мафия* образовано лексико-синтаксическим способом от фразы *ma fia* "моя дочь!", которая исторглась из груди обезумевшей от горя матери-сицилианки после изнасилования ее дочери французским солдатом.

ное обращение к мужчине в англоязычных странах' → 'свобода – это рай'[6]; *тигр* 'крупное хищное полосатое животное' → 'товарищи, идемте грабить ресторан' или 'Тюрьма – ИГРушка'; *Томск* 'название города в Сибири' → 'ты один моего сердца коснулся'; *туалет* 'уборная' → 'ты ушел, а любовь еще тлеет'; *туз* 'старшая игральная карта' → 'тюрьма учит закону' или 'тюрьма уже знакома' или 'Тюремный УЗник'; *утро* 'начало дня' → 'ушел тропою родного отца'; *хлеб* 'пищевой продукт, выпеченный из муки' → 'хранить любовь единственную буду'; *чиж* 'небольшая лесная птица' → 'чрезвычайно интересная женщина'; *шампанское* 'шипучий игристый слабоалкогольный напиток' → 'шутка, а может, просто адская насмешка, скажи, как оценить ее'; *юг* 'часть света, направление горизонта, противоположная северу' → 'юный грабитель'; *Япония* 'страна на Дальнем Востоке' → 'я прощаю обиду, не измену, ясно?'; *яхонт* 'старое название некоторых драгоценных камней' → 'я хочу одного навеки тебя'[7] и под.

Естественно, лексическое наполнение декодированных уголовных аббревиатур является отражением понятий и ценностей этого маргинального социума. Если проанализировать имена существительные, встречающиеся в таких раскодировках, то их типология следующая: 1) обозначение реалий тюремной жизни (*барак, режим, колонист, легавый, актив* 'служба охраны', *активист* 'помощник охраны, милиции среди заключенных', *тюрьма, узник, кукнар* 'тип наркотика'); 2) обозначение уголовных преступлений и связанных с этим понятий (*кража, завет, закон*); 3) обозначение морально-нравственных понятий и ценностей в тюремной среде (*разлука, воля, любовь, судьба, радость, тоска, несчастья, свобода, обида, измена, сын, отец, женщина*). Глагольные лексемы свидетельствуют о доминировании следующих смысловых областей: *осужден, мучать, отомстить, грабить, кумариться* 'употреблять кукнар'. Любопытно, что раскодировки апеллативов довольно часто представляют некие сентенции или прескрипции, предназначенные для "прочтения" другим реципиентом; ср. глаголы в императивной форме в структуре прескриптивного высказывания: *вернись, ищи, режь, не грусти, прости, идите, слышишь, скажи, идемте.* Использование императивов в прескрипциях неслучайно: они призваны в тюремном социолекте: а) обеспечить передачу информации от прескриптора другому человеку (реципиенту), минуя вербальное общение, б) при помощи речевого акта (апеллятива с закодированным смыслом) побудить другого к активному действию. Вообще достаточно мощный глагольный элемент в структуре буквенных татуировках не может не привлечь внимание.

Этот представительный, но еще неполный список представленных раскодировок ясно показывает, что аббревиатурное расщепление обычного апеллятива или имени собственного в некоторых маргинальных группах преследует цель шифровки информации криптографическими способами: зрительно татуировка видна и "непосвященному", но ее подлинный (тайный, зашифрованный) смысл известен только "своему", "посвященному". Таким образом, в уголовном мире происходит презентация слова с тем заданным намерением, что эту "внутреннюю аббревиатуру" декодирует член своего круга, сообщества, то есть прочтет, извлечет соответствущие (неязыковые) выводы и выберет адекватные модели поведения с носителем подобной татуировки. Обилие подобного рода буквенных татуировок в криминальном мире XX века, пожалуй как ничто другое, показывает в своеобразном обратном "зеркальном отражении", насколько глубоко проникли механизмы аббревиации в толщу русского языка и языкового сознания. Если в XVIII и XIX веках на татуировках (преимущественно в среде матросов, нижних армей-

---

[6] Название фильма С. Бодрова "Сэр", рассказывающего о подростке-колонисте, совершившем в поисках отца побег из колонии, может ввести в заблуждение или даже дезориентировать неискушенного зрителя, если он не будет знать данного типа комминуального раскодирования, принятого в уголовном мире. Таким образом, этот тип аббревиатурного расщепления апеллатива стал одним из компонентов фоновых (пусть и периферийных) знаний современных носителей русского языка, в результате чего и возможно включение части уголовных аббревиатур (наряду с прочими элементами тюремно-уголовного дискурса) в интеллектуально-языковой обиход общества.

[7] Много таких расшифровок приведено в [Балдаев 1992; Росси 1991; Максимовский 1991].

ских чинов и преступников) были приняты изображения-картинки (ср. указание, что в конце XIX века сахалинские заключенные-каторжники украшали свое тело "сахалинскими картинками" [Конди 1999]), то в XX веке вербальные (словесные, аббревиатурные) татуировки заметно потеснили традиционные, графико-картинные.

Перейдем к рассмотрению других разрядов дезаббревиации. Тип так называемой стилистической дезаббревиации (в терминах А.Ф. Журавлева) активизировался в современном языковом дискурсе, хотя и не столь заметно и выразительно, как ложная дезаббревиация. Однако содержание класса лексем, включаемых в стилистическую дезаббревиацию, можно уточнить и расширить. А.Ф. Журавлев отметил, что использование сочетания *коллективные хозяйства* в газетно-публицистическом стиле несет стилистическую функцию, поскольку "аббревиатура и словосочетание, послужившее базой для нее, уже почти не соотносятся в сознании носителя языка" [Журавлев 1982: 97]. Действительно, хотя в формально-семантическом отношении словосочетание *коллективные хозяйства* является непосредственной мотивирующей базой сложносокращенного слова *колхоз*, в языковом сознании конца XX века произошло сигнификативное и денотативное размывание понятий *колхоз* "сельскохозяйственное предприятие, основанное на коллективной собственности" и *совхоз* "сельскохозяйственное предприятие, основанное на государственной собственности", номинативно значимое в период создания данных терминов (20-е годы XX в.). Таким образом, появление раскодированных аббревиатур типа *коллективные хозяйства* вполне органично вписывается в концепцию газетно-публицистического стиля Г.О. Винокура и В.Г. Костомарова (чередование экспрессии и стандарта как стилеобразующего стержня): аббревиатуры *колхоз* и *совхоз* относятся к области газетного стандарта, напротив, фраза *коллективные хозяйства* – к области газетной экспрессии (обратим внимание на множественное число, в данном случае выступающее языковым маркером газетной экспрессивности).

Последнее десятилетие XX в. демонстрирует активизацию такого способа дезаббревиации в русском языке, причем в центре таких процессов чаще оказываются идеологически маркированные лексемы (идеологемы): (в советское время) *райком, обком, крайком* (партии, комсомола, профсоюза и т.п.) → (в наши дни) *районный комитет, областной комитет* (по культуре и спорту, профсоюзов, по управлению имуществом, социальной защиты населения, по образованию и т.п.), но – *райком* (КПРФ). Следовательно, в современном языковом пространстве произошло прагматическое расщепление референта ("комитет") в связи с трансформацией денотата: старая, стершаяся аббревиатура прочно ассоциирована с советским строем (сравни зависимое слово *КПРФ*), дезаббревиатурная форма (*районный, областной, краевой комитет*) имеет цель обособиться, отстраниться от старой аббревиатурной советской номинации именно при помощи раскодирования, возвращения к аналитической синтаксической номинации (словосочетанию). Семантико-синтаксический механизм декомпрессии текста, выступающий в данном случае в своем конкретном преломлении – дезаббревиации, освежает внутреннюю форму аббревиатуры, соотнесенной с каким-либо понятием, дискредитированным в общественном сознании, а также в политической и социальной практике.

Очевидно, и стилистический (типа *колхоз*, проанализированный А.Ф. Журавлевым), и прагматико-идеологический вид дезаббревиации (типа *райком*) находятся в пределах одного семантического типа. Если аббревиатуры считать вторичными номинативными знаками, то дезаббревиатурные раскодировки данного типа мы относим к регрессивной[8] дезаббревиации – раскодированию аббревиатур в обратном направлении (т.е. мотивировке исходным словосочетанием). Такой тип дезаббревиации представлен преимущественно в книжных или нейтральных зонах языка, но он крайне важен с точки зрения стабильности языкового развития и преемственности, служа наиболее мягким (в отличие от ложной, или людической, дезаббревиации) механизмом, амортизирующим последствия мутаций (политических, идеологических, социальных) в обществе.

Наконец, "ложные расшифровки дезаббревиатур" в классификации А.Ф. Журавлева. К сожалению, языковой материал, представленный в этом типе, у автора невелик

[8] От лат. regressus "обратное движение".

(всего два примера), так что исследователю пришлось ограничиться только указанием на две причины существования подобного рода раскодирования: криптолалическую и шутливую (ироническую). Однако, пожалуй, именно этот тип дезаббревиации является самым распространенным и разработанным в семантическом механизме аббревиатурного раскодирования в современном дискурсе.

При ложной дезаббревиации происходит столкновение, сопряжение в пределах одной фонетической или графической формы двух значений: общепринятого (официального) значения и вторичного, переосмысленного. Цель (функция) такой дезаббревиатуры совсем иная, чем, в частности, комминуальной дезаббревиатуры, а именно: в некодифицированном разговорном языке "занизить" высокий официальный ранг аббревиатуры, превратив ее в смеховую "игрушку". Таким образом, именно игровое начало является исходной посылкой такого типа дезаббревиации; назовем его л ю д и ч е с к и м (от лат. *ludus* "игра").

Какие же тематические (идеографические) группы аббревиатур в современном русском языке испытывают наибольшее влияние процессов людического раскодирования?

1. Названия политических партий, движений: *ЛДПР* 'Либерально-Демократическая партия России' → 'люблю дурачить простых ребят'. Особенно "повезло" аббревиатуре *КПСС* 'Коммунистическая партия Советского Союза', которую интерпретировали весьма разнообразно: 'Капиталистическая партия Советского Союза' (эту дезаббревиацию, возникшую в 1989 г., приписывают коммунисту Л.И. Сухову); 'Коммунисты пришли! Сухари суши!'; 'Как приватизировали социалистическую собственность'; 'Кто пойдет сдавать стеклотару?'; 'Коммунисты продали советскую систему'; 'Коммунисты против Сахарова, Солженицына'. Эта модель дезаббревиации является, по-видимому, самой старой и самой освоенной в русском языке, так как она живет уже много десятилетий (примеры дезаббревиации первых лет революции см. выше). Однопартийная советская система не давала большого простора раскодирования как в смысле лексического разнообразия (была только одна политическая партия), так и социальных последствий такой языковой игры (за это можно было попасть в лагерь, тюрьму). Наличие многих политических партий и свобода выражения своего отношения к той или иной политической группе, движению, блоку в наши дни делают такой механизм раскодирования популярным элементом языковой полемики и манипуляции, броским и эффектным приемом дискредитации политического соперника (противника).

2. Аббревиатуры, обозначающие социальные, политические, экономические явления жизни: *ОБХСС* 'Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности' → 'обеспечение безопасности хищений социалистической собственности'; *КГБ* 'Комитет государственной безопасности' → 'кодла грубых бандитов', 'кодла государственных бандитов', 'комитет глубинного бурения'; *ЦК* 'Центральный комитет' → 'Центральная котельная'; *СНГ* 'Содружество Независимых Государств' → 'сбылись надежды Гитлера', или 'спаси нас, господи', или 'сборище ненормальных государств' (эту шутливую расшифровку приписывают А.И. Лебедю), или 'союз нищих (и) голодных'; *СТД* 'Союз театральных деятелей' → 'спасение театральной души'; *ГЖС* 'государственные жилищные сертификаты' → 'гарантированное жилье сегодня'; *ИНН* 'идентификационный номер налогоплательщика' → 'инвентарный номер недоумка'; *ЦУМ* 'Центральный универсальный магазин' → 'цены увеличивались молча'; *МПС* 'Министерство путей сообщения' → 'министр, племянник, сын' или 'министерство племянников и сыновей' (аллюзия к деятельности бывшего министра путей сообщения Н.Е. Аксененко); *ГАИ* 'Государственная автомобильная инспекция' → 'гребаная армия идиотов'; *ГИБДД* 'Государственная инспекция безопасности дорожного движения' → 'гони инспектору бабки (и) двигай дальше' или (более редкие) 'господин инспектор, берите деньги, до свидания', 'господа и бандиты, дайте денег'; *НАТО* 'военно-политический блок (от англ. North Atlantic Treaty Organization)' → '*НА ТО* (бомбу, на се бомбу)', или 'ништяк-америке-трындец-остальным', или 'национальный архив туркменской оппозиции'. Объектом иронии становятся наименования политических организаций, имеющих в массовом сознании негативные ассоциации (*НАТО*), названия государственных инстанций (институтов), которые могут быть отдалены и отделены от простого человека как некие полумифические сущности (*ЦК, ОБХСС, КГБ*), могут

выполнять декоративную роль с неясными функциями (*СТД, СНГ, ИНН*), могут быть дискредитированы в общественном мнении (*ГАИ, ГИБДД*). В любом случае "приписывание" им второго значения призвано либо "низвергнуть" их с недоступного пьедестала, либо раскрыть, обнаружить их подлинное "лицо", сорвать маску, "личину".

3. Место работы, учебы; предприятие: *РИИИ* 'Российский институт истории искусств' → 'Российский институт испуганной интеллигенции' (такая шутливо-зловещая расшифровка возникла после арестов, произведенных в 1922 г.); *МИНЯ* 'Московский институт новых языков' → 'мужайся и на ящиках' или 'мы изучаем не тот язык'; *МГУ* 'Московский государственный университет' → 'мама где устроит' или (с инверсией) 'где мама устроит'; *ВУЗ* 'высшее учебное заведение' → 'выйти удачно замуж'; *МИИТ* 'Московский институт инженеров транспорта' → 'мы интенсивно ищем третьего'; *МИСИ* 'Московский инженерно-строительный институт' → 'Московский институт сексуальных извращений'; *МГПИИЯ* 'Московский государственный педагогический институт иностранных языков' → 'место, где проститутки изучают иностранный язык'; *МГПИ* 'Московский государственный педагогический институт' → 'Московский государственный поющий институт' (его закончили многие известные барды, в том числе Ю. Визбор); *ЛЭТИ* 'Ленинградский электротехнический институт' → 'Ленинградский эстрадно-танцевальный институт'; *ЛИИЖТ* 'Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта' → 'Ленинградский институт изучения женского тела'; *ЛИАП* 'Ленинградский институт авиационного приборостроения' → 'лепили инженера – алкоголик получился'; *ЛГПИ* 'Ленинградский государственный педагогический институт' → 'Ленинградский государственный приют идиотов'; *БГУ* 'Башкирский государственный университет' → 'башкирский гербарий уродов'; *ГПТУ* 'государственное профессионально-техническое училище' → 'господь послал тупых учиться'; *МГТУ* 'Московский государственный технический университет' → 'мы готовы тут умереть' или 'мы готовим тут уродов'; *МВТУ* 'Московское высшее техническое училище' → 'мы вас тут угробим', или 'могила, вырытая трудами ученых', или 'мало выпьешь – трудно учиться'; *АЗЛК* 'автомобильный завод имени Ленинского комсомола' → 'автомобильный завод имени лужковской кепки'; *ЖКХ* 'жилищно-коммунальное хозяйство' → 'живи как хочешь'; *ГИРД* 'Группа по изучению реактивного движения' → 'группа инженеров, работающих даром' и под. Дезаббревиация в этом случае является одним из компонентов студенческого (профессионального) жаргона и, в частности, такого популярного семантического (психологического) механизма, как стебово-ироничное отношение к своей учебной деятельности, официальным органам и даже вообще к миру. Цель их одна – достичь языковой экспрессии, эпатажа окружающих, высмеять "высокое и святое".

4. Учебные предметы, изучаемые дисциплины: *ОБЖ* 'основы безопасности жизнедеятельности' → 'общество беременных женщин'; *СПИД* 'синдром приобретенного иммунного дефицита' → 'социально-политическая история двадцатого века' или 'Совет ПрИ Директоре'; *ППР* 'партийно-политическая работа' → 'посидели, по[...]ли, разошлись' (в середине нецензурное слово). В этом случае предметом иронии становятся либо "страшные" денотаты типа *СПИД* (образ, создаваемый масс-медиа, иногда превращается в навязчивый штамп и подвергается пародированию), либо неблагозвучные аббревиатуры, маскирующие за внешней аббревиатурной серьезностью какое-либо несложное или повседневное содержание (*ОБЖ, ППР*).

5. Названия культурно-просветительских учреждений, спортивных клубов, телеканалов, развлекательных программ: *ДК* 'Дом культуры' → 'дойная корова' (пример Е.А. Земской) [Земская 1992: 54]; *КВН* 'Клуб веселых и находчивых' → 'клево, весело, незабываемо'; *НТВ* 'Независимое телевидение' → 'не твое, Вова' (намек на действия В. Путина в отношении этой телекомпании); *ЦСКА* 'Центральный спортивный клуб армии' → 'центральный сарай конной армии' или 'центральный спортивный клуб Абрамовича'.

6. Профессии: *ГЭС* 'гидроэлектростанция' → 'ГидроЭлектроСварщик'. Эти дезаббревиатуры явно нечастотны; мне встретилась пока одна. Источником пародии является высмеивание идеи гигантизма (в данном случае в массовом сознании живет ус-

тойчивая ассоциация, связанная с представлением о ГЭС как гигантском, массивном сооружении, требующем колоссальных физических, технических затрат для строительства).

7. Оружие, боеприпасы: *ВНОС* 'воздушное наблюдение, оповещение и связь' → 'выпил, наелся, опять спит' (дезаббревиатура возникла еще в годы Великой Отечественной войны); *БП* 'бронепоезд' → 'Борис Петрович'; *РС* 'реактивный снаряд' → 'Раиса Семеновна'; *КВ* 'наименование танка, образованное от имени Климент Ворошилов' → 'Котин Ворошилову'; *СФ* 'Северный флот' → 'современный флот'; *БФ* 'Балтийский флот' → 'бывший флот'; *ТФ* 'Тихоокеанский флот' → 'тоже флот'; *ЧФ* 'Черноморский флот' → 'чи флот, чи не флот (чи флотилия, чи не флотилия)'. Очевидно, здесь мотивом дезаббревиации выступает либо криптолалия (в военных условиях), либо (в мирной обстановке) грубоватая армейская фамильярность (дисфемизация, или кокофемизация) с целью "занизить", "приручить", "одомашнить" денотаты, ввести их в солдатское (армейское) корпоративное сообщество в качестве полноправных членов, над которыми можно подшутить, подсмеяться или подтрунить.

8. Помещения: *КПД* 'коэффициент полезного действия' → 'комната полезного действия' (о туалете); *КПЗ* 'камера предварительного заключения' → 'комната приятных запахов' (о туалете). Ирония является языковой реакцией на наиболее часто повторяемые (например, со школьной скамьи) или заезженные, избитые от чрезмерного повторения аббревиатуры с целью обновления их внутренней формы и – вследствие этого – наделения их более "полезным" (с точки зрения "наивного" носителя языка) бытовым смыслом.

9. Обозначение ситуаций (обычно экстремальных, нестандартных): *ЧП* 'чрезвычайное происшествие' → 'частная практика' (в речи медиков) или 'четвертая полоса' (у журналистов) (последнее значение отмечено Е.А. Земской) [Земская 1992: 54]. Такой тип дезаббревиации можно объяснить стремлением (в профессиональном языке) к языковой экономии наиболее частотных понятий.

10. Человек (внешность, поведение, характер): *ДВП* 'древесноволокнистая плита' → 'доска временного пользования' (о худой, плоскогрудой девушке, женщине – обычно легкого поведения); *ОРЗ* 'острое респираторное заболевание' → 'очень резко завязал' (прекратить пить, употреблять алкоголь); *СПИД* 'синдром прибретенного иммунного дефицита' → 'страшный подарок иностранного друга'. Пародия является реакцией на новые товары (вещи) массового пользования (обычно невысокого качества, ненадежные, непрактичные в использовании) – например, *ДВП*; или наукоподобные номинации привычных для человека реалий (под *ОРЗ* в бытовом обиходе чаще всего понимают насморк, кашель, простуду) или ставших очень актуальными в определенный период времени (*СПИД*).

11. Названия машин, препаратов, механизмов[9]: *РДС* 'реактивный двигатель специальный' → 'Россия делает сама' или 'реактивный двигатель Сталина'; *ИС* 'марка самолета в годы Второй мировой войны; от инициалов Иосифа Сталина' → 'истребитель складной'; *БФ* 'название клея' → 'Борис Федорович'; *БМВ* 'русская транскрипция марки автомашин BMW' → 'бандитская машина воров'; 'без машины веселей'; 'боевая машина вотяков'; 'большое мужское вождение'; 'БезМерные Возможности'; 'браво могучего мотора'; 'быстрая машина вселенной' и десятки других (не привожу их в целях экономии места). Цель дезаббревиации – "упростить" привычные или даже престижные, но громоздкие аббревиатуры применительно к своей аксиологической (нарочито грубоватой и простоватой) шкале; здесь мы сталкиваемся с тем же явлением дисфемизации = кокофемизации, что и в армейском социолекте. В этом случае русская мотивировка вы-

---

[9] Любопытно, что подобные шутливые расшифровки существуют не только в русском языке. Например, в английском (американском) просторечии название известной марки автомобией *SAAB* расшифровывается следующим образом: Swedish Automobile Always Broken 'шведский автомобиль всегда сломан'.

ступает как проявление ментального приема олицетворения (персонификации), сохранившегося с эпохи анимализма до наших дней[10].

Если аббревиация относится к вторичной номинации (первичными номинативными единицами являются словосочетания, легшие в основание аббревиатуры), то следует ли, что при людической дезаббревиации наблюдаются те же закономерности, что и при комминуальной, то есть просто возвращение к исходной синтаксической структуре с определенными (например, стилистическими) целями? Примеры показывают, что в людическом раскодировании протекают более сложные семантические процессы. Рассмотрим их с точки зрения теории номинации. Действительно, часть дезаббревиатурных раскодировок также являются словосочетаниями (см. расшифровки при: *КПСС, ОБХСС, КГБ, СНГ, ГАИ, МИСИ, ЛГПИ, БГУ, ОБЖ, БП, КВ, БФ, ТФ* и др.), однако довольно часто встречаются либо полупредикативные словосочетания (см.: *НАТО, МВТУ, ГИРД, НТВ* и др.), либо предикативные словосочетания, предложения (см.: *КПСС, СНГ, ЦУМ, ГИБДД, МИНЯ, ВУЗ, МГУ, ГПТУ* и др.); впрочем, в любом случае именно функция характеризации, а не прямой номинации является ведущей. С когнитивной точки зрения, сам факт аббревиации рассматривается говорящим не просто и не только как первичный номинативный механизм (ономасиологический аспект номинации), но может трактоваться и как инструмент вербального кодирования (компрессии) какой-либо протекающей неязыковой ситуации (пропозиции), каждый элемент которой может быть побуквенно "сокращен" и поименован; ср.: *РСФСР* 'распустили солдат, фронтовиков, собрали разбойников' (семасиологический аспект номинации[11]). Людическая дезаббревиатура по структуре становится аналогична сентенции, предложению-суждению. Дезаббревиатурное раскодирование относится, несомненно, к продуктам речевой деятельности и возникает как знак вторичной

---

[10] Голландский историк культуры Йохан Хейзинга (1872–1945) очень точно характеризовал роль персонификации в современной жизни, культуре и науке: "Персонификация – это привычная форма духовной деятельности, из которой мы в нашей повседневной жизни еще вовсе не выросли. Кто не ловил себя снова и снова на том, что вслух и вполне серьезно обращается к какому-нибудь неодушевленному предмету, скажем, к упрямой запонке, чисто по-человечески приписывая ей нежелание повиноваться и осыпая ее упреками за поведение, заслуживающее всяческого осуждения. Но, делая это, мы же не исповедуем веру в запонку как в некое существо или хотя бы идею. Мы входим, хотя не по собственной инициативе, в состояние игры" [Хейзинга 1997: 137–138].

[11] Очевидно, предельным случаем кодирования ситуации в крайне напряженном состоянии сознания, психики при помощи буквенного (акронимического) сокращения может служить сцена объяснения в любви между К. Левиным и Кити ("Анна Каренина" Л. Толстого): «Вот, – сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о: *э, н, м, б,* з, л, э, н, и, т? Буквы эти значили: "когда вы мне ответили: *этого не может быть*, значило ли это, что никогда или тогда?" [...] – Я поняла, – сказала она, покраснев. – Какое это слово? – сказал он, указывая на н, которым означалось слово *никогда*. – Это слово значит *никогда* [...]». Интересно, что прототипом этого эпизода являлся факт объяснения в любви самого Л.Н. Толстого – С.А. Берс. Этот семиотический механизм кодирования и декодирования исследован Ю.М. Лотманом как тип автокоммуникации: "речь идет о возрастании информации, ее трансформации, переформулировке. Причем вводятся не новые сообщения, а новые коды, а принимающий и передающий совмещаются в одном лице. В процессе такой автокоммуникации происходит переформирование самой личности, с чем связан весьма широкий круг культурных функций – от необходимого человеку в определенного типа культурах ощущения своего отдельного бытия до самопознания и аутопсихотерапии" [Лотман 1996: 35]. И далее важный вывод: "текст несет тройные значения: первичные общеязыковые, вторичные, возникающие за счет синтагматической переорганизации текста и сопротивопоставления первичных единиц, и третьей ступени – за счет втягивания в сообщение и организации по ее конструктивным схемам внетекстовых ассоциаций разных уровней – от наиболее общих до предельно личных" [Там же]. Несмотря на то, что Ю.М. Лотман описывает автокоммуникацию в пределах "Я – Я", эта модель вполне приложима и к исследуемому процессу дезаббревиации: первичным значением является общеязыковая аббревиатура, вторичным значением – референциальное переосмысление денотата, третичным значением – включенность в сам процесс семантического переосмысления фоновых знаний (пресуппозиций) социума или какого-л. социолекта.

номинации. Это обстоятельство позволяет уточнить и дополнить репертуар номинаций в русской разговорной речи [Земская 1979: 44–71; Ермакова 1984: 130–140], включив в их число также некоторые типы дезаббревиатурных форм.

Объяснений причин и мотивов людической дезаббревиации как наиболее развитой и разветвленной в некодифицированном языке может быть несколько, и все они взаимосвязаны друг с другом. Мне представляется, что в этом механизме задействованы следующие процессы: психологический, культурологический, семасиологический, семантический.

Психологическим механизмом появления раскодированных форм является, очевидно, стремление индивида (группы, социума) снять напряжение, стресс, избежать (психического и языкового) дискомфорта, выйти за рамки ограничений, которые накладывает на поведение (социальное и языковое) социум или господствующая идеология и предписанные ею социальные (политические) нормы. Именно таким образом феномен языкового каламбура психолог З. Фрейд интерпретировал в работе "Остроумие и его отношение к бессознательному" (1905 г.), полагая, что за каламбурами и шутками скрывается невытесненный, незамещенный, непреодоленный страх. На этом основании Фрейд считал шутку древнейшим, архаическим элементом табу, ибо в шутке содержится насмешка, предостережение или даже угроза табуизированному предмету (объекту). Аббревиатуры, действительно, скрывают, табуизируют некие сущности от субъекта за нагромождением звуков и тем самым отдаляют, "отчуждают" его от искомого предмета. Растабуирование (в данном случае – дезаббревиация) призвано приблизить, вновь "вернуть" говорящего субъекта к скрываемому (скрытому и скрытному) объекту, однако уже не с "лицевой", а с "изнаночной" части. Частным объяснением механизма дезаббревиации, однако важным особенно в сталинское время, по мнению Шейлы Фитцпатрик, является попытка советского человека при помощи таких раскодированных языковых форм противостоять официальной идеологии; средства массовой информации формировали серьезное (граничащее со страхом) отношение к социалистическим ценностям, институтам, организациям как стоящим над человеком ("винтиком") и определяющим его повседневную жизнь. Ш. Фитцпатрик, исследовавшая типы, прагматику, ценности повседневной жизни советского человека (особенно в сталинское время), считает, что в шутливых расшифровках (наряду, например, со слухами) следует усматривать специфические формы советского юмора; эти расшифровки служили показателем приспособления советских граждан к идеократии [Fitzpatrick 1999: 182–184]; уточним: вернее сказать – скрытого протеста против режима. В терминах А. Вежбицкой, можно говорить о "языковой самообороне" (linguistic self-defence), состоящей "в изобретении способов выражения (имеющих более или менее постоянную форму) для тех эмоций, отношений и идей, которые не могут открыто выражаться в условиях жесткого политического контроля жизни страны" [Вежбицка 1993: 108].

Культурологическим механизмом каламбура служит, по-видимому, прием карнавализации, переиначивания, "снижения" (и тем самым "принижения"), осмеяния высоких принципов, понятий, идей. Этот механизм был глубоко и всесторонне проанализирован М.М.Бахтиным в книге "Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья" (1965 г.). Исходным принципом, смысловой посылкой карнавала и карнавализации как его движущего механизма является смешение "верха" и "низа", их смысловое и идеологическое "переворачивание", "переодевание", низведение сакральных сущностей до уровня обычного человека. Близость позиций Бахтина и Фрейда в интерпретации каламбура несомненна: у Фрейда шутка – это преодоление табу, у Бахтина карнавал – это "снижение" или даже "ниспровержение" предметов сакрального мира (но ведь в генетическом смысле сакральное – это обожествленное табу).

Семасиологический механизм дезаббревиации заключается в возможности намеренного разрыва смысловой связи между планом содержания и планом выражения. В аббревиатуре план содержания "привязан" к плану выражения непрочными, даже как будто случайными языковыми нитями, что проявляется в искусственно созданном, сконструированном соответствии логического (понятийного) содержания некоторой

комбинации, цепочке звуков, репрезентирующих данное понятие. Если в обычном слове соответствие плана содержания плану выражения является полуусловным, полупроизвольным, то в аббревиатуре эта условность, произвольность достигает, видимо, своего предела. "Спайка" формы и содержания непрочна, неустойчива, легко разрушаема, ибо аббревиатура требует от человека просто ее механического заучивания и последующего "технического" воспроизведения. Именно такая искусственность и кажущаяся легкость образования аббревиатур, противоречащая языковой практике "наивного" носителя языка, провоцирует у него (говорящего субъекта) формирование представления, что в аббревиатуре смысловые (содержательные) компоненты можно легко заменять, но внешняя (звуковая) форма аббревиатуры все же сохранится[12]. Однако за сохраненной внешней формой может скрываться уже новое содержание, обычно иронического, шутливого характера. Это и есть проявление творческого отношения к языковому знаку.

Действительно, "механическое" повторение аббревиатуры делает ее "прозаическим текстом, знаком", в котором нам явлено только поверхностное, или минимальное, значение (в интерпретации А.А. Потебни – "этимологический минимум внутренней формы", "наименьшее значение"). "Вторжение" человека во внутреннюю форму слова (аббревиатуры) переводит его (ее) в "вибрирующее" состояние, возбуждает новые ассоциации и идеи, превращает его (ее) в новый словесный знак, на этот раз – уже продукт поэтического творчества. Слово (аббревиатура) начинает жить иной жизнью (не-механической) в иной смысловой плоскости (то есть поэтического творчества, к которому Потебня относил детский язык, фольклор, шутки, каламбуры, игру слов, авторские языковые эксперименты и под.). Аббревиация являлась (и, очевидно, является) в каком-то смысле вызовом обычному носителю языка, чей наличный языковой опыт ранее не содержал подобных фактов. В отличие от нее, дезаббревиация – своеобразный способ "борьбы" с непривычным языковым материалом, который заключается в возможности реноминации (демотивации). Дезаббревиацию можно считать одним из конкретных проявлений динамического соотношения (неустойчивого равновесия) плана содержания и плана выражения. Об этом писал уже С.И. Карцевский в работе "Об асимметричном дуализме языкового знака" [Карцевский 1965]; ср. также мнение современного исследователя: "В процессе развития и функционирования языка постоянно происходят реноминации. Реноминация (изменение соотнесенности между элементами планов выражения и содержания) имеет место при переходе от одного языкового состояния или языка к другому: в историческом развитии языка, при переводе или сопоставлении языков, при литературном творчестве и формировании вариантов языка, социолектов и языковых стилей" [Гак 1998: 9].

Семантическим механизмом дезаббревиации является нарушение и разрушение связи денотата и сигнификата при следующих возможных вариантах денотата: 1) денотат сохраняется (например, названия партий, социальных, общественных институтов, вторичное же значение прагматически "переворачивает" денотат в сознании человека, меняет знаки с "плюса" на "минус"); 2) денотат смещается в иную смысловую область (например, *ГЭС* как обозначение гидроэлектростанции ассоциативно и логически связано с производством различного рода работ – в том числе и сварочных, потому вторичный денотат 'газоэлектросварщик' явно намекает на связь с первичным денотатом-объектом). Ясно, что в первом случае элемент языкового творчества, язы-

---

[12] Хорошим примером этого может служить следующий факт: в прессе сообщалось, что депутат Госдумы Вячеслав Игрунов намеревался создать партию *СЛОН*. Объясняя мотивы выбора такой аббревиатуры, он заявил, что возможны две ее интерпретации: "Союз людей, объединенных надеждой" или "Социально-Либеральное ОбъедиНение". Корреспондент, сообщивший об этом факте, недоумевает: "СЛОН в названии партии? В России? Кощунство чистой воды. Или полное беспамятство, незнание истории. Но среди электората может найтись немало памятливых людей, для которых аббревиатура СЛОН имеет единственный смысл – Соловецкий лагерь особого назначения, первая в России концентрационная тюрьма".

ковой игры намного мощнее и интенсивнее, чем во втором случае, который при деноминации не требует большой мыслительной работы.

Таким образом, процессы людической дезаббревиации в современном дискурсе предстают сложным клубком психолингвистических, социологических и языковых механизмов, детерминированных как когнитивными структурами языковой компетенции индивида, так и внеязыковыми факторами.

Каков статус раскодированных аббревиатур в русском языке? В какой структурной зоне языка их следует рассматривать? На первый взгляд их шутливый характер подталкивает исследователя к тому, чтобы данные факты отнести к области народной этимологии. Однако движущим мотивом трансформации слова при народной этимологии служит то обстоятельство, что в этом случае происходит непреднамеренное преобразование внутренней формы ввиду ее неясности, непонятности: *пиджак* > *спинжак* (по аналогии со словом *спина*), *тротуар* > *плитуар* (по аналогии со словом *плита* как намек на метонимическую связь понятий "строительные плитки" и "место для гуляния", которое обычно выложено такими плитками); *бульвар* > *гульвар* (от глагола *гулять*); возможна также трансрадиксация – замена одного из компонентов лексемы понятным и семантически ведущим (или мотивирующим, с точки зрения народного или индивидуального сознания) элементом: *мелкоскоп* (у Лескова) вместо *микроскоп* [Журавлев 1982: 74]. В этом случае шутливость возникает вследствие случайного сближения со словами обычного языка и она видна человеку, знакомому с точным значением обозначаемых понятий[13]. При людической дезаббревиации, напротив, происходит процесс сознательного отталкивания от известного этимона (внутренней формы, значения) и наделение внешней (звуковой, графической) формы новым содержанием с явным шутливым намерением. Таким образом, механизмы народной этимологии и людической дезаббревиации оказываются различными, и каламбурное сходство обозначений на самом деле имеет разные истоки и основания: в народной этимологии нет намерения осмеять или спародировать понятие, в людической дезаббревиации эта интенция является ключевой, центральной, ведущей.

Не относится дезаббревиация и к стилизации, хотя у них также могут быть схожие элементы. При стилизации происходит намеренное построение текста, фразы с полемическими целями, пародирующими какие-либо известные или заштампованные приемы и речевые модели литературного стиля, направления, жанра. Людическая дезаббревиация тоже как будто строится по принципу осмеяния официальных штампов (аббревиатур) и "расщепления" их на элементы с самым простым, даже грубым и нарочито примитивным содержанием (дисфемизмы). Однако при стилизации не происходит внутреннего обновления формы или фразы, комический эффект достигается в пределах контекста, столкновения с другим (иностилевым) окружением. При людической дезаббревиации именно обновленная, трансформированная внутренняя форма уже сама по себе является комичной, шутливой, спародированной по отношению к своему первичному, исходному содержанию в пределах одной и той же внешней (графической, звуковой) формы и уже только затем выступает как пародия на весь класс слов (аббревиатур) в системе языка. Впрочем, перечисленные выше тюремные татуировки и представляют такого рода стилизацию, когда комминуальное "раскодирование" апеллатива и наделение его аббревиатурным содержанием является пародией на механизм аббревиации в языке. Однако этот популярный способ кодирования информации в маргинальной среде возник именно благодаря и через посредство механизма дезаббревиации, который является первичным, исходным, прототипическим, "материнским" по отношению к тюремной искусственной "аббревиации" апеллятивов или имен собственных.

Кроме того, стилизация аббревиатур в художественной литературе используется со специальным стилистическим заданием комического эффекта: *УКСУС* 'Управление

[13] Примеры на базе немецкого языка см. [Пауль 1960: 264].

координации снабжения и урегулирования сбыта' (примеры подобного рода [Голуб 2001]). Особенно много таких шуточных искусственных аббревиатур встречается в научно-фантастических текстах: *НИИЧАВО* 'Научно-Исследовательский институт ЧАродейства и ВОлшебства' (ср. любопытные множественные толкования, приведенные в тексте повести братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу", в связи с дешифровкой данной аббревиатуры "обычным" носителем языка: "НИИЧАВО, – подумал я. – Научно-исследовательский институт... Чаво? В смысле – чего? Чрезвычайно Автоматизированной Вооруженной Охраны? Черных Ассоциаций Восточной Океании?"); *НИИФИГА* 'Научно-исследовательский институт физики галактик' (А. Закгейм. "Соперник времени"). Последняя аббревиатура стала очень популярной в современном (около)научном дискурсе; ср. современные расшифровки: 'НИИ ФИлологических Галлюцинаций', 'Научно-исследовательский институт философского истолкования государственного аппарата', 'Научно-исследовательский институт физических исследований феноменальных и грандиозных аномалий', 'Научно-исследовательский институт физических исследований гражданского атома' и др.; *ТПРУНЯ* 'Тройка По Распределению и Учету Необъяснимых Явлений' (ср. иную интерпретацию: "*ТПРУНЯ*, Эдик, это не Тройка По Распределению и Учету. *ТПРУНЯ*, Эдик, это Тройка По Рационализации и Утилизации"; см.: Братья Стругацкие. "Сказка о Тройке"). Очень много искусственных аббревиатур встречается, например, в текстах А. Шефнера (особенно его повестях "Девушка у обрыва", "Скромный гений", "Лачуга должника"). Таким образом, создание искусственных аббревиатур с художественными целями стало одним из популярных тексто- и стилеобразующих элементов некоторых жанров литературы (фэнтэзи, приключения, мистика).

Еще одна возможность – рассмотреть механизм ложной дезаббревиации как промежуточное явление между словообразованием и лексикой. О таких пограничных явлениях писал В.В. Виноградов в работе "Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии" [Виноградов 1975]. В данном случае слово (аббревиатура) приобретает второе, переосмысленное, значение, хотя формальный состав сохраняется. Можно ли говорить о словообразовании? Это лексико-семантическое явление, впервые отмеченное Виноградовым, в современной русистике изучается в двух направлениях. В рамках и постулатах семантического словообразования, развиваемого в Казанской лингвистической школе, основным критерием существования такого типа словообразования является мысль о диалектическом единстве формы и содержания в слове: одна форма должна соответствовать одному содержанию. Это приводит к признанию, что модификацию значения слов следует рассматривать как словообразовательный акт; новое значение омонимично старому. Данное направление, трактующее понятие "семантическое словообразование" предельно широко и с опорой на идеи А.А. Потебни и Л.В. Щербы, наиболее последовательно проводится в работах В.М. Маркова, Г.А. Николаева и их учеников [Марков 1984]; обобщение результатов, полученных при такой интерпретации семантического словообразования, было проведено на конференции "Языковая семантика и образ мира" (Казань, 7–10 октября 1997 г.), см. [ЯСОМ 1997].

Второе направление семантического словообразования развивается в работах Ю.Д. Апресяна [Апресян 1974], Д.Н. Шмелева [Шмелев 1964; 1973], Г.И. Кустовой и Е.В. Падучевой [Кустова, Падучева 1994]. Такой тип словообразования именуется семантической деривацией, что в рамках этого направления означает совокупность двух взаимосвязанных феноменов: как сам процесс образования нового значения, так и его конечный результат, причем из исследования сознательно устранена оппозиция синхронического и диахронического аспекта словообразования (акцентированного в Казанской школе).

При людической дезаббревиации формального преобразования шутливо раскодированной аббревиатуры не происходит, налицо только семантическое изменение, приобретение словом нового значения. В сознании носителя языка одновременно наличествуют обе семантические формы аббревиатуры: исходная, прототипическая, послужившая базой семантического раскодирования, и новообразованная (со специальным

игровым заданием). Игровой элемент появляется именно благодаря фоновой отсылке к своему прототипу. Людическая дезаббревиация вписывается в механизмы языковой игры. Как бы ни понимать языковую игру: как элемент разговорной речи [Земская, Китайгородская, Розанова 1983] либо как разновидность языкотворческой (лингвокреативной) деятельности говорящих индивидов [Гридина 1996], людическая дезаббревиация нацелена на игровую подмену денотата исходной аббревиатуры референтом с иными смысловыми границами и признаками, базирующимися на коннотативных (чаще всего иронических) элементах. Эти коннотативные семы могут значительно различаться у людей, однако сама игровая модель дезаббревиации имеет предписывающие функции для "играющего" (то есть говорящего), делает его homo ludens (человеком играющим; термин Й. Хейзинги). Языковая игра "принуждает" говорящего не выходить за смысловые пределы установленной коннотативной области и тем самым не нарушать правила языковой игры: каждый вступивший в игру становится заложником ее неписаных правил. В рамках когнитивной лингвистики уместно говорить о фреймовой структуре дезаббревиатурных раскодировок. Коннотативные признаки мотивируются, конечно, сетью отношений, связей референта с денотатом, существующих в сознании говорящих[14]. Ср., например, следующие коннотативные элементы, бытующие в русском языковом пространстве, денотата "институт" (как высшего учебного заведения или научно-исследовательского): *язык* (иностранный как предмет изучения), *мама, господь, проститутка, тело, алкоголик, идиот, гербарий, ученый, урод, душа, интеллигенция, "ящик"* (секретный, закрытый); денотат "политические партии": *коммунисты, ребята, сухари, стеклотара, социализм, система, Солженицын, Сахаров*; денотат "государственные, общественные организации": *безопасность, хищение, собственность, кодла, бандит, котельная, государство, министр, инспектор, бабки* 'деньги', *деньги, господа, бандит*. Именно поэтому свобода "игрока" (= говорящего) в процессе игровой интерпретации аббревиатур в некотором смысле задана и требует от него в принципе одного: чем более точные коннотативные семы какой-либо аббревиатуры говорящий может вычленить, вычислить, тем лучше он будет соблюдать правила языковой игры, тем больше у него "выигрыш", то есть тем больше у такой дезаббревиатуры шансов, что ее подхватят другие участники "игрового поля". Разумеется, "языковому игроку" в данном случае требуется острое языковое чутье, в какой-то мере сродни художественному.

Людическая дезаббревиация легко подвержена социально-политическому влиянию (об этом говорит множество дезаббревиатурных расшифровок, возникающих по случаю). Таким образом, нужно говорить об эластичности процесса людической дезаббревиации, конечным результатом которого будет сосуществование в языковом пространстве различных интерпретаций; ср. приведенные выше многочисленные шутливые раскодировки аббревиатуры *СССР* (к уже упомянутым добавлю: 'сидит Сталин среди развалин', 'соборная социально-справедливая партия'; в молодежном жаргоне возможно прочтение латинских букв кириллическими: 'Chicken, Chicken, Chicken (and) Potatoes' – букв.: 'цыпленок, цыпленок, цыпленок (и) картошка'), *КПСС* ('Коммунистическая партия Сергея Скворцова', 'капитулянтская партия самоликвидации социализма'), *ООН* 'Организация Объединенных Наций' → 'органы охраны народа' (на тюремных татуировках), *ОПС* 'Общественно-политический союз' → 'организованное преступное сообщество' (в Екатеринбурге). Такая дисперсия расшифровок, с одной стороны, полностью дискредитирует, развенчивает официальную аббревиатуру, показывает ее условность, с другой – способствует мгновенному возникновению, но и быстрому умиранию таких шутливых дезаббревиатурных номинаций.

---

[14] "Прагматические свойства любого сообщения зависят от прошлого опыта отправителя или получателя, от их нынешнего положения, от состояния их мыслей, от всех других обстоятельств, имеющих отношение к ним как индивидам" [Черри 1972: 260].

Механизм дезаббревиации оказывает влияние, по-видимому, и на другие области сокращения слов. Появляются намеренные стяжения, когда апеллативы "скрывают" аббревиатуру и в то же время для непосвященного они выступают как обычные слова: *шок* 'состояние сильного испуга или радости' и намеренное сокращение *шок* (от *шоколад*) с дополнительной псевдоаббревиацией 'шоколад отличного качества' (это стало брендом шоколадной фабрики "Россия"); местоимение *все* стало обозначать партию (*ВСЕ*) и расшифровываться 'возрождение, сила, единство' (партия А. Тарасова). Такая двойная маскировка апеллятивов и аббревиатур – новое явление в русском семантическом словообразовании.

В рамках заявленного статуса людической дезаббревиации можно дать ее лингвистическую дефиницию. Людическая дезаббревиация – это способ семантического словообразования (семантической деривации), в ходе и в результате которого рождается новая, индивидуальная или окказиональная, мотивировка аббревиатуры в пределах старой (звуковой, графической) формы с целью каламбура, иронии, языковой игры.

Если представить процессы дезаббревиации в русском языке в историко-языковой перспективе, то их диалектическое развитие мне представляется следующим:

1) шутливое переиначивание (внедрение новой мотивировки) единичных аббревиатур в эвфемистических целях в партийном жаргоне в годы подполья (типа *МК*);

2) новая (трансформированная) мотивировка партийно-советских аббревиатур в некоммунистической среде как языковой способ "борьбы" с новым семиотическим явлением (послереволюционные годы);

3) распространение такого механизма дезаббревиации на уголовно-лагерный жаргон в 30–40-е годы XX в. (так называемая комминуальная дезаббревиация); возможно, это мотивировалось обилием аббревиатур и сокращений в деловом стиле русского языка (в данном случае в пенитенциарной системе);

4) раскодирование аббревиатур как элемент криптолалического или фамильярно-игрового (аттрактивного) отношения к официальным аббревиатурным обозначениям предметов, вещей в военном жаргоне в годы Второй мировой войны;

5) людическое декодирование советских аббревиатур в годы "оттепели" (50–60-е годы XX в.) как следствие проникновения и внедрения этого механизма из лагерного и военного арго (жаргона) в городское просторечие (городской жаргон);

6) раскодирование наиболее типичных аббревиатур (особенно в области учебы, работы, названий учебных заведений) в среде молодежи как компонент формирующегося молодежного субстандарта в 60–70-е годы XX в.;

7) процессы декодирования аббревиатур государственных, политических, социальных реалий в годы перестройки (регрессивная дезаббревиация – преимущественно в публицистическом стиле русского языка; людическая – в профессиональном жаргоне и шутливо-фамильярной речи) как свидетельство экспрессивизации языка вследствие политики гласности, открытости (свободы слова) и поляризации общества.

Таким образом, можно отчетливо видеть значительное расширение процессов дезаббревиации в русском речевом дискурсе XX в.: от маргинальных групп, социолектов (партийные подпольные ячейки, лагерный закрытый мир) – до общего употребления. Изменилась и функция таких форм: табуистический принцип сменился чисто игровым, перейдя во власть смехового мира; от эвфемизации – к своей противоположности, дисфемизации.

Аббревиация и дезаббревиация всегда шли рука об руку в языке, составляя диалектическую оппозицию двух процессов: словообразовательной номинации (семасиологический аспект) и деноминации (ономасиологический аспект).

Итак, дезаббревиация имеет две разновидности: регрессивную и людическую.

Регрессивная дезаббревиация представляет собой механизм газетно-публицистического дискурса и нацелена на обновление внутренней формы аббревиатуры в стилистических или прагматических (политико-идеологических) целях. Такой тип дезаббревиации является принадлежностью книжных стилей русского языка, и он, в конечном счете, связан с поддержанием стабильности языковой системы.

Другая разновидность дезаббревиации, людическая, направлена на коренное преобразование референциальных связей аббревиатуры; этот тип дезаббревиации по своей интенции противоположен регрессивной дезаббревиации, поскольку ориентирован на смещение привычных референциальных связей и радикальное преобразование сигнификата.

Людическая дезаббревиация представляет вторичное лингвистическое явление, служа лишь "тенью" аббревиации, поэтому она не считалась самостоятельной областью описания. Однако сейчас ясно, что перед нами новый лингвистический объект: это языковые единицы, существующие в речевом (некодифицированном) употреблении. Спецификой данного объекта является то, что дезаббревиатуры не существуют в языке автохтонно, автономно, но появляются в речевой деятельности в процессе коммуникации с заданной (иронической) целью. Дезаббревиатурные образования, следовательно, не первичны, а вторичны, ибо их статус поддерживается только наличием в языковом континууме аббревиатур, послуживших источником этой вторичной номинации (деноминации). Они (дезаббревиатуры) представляют собой своеобразные "эхо-слова" с особыми функционально-семантическими и прагматическими свойствами (языковая игра, пародия, травестирование).

Дезаббревиация – языковой феномен в русском языке, возникший и мощно развившийся в XX в. Возникнув в первые десятилетия (известны лишь единичные примеры) в замкнутых социально-политических (полу)нелегальных группах с целью табуирования, в конце XX в. дезаббревиация представляла собой достаточно развитый и разработанный семантический механизм, принятый и усвоенный в русском языковом и культурно-ментальном пространстве. "Джинн" дезаббревиации был выпущен из бутылки на волю, и едва ли найдется сейчас сила, которая бы заставила его вернуться обратно!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Азимов, Щукин 1999 – *Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин.* Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков). СПб., 1999.

Акты 1868 – Акты, собранные Кавказскою Археографическою комиссиею. Тифлис, 1868. Т. 4.

Акты 1870 – Акты, собранные Кавказскою Археографическою комиссиею. Тифлис, 1870. Т. 11.

Апресян 1974 – *Ю.Д. Апресян.* Лексическая семантика. М., 1974.

Балдаев 1992 – Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический портрет советской тюрьмы) / Авт.-сост. Д.С. Балдаев, В.К. Белко, И.М. Исупов. М., 1992.

Васильева 1995 – *Н.В. Васильева, В.А. Виноградов, М.А. Шахнарович.* Краткий словарь лингвистических терминов. М., 1995.

Вежбицка 1993 – *А. Вежбицка.* Антитоталитарный язык в Польше: механизмы языковой самообороны // ВЯ. 1993. № 4 (впервые статья в более развернутом варианте опубликована: A. Wierzbicka. Antitotalitarian language in Poland: Some mechanisms of linguistic self-defence // Language in society. 1990. V. 19. № 1.

Виноградов 1975 – *В.В. Виноградов.* Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии // В.В. Виноградов. Исследования по русской грамматике. Избранные труды. М., 1975.

Виноградов 1983 – *С.И. Виноградов.* О социальном аспекте лексической нормы (Общественная оценка аббревиации и аббревиатур в 20-х – начале 30-х годов) // Литературная норма в лексике и фразеологии. М., 1983.

Гак 1998 – *В.Г. Гак.* Языковые преобразования. М., 1998.

Геворгян 1980 – *В.М. Геворгян.* Организованная преступность в США. М., 1980.

Голуб 2001 – *И.Б. Голуб.* Стилистика русского языка. 3-е изд., испр. М., 2001.

Гридина 1996 – *Т.А. Гридина.* Языковая игра: стереотип и творчество. Екатеринбург, 1996.

Ермакова 1984 – *О.П. Ермакова.* Номинации в просторечие // Городское просторечие. Проблемы изучения. М., 1984.

Ермакова 1999 – *О.П. Ермакова, Е.А. Земская, Р.И. Розина.* Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона / Под общим руководством Р.И. Розиной. М., 1999.

Журавлев 1982 – *А.Ф. Журавлев*. Технические возможности русского языка в области предметной номинации // Способы номинации в современном русском языке. М., 1982.
Земская 1979 – *Е.А. Земская*. Русская разговорная речь: Лингвистический анализ и проблемы обучения. М., 1979.
Земская 1992 – *Е.А. Земская*. Словообразование как деятельность. М., 1992.
Земская, Китайгородская, Розанова 1983 – *Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова*. Языковая игра // Русская разговорная речь. М., 1983.
Карцевский 1923 – *С.И. Карцевский*. Язык, война и революция. Берлин, 1923.
Карцевский 1965 – *С. Карцевский*. Об асимметричном дуализме языкового знака // В.А. Звегинцев. История языкознания в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1965.
Кожевникова 1998 – *Н.А. Кожевникова*. Язык революционной эпохи в изображении писателей русского зарубежья // Русистика сегодня. М., 1998. № 1–2.
Кожевникова 2003 – *Н.А. Кожевникова*. Аббревиатуры в русской литературе XX века // Русский язык сегодня. Вып. 2. Активные языковые процессы конца XX века. М., 2003.
Конди 1999 – *Нэнси Конди*. Графика на теле. Татуировки и крах коммунизма // Новое литературное обозрение. М., 1999. № 39.
Краткий справочник 1995 – Краткий справочник по современному русскому языку / Под ред. П.А. Леканта. М., 1995.
Кустова, Падучева 1994 – *Г.И. Кустова, Е.В. Падучева*. Словарь как лексическая база данных // ВЯ. 1994. № 4.
Лотман 1996 – *Ю.М. Лотман*. Внутри мыслящих миров: Человек – Текст – Семиосфера – История. М., 1996.
Максимовский 1991 – *Э. Максимовский*. Империя страха. М., 1991.
Марков 1984 – *В.М. Марков*. О семантическом способе словообразования в русском языке // Русское семантическое словообразование. Ижевск, 1984.
Немченко 1985 – *В.Н. Немченко*. Основные понятия словообразования в терминах. Красноярск, 1985.
Николаев – *Г.А. Николаев*. "Сознательное отношение к языку" и словообразование // http: // kazanlinguist.narod.ru/works.htm.
Пауль 1960 – *Г. Пауль*. Принципы истории языка. М., 1960.
Под стягом России 1992 – Под стягом России: Сборник архивных документов. М., 1992.
Ревзина 1998 – *О.Г. Ревзина*. Окказиональное слово в поэтическом языке // Словарь поэтического языка Марины Цветаевой в четырех томах. Т. 2. М., 1998.
Розенталь, Теленкова 1995 – *Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова*. Словарь-справочник лингвистических терминов. 3-е изд., испр. и доп. М., 1995.
Росси 1991 – *Ж. Росси*. Справочник по ГУЛагу. В 2 частях. М., 1991.
РЯСО 1968 – Русский язык и советское общество. Словообразование современного литературного русского языка. М., 1968.
Санников 1999 – *В.З. Санников*. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.
Стрекоза 1883 – Стрекоза. М., 1883. № 25.
Хейзинга 1997 – *Й. Хейзинга*. Homo ludens. М., 1997.
Черри 1972 – *К. Черри*. Человек и информация. М., 1972.
Шмелев 1964 – *Д.Н. Шмелев*. Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964.
Шмелев 1973 – *Д.Н. Шмелев*. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.
ЯСОМ 1997 – Языковая семантика и образ мира: Тез. Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казан. ун-та, 7—10 окт. 1997 г. Казань, 1997.
Capelli 1967 – *A. Capelli*. Lexicon Abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine et italiane. 6-th ed. (repr.), Milano 1967 (1899).
Comrie, Stone 1978 – *B. Comrie, G. Stone*. The Russian language since the Revolution. Oxford, 1978.
Fitzpatrick 1999 – *S. Fitzpatrick*. Everyday stalinism. Ordinary life in extraordinary times: Soviet Russia in the 1930s. New York; London. 1999.
Jakobson 1921 – *R. Jakobson*. Vlív revoluce na ruský jazyk. Praha, 1921.
Pelzer 1966 – *A. Pelzer*. Abréviations latines médiévales: Supplément au Dizionario di abbreviature latine ed italiane de Adriano Cappelli. Louvain; Paris, 1966.
Mazon 1920 – *A. Mazon*. Lexique de la guerre et de la révolution en Russie (1914–1918). Paris, 1920.
Ryazanova-Clarke 1999 – *L. Ryazanova-Clarke*. The Russian language today. London, 1999.
Ward 1965 – *D. Ward*. The Russian language today. London, 1965.

№ 1 2005

© 2005 г. Д.А. РОМАНОВ

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

В статье рассматриваются проблемы способности человеческого сознания к объединению частных вариантов названий эмоциональных состояний. Разнообразные лексические средства, обозначающие в русском языке эмоции, систематизируются на основе двадцати фундаментальных эмоциональных модальностей. Психолингвистический эксперимент классификационного типа доказывает реальность эмоциональной идентификации. Распределение респондентами сплошного массива из двадцати двух названий эмоций между типологическими группами и их анализ в поле сильных, слабых и примыкающих связей фиксирует 60–80% совпадений частных мнений каждого респондента.

Любое исследование эмоциональности в языкознании и паралингвистике наталкивается на две весьма значительные проблемы при группировке материала (не считая вопросов, связанных с базой для типологии эмоций): 1) модальная атрибуция эмоциональности, 2) эмоциональная идентификация. Первой из них посвящено множество собственно психологических изысканий и достаточно убедительно доказано, что "эти явления (эмоции. – *Д.Р.*) не только легко обнаруживаются, но и довольно тонко понимаются" [Вилюнас 1979: 5]. Таким образом, атрибуция эмоциональных состояний в экспериментах – и психологических, и лингвистических – считается разумеющейся a priori и вполне объективной, даже если они названы условно, но "признаны таковыми большинством испытуемых" [Хомская, Батова 1998: 74].

Вторая проблема остается в тени, но она не менее важна. В каком отношении находятся эмоциональные вариации и может ли индивидуально (и при этом объективно) решаться вопрос о той грани, которая отделяет близкие или относительно близкие, но разные эмоции от видоизменений (часто лишь в сугубо ситуативно-личностной сфере) одной и той же эмоции? Может ли одна и та же модальность именоваться по-разному и насколько это осознается участниками психолингвистических экспериментов с эмоциональностью, т.е. носителями языка?

Ответить на поставленные вопросы возможно лишь с помощью специально направленного исследования индивидуальной способности к эмоциональной идентификации, т.е. отождествлению разновидностей одной эмоции и дифференциации вариантов разных эмоций. Это логично осуществить с так называемыми "именами эмоций", т.е. разнообразными принятыми в языке названиями эмоциональных модальностей, выписав их, например, из Словаря синонимов в виде уже готовой группировки к базовой модальности с последующим совмещением списков. Разумеется, такое исследование не может дать безоговорочного подтверждения права на личностную эмоциональную идентификацию. Но, во-первых, его нет и у признанной всеми в качестве объективной эмоциональной атрибуции: здоровые испытуемые отбирают эмоциональный стимульный материал лишь в большинстве, но не в абсолюте – от 60 до 100% [Хомская, Батова 1998: 68]. Во-вторых, необходимо учитывать качественную (по факторным признакам-составляющим) близость эмоциональных модальностей: *счастье* и *радость–удовольствие, интерес* и *удивление* и т.п. Наконец, важно выяснить, как дискретные сущности, эмоциональные модальности на своей периферии могут пересекаться друг с другом. Например, эмоции *стыд* и *страх* в ряду ***стыд*** – *стеснение* –

застенчивость – робость – боязливость – ***страх***. Перечисленные причины делают определенную (незначительную) погрешность закономерной.

Изучение имен эмоций, важнейшего из лексических средств выражения эмоциональных состояний в русском языке, психолингвистическими методами закономерно предполагает два этапа:

1) определение отношений между названиями эмоций разных модальностей (классификация слов-названий фундаментальных эмоций);

2) определение отношений между названиями эмоций одной модальности (группировка слов-синонимов к названиям фундаментальных эмоций).

Предпринятый нами эксперимент является вторым этапом общего исследования. Предварительно был произведен отбор синонимов к названиям двадцати фундаментальных эмоций, которые входят в факторную классификацию [Романов 1998]. Источником синонимов явился двухтомный Словарь синонимов русского языка [СС 1970–1971]. Полученный список был проверен по Указателю второго выпуска Нового объяснительного словаря синонимов [НСС 1999–2000]. С помощью объяснительной части названного словаря (зона значения) удалось снять некоторые разночтения. В частности, слово *паника* было исключено из синонимического ряда *страх – ужас – боязнь – трепет – паника – жуть* как обозначающее не столько эмоцию человека, сколько коллективное состояние [НСС 1999–2000, вып. 1: 408]. Слово *мания* не вошло в синонимический ряд *любовь – влюбленность – страсть – увлечение*, т.к. является экспрессивным синонимом к другому значению слова *любовь* (от *любить 2* – "чувствовать склонность, тяготение к чему-либо") [НСС 1999–2000, вып. 2: 180–185]. Использовались также сведения из зон "сочетаемость" и "дериваты". Последние особенно часто, потому что доминантами эмоциональных цепей в Новом словаре синонимов, как правило, являются глаголы или прилагательные (*стыдиться, радоваться, храбрый, виноватый*), а существительные-названия эмоций рассматриваются как производные в той же статье.

Приведем итоговый список зафиксированных нами синонимов, выделив доминанты – названия фундаментальных эмоций – подчеркиванием:

1) Удивление, изумление

2) Интерес, заинтересованность

3) Решительность, твердость

4) Любовь, влюбленность, страсть, увлечение

5) Тревога, беспокойство, волнение, смятение

6) Страх, ужас, боязнь, трепет, жуть

7–8) Горе – страдание, горесть, мука, горечь, мучение

9–10) Стыд – застенчивость, стеснение, робость, стеснительность, стыдливость

11) Винá, грех

12–13) Презрение – пренебрежение, игнорирование, третирование

14–15) Гнев – ярость, раздражение, бешенство

16–17) Отвращение – омерзение, гадливость

18) Счастье, блаженство, удача

19–20) Радость – удовольствие, отрада, наслаждение, ликование, блаженство, веселье

Использовать в эксперименте все приведенные группы нецелесообразно из-за их многочисленности (исключая повторяющиеся, они составляют 52 названия эмоциональных модальностей): респондентам в таком случае невозможно будет в равной степени подробно оценить, сопоставить и расклассифицировать предложенный словесный массив в одной плоскости. Имеется в виду единая анкета, на которой необходимо представить все группы эмоций и зафиксировать все слова (без буквальной группировки карточек с написанными на них словами, как это делалось в известных классификационных экспериментах Р.М. Фрумкиной [Фрумкина 1984]). Поэтому была сделана выборка синонимических рядов, наиболее показательных для изучения, по двум принципам: во-первых, представленных большим количеством слов и, во-вторых, имеющих доминанты, относящиеся к разным факторным группам эмоций. Это позволило в максимальной степени объективно оценить идентифицирующие способности субъекта, т.е. свойственную/несвойственную ему возможность отождествлять вариации эмоций одной модальности и различать эмоции разных модальностей. Степень представленности у респондентов способности идентифицировать эмоции (на шкале – от нулевой до абсолютной) тоже может быть выявлена при таком отборе стимульного материала для эксперимента. Двумя вышеуказанными принципами ограничились слова-синонимы для эксперимента (7 рядов из словарных 20-и). Представим их в факторной систематизации:

I. Факторные признаки: "активность", "принятие", "неудовольствие".
Эмоции (1 ряд): *тревога, беспокойство, волнение, смятение.*

II. Факторные признаки: "пассивность", "принятие", "неудовольствие".
Эмоции (2 ряда): *страх, ужас, боязнь, трепет, жуть;*
стыд, стеснение.

III. Факторные признаки: "активность", "отталкивание", "неудовольствие".
Эмоции (2 ряда): *гнев–ярость, раздражение, бешенство.*

IV. Факторные признаки: "пассивность", "принятие", "удовольствие".
Эмоции (2 ряда): *радость–удовольствие, отрада, ликование, веселье, наслаждение, блаженство.*

Таким образом, в анкеты вошло 22 слова, которые были расположены произвольно – с нарушением синонимических модальных и факторных связей. Респондентам предлагался список слов в такой последовательности: 1) *отрада*; 2) *раздражение*; 3) *тревога*; 4) *боязнь*; 5) *наслаждение*; 6) *стыд*; 7) *веселье*; 8) *беспокойство*; 9) *ужас*; 10) *ярость*; 11) *волнение*; 12) *ликование*; 13) *смятение*; 14) *трепет*; 15) *бешенство*; 16) *удовольствие*; 17) *стеснение*; 18) *радость*; 19) *жуть*; 20) *блаженство*; 21) *страх*; 22) *гнев*. Их нужно было объединить в группы, количество и состав которых определялись самими респондентами по методике свободной классификации, варианты которой разработаны в США Дж. Миллером, в России Р.М. Фрумкиной. Кластер-анализ Миллера и классификационные эксперименты Фрумкиной вошли в активный арсенал методов современной психолингвистики (об этом см. [Сахарный 1989: 100–103]).

Дж. Миллер справедливо указывал, что сама форма распределения материала респондентами иллюстрирует важнейшие смысловые связи, свойственные изучаемым явлениям в реальности [Miller 1971]. Респондентами в нашем эксперименте были 16 студентов I курса факультета русской филологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого (сентябрь 2000 г.), еще не знакомых с систематической лингвистикой и психологией. Их восприятие эмоциональной семантики поэтому вполне можно определить как среднестатистическое.

Разумеется, столь незначительное количество информантов (в сравнении с массивом из 100–50 опрошенных в классических экспериментах Дж. Миллера и Р.М. Фрум-

киной) могло повлиять на степень достоверности полученных результатов. Однако, с другой стороны, это уменьшение делает результаты более наглядными и сопоставимыми между собой: "Сжатая информация обычно более наглядна, но при этом некоторые детали неизбежно теряются" [Фрумкина 2001: 68]. На данном этапе перед нами стоит глобальная задача – доказать наличие у респондентов способности идентифицировать варианты эмоций с базовыми модальностями, проследив (по возможности максимально четко и наглядно) механизмы ее функционирования. Шестнадцати респондентов для этого достаточно. Тонкости идентификационной способности, бесспорно, не менее важны, но их изучение – дело ближайшей перспективы и пока не входит в сферу рассмотрения.

Основаниями для объединения в группы слов, называющих эмоции, большинство респондентов сделали доминирующие модальности (эмоциональные доминанты), т.е. те слова, которые Словарь синонимов выносит в заглавие словарных статей. Факторная классификация эмоций объединяет эти же модальности как фундаментальные, выстраивая систематизацию эмоциональных состояний именно на их основе. В качестве доминант анкеты указывают эмоции: *страх* (7 раз), *волнение* (5 раз), *стыд* (5 раз), *гнев* (5 раз), *радость* (4 раза), т.е. все, кроме *удовольствия*, из предложенных фундаментальных эмоций. Значит, обычное сознание неискушенных в психологии людей в подавляющем большинстве случаев способно определить "основной вид" эмоции, т.е. вычленить из ряда доминанту. Уже это первоначально обосновывает как надежную процедуру эмоциональной идентификации, предлагаемую нами для лингвистических исследований подобного рода семантики.

Следует отметить, что определенная часть респондентов в качестве исходной базы для группировки эмоций выбрала знак: "положительные – отрицательные", "позитивные – негативные" (5 человек), но внутри этих двух групп респондентам все равно приходилось делать дополнительные рубрикации, уже связанные с модальностью эмоций и доминантой (при этом некоторые из опрашиваемых обосновывали внутреннее деление "положительных" и "отрицательных" эмоций, а некоторые – нет). Таким образом, синонимия среди предложенных слов была сознательно или бессознательно зафиксирована всеми опрошенными, которые сумели провести эмоциональную идентификацию и объединить синонимы в группы – либо изначально, либо через посредство объединения модальностей эмоций одного знака.

Как показывают статистические расчеты, среднее количество групп, сформированных в анкетах, – 5; нераспределенной осталась в среднем 1 эмоция (см. таблицу № 1).

Таблица 1

Статистические сведения о распределении эмоциональных синонимов респондентами

№ анкеты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	В среднем
Кол-во групп	6	6	3	6	7	5	5	4	5	3	4	5	7	8	3	6	~5,2 группы
Не вошло в группы	–	2	1	–	–	5	–	1	–	–	2	–	1	2	–	3	~1,06 эмоции

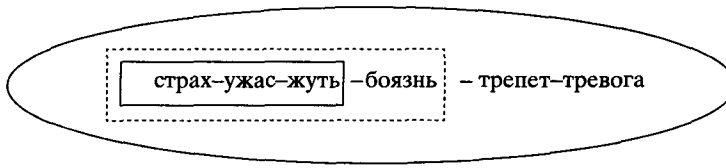
Наибольшие затруднения в идентификации вызвали эмоции *стыд* (4 анкеты), *отрада* (3 анкеты), *раздражение* (2 анкеты) – остальные нераспределенные эмоции встречаются по одному разу. Вероятнее всего, это связано с малочисленностью синонимического ряда: *стыд* и *стеснение* (2 члена), *гнев, раздражение, бешенство* (3 чле-

на), – в то время как ряд с доминантой *тревога* включает 4 члена, а *страх* – 5 членов. Малочисленные ряды (особенно *стыд, стеснение*) при неидентификации второго компонента оказываются вне групп, т. е. единичная, ни с чем не идентифицированная эмоция не распределяется, что также свидетельствует в пользу идентификационных способностей респондентов.

Теперь проанализируем представленные в анкетах синонимические ряды названий эмоций, опираясь на доминанту. Связи слов будем определять по моделям, предлагаемым в уже апробированных методиках данного типа (например, анализе "имен цветов" [Фрумкина 1983]). Самые частотные связи с доминантами ("ядерными словами", по Фрумкиной) – сильные, менее частотные – слабые, редкие – примыкающие.

Наиболее обширный ряд с доминантой *страх* (факторные признаки "пассивность", "принятие", "неудовольствие") объединяет сильными связями названия эмоций: *страх, ужас, жуть* (14 анкет), т.е. 88% респондентов объединили эти слова в одну группу. Слабая связь – со словом *боязнь* (9 человек; 56% фиксаций); примыкающие связи: *трепет* (2 человека; 12%); *тревога* (2 человека; 12%). Если данные эмоции включались в более обширную группу отрицательных, то объединялись с рядами (по доминанте): *тревога, стыд, гнев*. Таким образом, ряд идентифицирован практически всеми респондентами: его ядро – слова *страх, ужас, жуть*; промежуточная зона – *боязнь*; периферия – *трепет, тревога*. Периферия пересекается с эмоциями группы *тревога* (факторные признаки: "активность", "принятие", "неудовольствие"), значит, на периферии нивелируется факторный признак "пассивность", но четко срабатывают "принятие" и "неудовольствие". Слабость в сознании носителей русского языка факторного признака "активность" – "пассивность" эмоции по сравнению с двумя другими ("удовольствие–неудовольствие", "принятие–отталкивание") подтверждается всеми психолингвистическими исследованиями эмоциональности в языке. Указанные соотношения можно представить графически, изобразив сильные связи прямоугольником из сплошных линий, слабые – пунктирным прямоугольником, примыкающие – овалом.

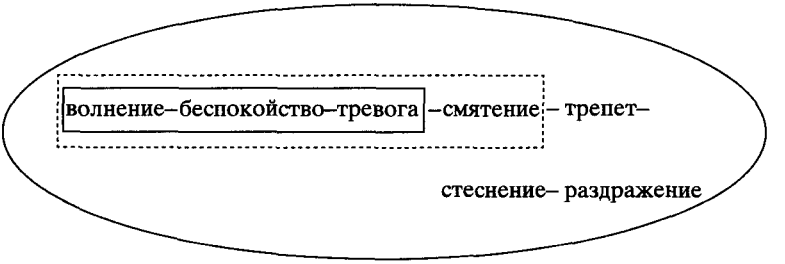
Схема 1



Эмоции факторной группы "активность", "принятие", "неудовольствие" с доминантой *тревога* объединяют в анкетных листах следующие модальности: сильные связи – *волнение, беспокойство* (15 анкет; 93% ответов) и *тревога* (13 анкет; 81% фиксаций); слабая связь – *смятение* (10 анкет; 63% предпочтений); примыкающие связи – *трепет* (6 анкет; 38% выборов), *стеснение* и *раздражение* (по 3 выбора, т.е. по 19%). Ядро модальности определено подавляющим большинством опрошенных (13, т.е. 81%).

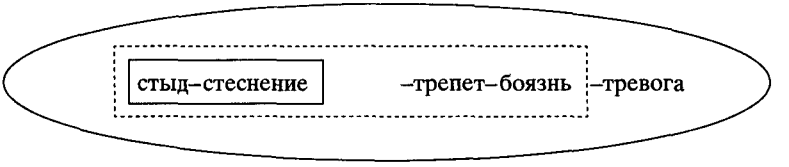
Периферия данной группы пересекается с группой, где доминанты – *страх* и *стыд* (эмоции *трепет* и *стеснение*). Это объясняется тем, что они [группы] имеют 2 общих факторных признака "принятие", "неудовольствие" и один различительный – "активность" –"пассивность". Пересечение наблюдается и группой доминанты *гнев–ярость* (эмоция *раздражение*) по причине общности факторных признаков "активность", "неудовольствие" и различия в "принятии" и "отталкивании". Представим данную группировку названий эмоций в схеме:

Схема 2



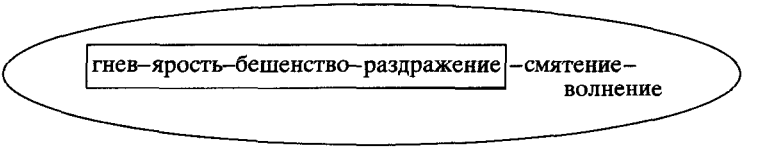
Самую малочисленную синонимическую группу: *стыд* и *стеснение* идентифицировали 8 респондентов (50%). Эту связь можно считать сильной, учитывая, что *стыд* не сгруппирован в 4-х анкетах. Слабые связи соединяют их с группой *страха* (эмоции: *трепет* и *боязнь*, соответственно 5 и 4 выбора, т.е. 31% и 25%), а также с группой *волнения* (эмоция – *тревога*, 3 выбора, 19%). Схема связей:

Схема 3



Слова *гнев* и *ярость* являются доминантами среди названий эмоций факторной группы "активность", "отталкивание", "неудовольствие". *Гнев* и *ярость* объединили вместе 13 опрошенных (81%). К этой группе отнесены также *бешенство* (12 респондентов – 75%) и *раздражение* (11 респондентов – 69%). Эти связи сильные. Данная группа идентифицирована в своих сильных связях значительно лучше других: ее части очень редко отнесены к другим группам (не более чем в 2–3 анкетах). Поэтому слабых связей она не имеет, а примыкают к ней – *смятение* и *волнение* (по 2 анкеты, 12%). Примыкающие связи объясняются идентичностью групп *гнев–ярость* и *тревога* по факторным признакам "активность", "неудовольствие". Схема связей:

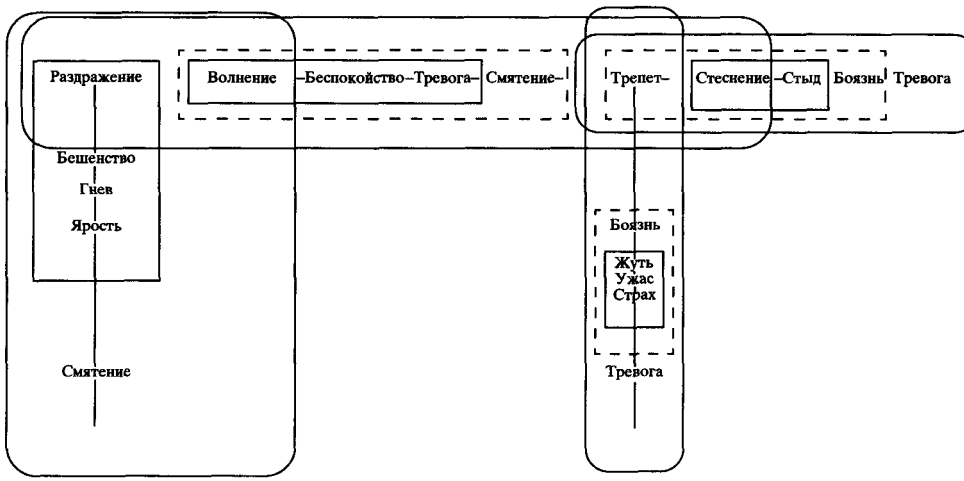
Схема 4



Итак, рассмотренные выше группы эмоций, объединенные респондентами в ходе психолингвистического эксперимента, имеют цельные ядерные (сильные) связи, относительно устойчивые слабые и размытые примыкающие. Последние в основном являются зоной пересечения эмоциональных синонимических групп. Реже в зонах пересечений могут оказываться объекты слабых и даже сильных связей (например, *раздражение, волнение, тревога, стеснение*). Экспериментом выявлено пересечение на периферии групп со следующими доминантами:

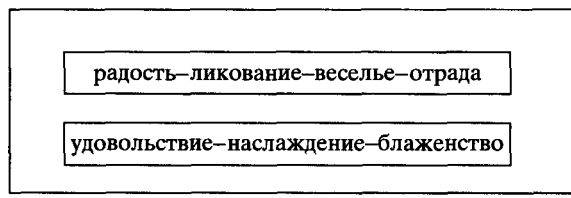
1) *страх* и *тревога*; 2) *тревога* и *стыд*; 3) *стыд* и *страх*; 4) *гнев–ярость* и *тревога*. Схематически эти связи выглядят так (см. схему 5).

Схема 5



Эмоции с доминантами *радость* и *удовольствие* группировались респондентами следующим образом: за исключением *отрады*, которая не распределена тремя респондентами, остальные образуют тесное единство. 7 респондентов объединили эмоциональные ряды *радость* и *удовольствие* целиком (44%), 9 респондентов представили их отдельно (56%). Сильную связь эмоций *радость, ликование, веселье* отметили 14 опрошенных (88%), эмоцию *отрада* отнесли к этому ряду 11 респондентов (69%). Как сильную следует охарактеризовать и связь в группе *удовольствие, наслаждение, блаженство* (объединены 14 респондентами, т.е. 88%). Вне зависимости от обособления этих двух групп друг от друга, они не пересекаются с другими: их составляющие не входят в иные эмоциональные ряды, и сами эти группы не включают "инородных" (по Словарю синонимов) компонентов. Респонденты, представляющие их как единство, в основу общности клали положительный знак (с точки зрения факторной классификации эмоций, это признаки: "удовольствие" и частично "принятие"). Других положительных эмоций в предложенном респондентам списке не было, именно поэтому ряды с доминантами *радость* и *удовольствие* не имеют пересечений с прочими рядами. По научной типологии эмоций, *радость – удовольствие* – одна модальность (это "почувствовали" 11 респондентов, т.е. 69% опрошенных). Схематически связи слов, называющих эмоции с доминантами *радость–удовольствие*, по данным эксперимента, представляются так:

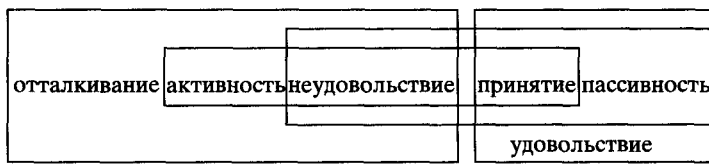
Схема 6



Взаимопересечения синонимических групп лексем, предложенных респондентам, можно рассчитать теоретически на основании факторных признаков соответствую-

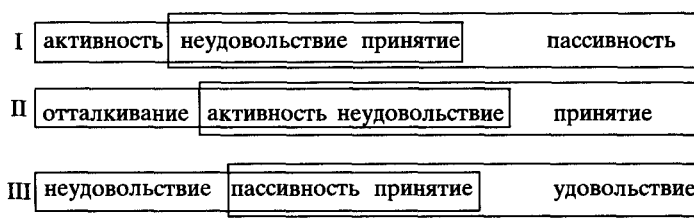
щих эмоций. Таких факторных признаков 3, следовательно, пересекаться на периферии будут синонимические группы слов, называющих эмоции, имеющие 2 интегральных и 1 дифференциальный факторный признак (это и показал проведенный эксперимент). Респондентам были предложены эмоции, составляющие в научной классификации 4 группы по набору факторных признаков: I "активность", "принятие", "неудовольствие"; II "пассивность", "принятие", "неудовольствие"; III "активность", "отталкивание", "неудовольствие"; IV "пассивность", "принятие", "удовольствие". I группа – эмоции с доминантой *тревога*; II группа – эмоции с доминантами *страх* и *стыд* (т.е. 2 синонимические группы по модальностям эмоций образуют одну факторную, что сузит круг возможных пересечений факторных групп эмоций). III группа – эмоции с доминантой *гнев–ярость* (это одна модальность); IV группа – эмоции с доминантой *радость–удовольствие* (одна модальность). Теоретически возможны следующие общие связи этих четырех групп:

Схема 7



Из этой схемы вычленяем теоретически возможные пересечения двух факторных признаков, приводя пересекающиеся группы попарно:

Схема 8



Теперь приведем эти факторные схемы к модальным (по доминантам):

			<u>группа *страх*</u>
I	группа *тревога*	:	группа *стыд*

(о том, что модальные группы *страх* и *стыд* входят в одну факторную группу, говорилось выше);

II	группа *гнев–ярость*	:	группа *тревога*
III	<u>группа *страх*</u>	:	группа *радость–удовольствие*
	группа *стыд*		

Эти теоретические расчеты подтверждаются проведенным психолингвистическим экспериментом: пересечения I и II отмечены большинством респондентов. Разница лишь в том, что они объединяли модальности (а не факторы), которых в I схеме 3, а не 2; т.е. пересечений модальностей – 3, а не одно. Значит, схемы I и II включают 4 возможных пересечения синонимических групп: 1) *страх* и *стыд*; 2) *тревога* и *страх*; 3) *тревога* и *стыд*; 4) *гнев–ярость* и *тревога*.

Теоретически вполне возможная схема III респондентами не зафиксирована. Модальная группа *радость–удовольствие* оказалась совершенно локальной, и с группами *стыд* и *страх* не пересекалась. Это связано с тем, что они отличаются хотя и одним, но весьма существенным (сверхзначимым) для обыденного сознания факторным признаком – "удовольствие–неудовольствие". Сам он, как показывают психолингвистические эксперименты, носителями языка не осознается, но определяет знак эмоции ("положительная" или "отрицательная"), который составляет ядро наивной картины эмоций русских людей. Если различие эмоций по "активности–пассивности" подчас нивелируется обычным сознанием (т.к. этот признак не столь значим в наивной эмоциональной картине) и отличающиеся только им эмоциональные синонимические группы пересекаются, то противопоставленность названий эмоций по признаку "удовольствие–неудовольствие" слишком значима для носителей языка и не позволяет соответствующим эмоциональным группам пересекаться.

Таким образом, психолингвистический эксперимент по группировке синонимичных названий эмоций доказывает определенную специфичность их наивной картины в сравнении с научной. Для обычного сознания централен знак эмоции, соответствующий факторным признакам "удовольствие–неудовольствие" и отчасти "принятие–отталкивание"; и менее значима (часто неосознаваема и нивелируема) "активность–пассивность". В научном же представлении все три факторных признака равнозначны.

В целом же проведенный эксперимент показывает, что наивная эмоциональная картина симметрична научной, хотя и более проста по сравнению с ней. Обычные носители языка почти безошибочно идентифицируют синонимические эмоциональные модальности, объединяют их в группы и противопоставляют эти группы другим, в которые собраны иные, не схожие с первыми, эмоциональные модальности. Идентифицируя эмоции, респонденты в полном объеме не осознают составляющие модальности факторные признаки, но подсознательно пользуются ими при группировках и классификациях эмоций.

Эксперимент по эмоциональной идентификации дает значительный разброс успешности (для различных групп эмоций), но ее порог никогда не оказывается ниже пятидесятипроцентного уровня: в среднем 60–80%. Нечетко идентифицируются эмоции смежных факторных групп, отличающихся, как правило, одним признаком (чаще всего "активностью – пассивностью"): например, *волнение – беспокойство – тревога – смятение* и *страх – ужас – боязнь – трепет*. Однако на эмоциональную идентификацию личностного уровня можно вполне объективно опираться при анализе эмоционального материала.

Таким образом, способность приведения лексического выражения нефундаментальной эмоции (неосновного ее вида, вариации) к одной из фундаментальных без значительных потерь имеется у каждого человека, владеющего русским языком как родным. Эмоциональная идентификация может быть применена к любым непосредственным лексическим характеристикам (именам) эмоций: 1) языковым лексемам-синонимам фундаментальных эмоций (они являлись объектом описанного выше эксперимента); 2) метафорическим названиям модальностей (типа *смутное настроение*); 3) авторским образным их определениям (типа *нашло чувство обновления* – Л.Н. Толстой); 4) эмоциональным окказионализмам (например, *бермуторно на сердце* – В.С. Высоцкий); 5) словам, производным от названий невербальных средств выражения эмоций (типа: *смешно, плачевно, улыбчивое состояние*) и т.д.

Значит, эмоция закономерно может называться по-разному, имея при этом базовый вид (базальный – в психологической теории) – основную модальность. Данная ее особенность каждой эмоции зафиксирована сознанием носителей языка, что проявляется в процедуре эмоциональной идентификации. Последняя весьма важна для анализа эмоционального материала, особенно в художественных текстах, где есть авторские имена эмоций, которые, следовательно, можно свести к базовой модальности, полагаясь только на частное языковое и психологическое чутье читателя. Обоснован-

ность применения при этом метода эмоциональной идентификации снимает с интерпретатора обвинение в субъективизме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Вилюнас 1979 – *В.К. Вилюнас*. Эксперимент и теория в психологии эмоций // Я. Рейковский. Экспериментальная психология эмоций. М., 1979.

НСС 1999–2000 – Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим рук. Ю.Д. Апресяна. Вып. первый и второй. М., 1999–2000.

Романов 1998 – *Д.А. Романов*. Эмоционально-семантические параметры фонетической системы современного русского языка. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Новгород, 1998.

Сахарный 1989 – *Л.В. Сахарный*. Введение в психолингвистику. Л., 1989.

СС 1970–1971 – Словарь синонимов русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой. В 2-х томах. Л., 1970–1971.

Фрумкина 1983 – *Р.М. Фрумкина*. Психолингвистические методы изучения семантики // Психолингвистические проблемы семантики. М., 1983.

Фрумкина 1984 – *Р.М. Фрумкина*. Цвет, смысл, сходство: Аспекты психолингвистического анализа. М., 1984.

Фрумкина 2001 – *Р.М. Фрумкина*. Психолингвистика. М., 2001.

Хомская, Батова 1998 – *Е.Д. Хомская, Н.Я. Батова*. Мозг и эмоции. Нейропсихологическое исследование. М., 1998.

Miller 1971 – *G.A. Miller*. Empirical method in study of semantics. Cambridge, 1971.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2005

© 2005 г. С. Г. ТАТЕВОСОВ

АКЦИОНАЛЬНОСТЬ: ТИПОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ*

В настоящей статье излагаются результаты межъязыкового исследования акциональности. Акциональность представляет собой семантическую характеристику, которая описывает глагольные предикаты естественного языка в таких терминах, как "стативность", "динамичность", "предельность" или "пунктуальность". В статье показано, что акциональность представляет собой параметр межъязыкового варьирования, который допускает различные конфигурации в различных языках. Исследование проведено на материале кавказских, тюркских и уральских языков.

1. ВВЕДЕНИЕ

Недавно А. Кратцер разместила в интернете[1] предварительную версию первых глав своей книги "Событийный аргумент" [Kratzer 2003]. В этой книге сформулирована одна из самых амбициозных задач в области семантики языковых выражений, описывающих свойства ситуаций и их участников, которые когда-либо заявлялись. "Когда дети усваивают значение глагола, – пишет А. Кратцер [Kratzer 2003: 3], – они уясняют, какие состояния и события описывает этот глагол. Верно ли, что это все, что надо знать о значении глагола? Чтобы использовать глагол, мы должны знать, какого окружения он требует. Большинство глаголов имеет аргументы, некоторые обязательные, другие нет. Знаем ли мы, какие аргументы есть у глагола, если мы знаем его значение?.. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны различить значение собственно глагольных основ и то значение, которое привносит глагольное словоизменение". В этой цитате две ключевые идеи.

Во-первых, актантная структура и аспектуальные характеристики глагола должны описываться и объясняться в рамках единой теории. Если событие определяется составом его участников и временным контуром, задающим изменения, происходящие с этими участниками, то и языковые выражения, которые это описывают, подлежат анализу в терминах одной теории, а не двух – теории аспектуальности и теории актантной структуры.

Во-вторых, конечным пунктом анализа являются не глагольные словоформы, рассматриваемые как отдельно, так и в составе синтаксических составляющих, и даже не глагольные лексемы, а глагольные основы, очищенные от семантических наслоений, которые создаются различными морфосинтаксическими средствами, в частности, показателями вида, времени, актантной деривации, залога и т.д. Определив, какую в точности информацию заключают в себе глагольные основы, иссле-

* Данные для настоящего исследования были собраны в течение ряда лет в рамках проектов полевых исследований языков народов России, проводившихся при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Автор глубоко признателен коллегам по этим проектам – Д.О. Иванову, М.Ю. Иванову, Е.А. Лютиковой, М.А. Майсаку, А.Г. Пазельской, О.В. Ханиной, А.Б. Шлуинскому – за плодотворные дискуссии и обсуждение материала, положенного в основу данной статьи. Особую благодарность хотелось бы высказать Е.В. Падучевой, обсуждение с которой предварительной версии статьи оказало автору неоценимую помощь.

[1] www.semanticsarchive.net

дователь получит возможность построить систему эксплицитных допущений о том, как эта информация взаимодействует со значением других составляющих словоформы и/или глагольной группы, а значит, в конечном итоге, создать последовательно композициональный анализ значения глаголов, глагольных предикатов и глагольных групп.

Судить, насколько эта программа близка к осуществлению и насколько успешны уже реализуемые в этой области проекты (например [Ramchand 2003; 2004]), не наша задача. В настоящей статье мы сформулируем одну частную проблему, решение которой необходимо для построения общей теории аспектуальности и актантной структуры. Давно известно, что актантная структура глагола не независима от его акционального, или аспектуального класса[2]. На то, что состав и свойства аргументов в значительной степени определяют акциональный контур описываемой глагольным предикатом ситуации и наоборот, указывают разнообразные импликативные отношения между одним и другим. Стативные глаголы, например, *знать, видеть* и *лежать* неагентивны [Dowty 1979]; непредельные глаголы (вендлеровы *activities*), напротив, по преимуществу агентивны. Одноместные неагентивные глаголы, если не являются стативными, в подавляющем большинстве случаев предельны. Если аргумент находится в одно-однозначном отношении к событию, как в случаях типа 'есть яблоко' и 'пахать поле', то его референциальные свойства решающим образом влияют на предельность [Krifka 1989; 1992; 1998].

Связь акциональности и актантной структуры проявляется и в том, что существуют морфосинтаксические операции, которые воздействуют одновременно на актантную структуру глагольного предиката и на его акциональные характеристики. В карачаево-балкарском языке, например, акциональные характеристики глагола регулярно отличаются от характеристик его декаузативного деривата. Рассмотрим (1a–b):

(1) a. fatima xalɨ-nɨ zɨrt-tɨ. БАЛКАРСКИЙ
Фатима нитка-ACC рвать-PST
1. *Фатима порвала нитку* (*за три секунды*)
2. *Фатима рвала* {*т. е. пыталась порвать*} *нитку* (*десять минут, и ничего не вышло*)

b. xalɨ zɨrt-ɨ-*l*-dɨ. БАЛКАРСКИЙ
нитка рвать-ST-DECAUS-PST
1. *Нитка порвалась* (*за три секунды*).
2. **Нитка рвалась* {*т.е. была готова порваться*} (*десять минут, но все-таки выдержала нагрузку*)

В (1a) представлен глагол 'рвать', который в форме Претерита допускает и предельную (1a.1) и непредельную (1a.2) интерпретации[3]. Последняя предполагает, что в течение определенного времени агенс совершал некоторые действия (какие именно, глагол 'рвать' не уточняет – это может проясниться из контекста, а может и остаться за пределами сообщения), направленные на то, чтобы перевести нитку в результирующее состояние 'быть порванным'. Ситуация, однако, прекращается до того, как это состояние наступило, и нитка остается целой.

---

[2] В употреблении терминов "аспектуальный класс" и "акциональный класс", как и многих других терминов, обслуживающих эту область грамматики и семантики, не наблюдается единообразия. Лишь часть исследователей рассматривает их как синонимы. См. далее 1.1.

[3] Говоря о предельности, мы имеем в виду аналог понятия "telicity", принятый в англоязычной литературе: предельными являются те глагольные предикаты, в значение которых входит указание на достижение естественного предела, после которого дальнейшее продолжение ситуации невозможно. См. подробнее 2.5.

Для декаузатива, образованного с помощью показателя *-l* в (1b), однако, есть только одна из этих двух акциональных возможностей. Непредельная интерпретация, при которой предполагается, что результат не достигнут, для (1b) невозможна. Налицо закономерность: устранение агенса из состава синтаксически реализованных аргументов глагола 'рвать' сопровождается исчезновением непредельной интерпретации – декаузативизация воздействует одновременно на актантную структуру и акциональную характеристику.

Все это предполагает, что общая теория призвана, среди прочего, объяснить, как акциональный класс предиката взаимодействует с его актантной структурой, а для этого она должна уметь правильно выделить инвентарь акциональных классов в исследуемом языке, объяснить, как членство в классе обусловлено более элементарными компонентами значения глагольной основы и как на это членство влияют те или иные морфосинтаксические средства. Как и любая лингвистическая теория, общая теория аспектуальности и актантной структуры должна отвечать на эти вопросы применительно к возможному естественному языку. Для этого нам необходимо знать, как минимум, какие акциональные классы возможны и какие невозможны в естественном языке. А для этого, далее, требуется типологически надежный способ выявить инвентарь акциональных классов в конкретных языках, обеспечить межъязыковую сопоставимость таких инвентарей и сделать межъязыковые обобщения, описывающие наблюдаемое межъязыковое варьирование и ограничения на это варьирование. Частичное решение этой проблемы предлагается в настоящей статье.

В разделе 2 мы сформулируем основные понятия – акциональность, акциональная характеристика, акциональный класс – опишем межъязыковую процедуру выделения акциональных классов и охарактеризуем основные акциональные значения. В разделе 3 представлены результаты изучения акциональности в трех генетически независимых языках – багвалинском, карачаево-балкарском и марийском. В этом разделе, в частности, охарактеризованы свойства основополагающих акциональных классов, которые представлены во всех трех (и, с большой вероятностью, в любых других) языках. Кроме того, будут сформулированы предварительные межъязыковые обобщения о структуре акциональных классов и о типологически стабильных свойствах этих классов. В заключительном разделе 4 подводятся краткие итоги и намечаются дальнейшие направления исследования.

2. АКЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК ЛЕКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Акциональность и межъязыковое варьирование

Акциональность, известная также как семантический тип предиката [Булыгина 1982], аспектуальный класс, Aktionsart, лексический вид [Comrie 1976], аспектуальный характер [Lyons 1977], тип ситуации [Smith 1991], тип события (eventuality type) [Bach 1986; Filip 1999], действие (action) [Bache 1995a; 1995b], положение дел [Dik 1989], таксономическая категория глагола [Падучева 1996], а также еще под несколькими названиями, – это семантическая характеристика, которая проявляется в различиях между предложениями типа английских (1)–(4):

(1) John knows Russian.
Джон знает русский язык.

(2) John walked in the garden.
Джон погулял в саду.

(3) John ate an apple.
Джон съел яблоко.

(4) John reached the summit.
Джон достиг вершины.

В то время как (1) описывает состояние, в любой момент остающееся неизменным, (2)–(4) предполагают изменение во времени, то есть описывают динамическую ситуацию[4]. Ситуации, которые вводятся в рассмотрение предложениями (3)–(4), имеют результирующее состояние, соответственно 'яблоко съедено' и 'Джон находится на вершине', и как только такое состояние достигнуто, ситуация завершается. Напротив, в предложениях (1)–(2) никакого результирующего состояния не предполагается. Далее, (3) и (4) различаются тем, что первое, но не второе допускает языковые выражения, которые вводят в рассмотрение промежуточные фазы ситуации. У (3) имеются фазы, о которых можно сказать *John is (now) eating an apple* 'Джон (сейчас) ест яблоко', но никакая фаза ситуации из (4) не может быть сопоставлена соответствующему выражению **John is (now) reaching the summit* 'Джон (сейчас) достигает вершины'. Большинство семантистов согласно, что значения предложений (1)–(4) различаются, в частности, по параметру акциональности, и именно различия такого рода составляют главный предмет настоящего исследования.

В соответствии с классификацией З. Вендлера [Vendler 1957; 1967], предложения (1)–(4) представляют классы предикатов, которые он называет состояниями (states), деятельностями (activities), свершениями (accomplishments) и достижениями (achievements). Хотя у З. Вендлера был целый ряд предшественников, таких, например, как [Маслов 1948] и [Ryle 1949], которые внесли существенный вклад в изучение взаимодействия между аспектуальной семантикой и лексическим значением глагола, именно классификация Вендлера принимается в качестве отправного пункта в большинстве последующих исследований вида и акциональности, в частности в [Verkuyl 1972; 1989; 1993; 1999; Comrie 1976; Mourelatos 1978; 1981; Dowty 1979; 1991; Dahl 1981; 1985; Булыгина 1982; Bach 1986; Moens 1987; Moens, Steedman 1988; Krifka 1989; 1992; 1998; 2001; Parsons 1990; Smith 1991; 1995; 1996; 1999; Смит 1998; Bache 1995a; 1995b; Durst-Andersen 1992; 2000; Breu 1994; 1996; Filip 1994; 1997; 1999; Tenny 1994; Падучева 1996; 2004; Ramchand 2003; 2004; Rothstein 2004].

Подходы, практикуемые в этих работах, нередко существенно отличаются от исходных предложений З. Вендлера. Имеется существенное несогласие относительно того, следует ли рассматривать аспектуальный класс как лексическое свойство, каковы характеристические свойства различных классов, как классы соотносятся друг с другом, образуют ли они иерархию или выделяются полностью независимо друг от друга. Весьма существенны и терминологические расхождения: вероятно, едва ли есть другая область лексико-грамматических исследований, которая содержала бы такое количество различных обозначений для похожих или даже одинаковых сущностей. Таблица 1 описывает основные терминологические соответствия (часто лишь приблизительные) между различными теоретическими подходами.

Однако несмотря на многочисленные, в том числе и весьма существенные содержательные различия, исследования акциональности, проводившиеся после появления основополагающей статьи З. Вендлера [Vendler 1957; 1967], объединяет то, что практически все они атипологичны. Большинство теорий ничего не говорит, отличаются ли языки своими акциональными системами. Более того, обычное (часто имплицитное) допущение состоит в том, что исчисление, порождающее вендлеровы классы (или их модифицированный вариант), является логически универсальным и вследствие этого обладает своего рода иммунитетом от межъязыкового варьирования.

Соответственно, многие лингвисты полагают, что в каждом языке все множество предикатов распадается на классы, которые З. Вендлер установил для английского языка (возможно, с некоторыми модификациями). Это легко можно увидеть во многих частно-языковых исследованиях акциональности, например, в работах во второй

---

[4] Мы следуем соглашению, предложенному Б. Комри [Comrie 1976], в соответствии с которым "ситуация" используется как покрывающий термин для обозначения состояний, событий, действий, процессов и т. п.

Таблица 1

Акциональные единицы

<table>
<tr><td>Vendler 1957, 1967</td><td colspan="2">states</td><td colspan="2">activities</td><td>accomplis-hments</td><td colspan="2">achievements</td></tr>
<tr><td>Verkuyl 1972, 1993, 1999</td><td colspan="2">+ADD TO</td><td colspan="5">–ADD TO</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Comrie 1976</td><td colspan="2" rowspan="3">stative</td><td colspan="5">dynamic</td></tr>
<tr><td colspan="3">durative</td><td colspan="2" rowspan="2">punctual</td></tr>
<tr><td colspan="2">atelic</td><td colspan="2">telic</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Mourelatos 1978, 1981</td><td colspan="2" rowspan="3">states</td><td colspan="5">occurrences</td></tr>
<tr><td rowspan="2">processes</td><td colspan="4">events</td></tr>
<tr><td colspan="2">developments</td><td colspan="2">punctual occurrences</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Dowty 1979</td><td rowspan="4">momentary</td><td colspan="6">interval</td></tr>
<tr><td rowspan="3">no change</td><td colspan="5">change</td></tr>
<tr><td rowspan="2">indefinite</td><td colspan="4">defninte</td></tr>
<tr><td colspan="2">complex</td><td colspan="2">singulary</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Булыгина 1982</td><td rowspan="5">качества</td><td colspan="6">явления</td></tr>
<tr><td rowspan="4">статические явления</td><td colspan="5">динамические явления</td></tr>
<tr><td colspan="3">процессы</td><td colspan="2">события</td></tr>
<tr><td colspan="2">гомогенные процессы</td><td colspan="2">тенденции/ результаты[a]</td><td>происшествия</td></tr>
<tr><td>Chung, Timber-lake 1985</td><td>state</td><td>inception of state</td><td colspan="2">atelic process</td><td colspan="3">telic process</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Bache 1985, 1995a, 1995b</td><td colspan="2" rowspan="5">–actional[b]</td><td colspan="6">+actional</td></tr>
<tr><td colspan="6">simplex (vs. complex[c])</td></tr>
<tr><td colspan="4">durative</td><td colspan="2">punctual</td></tr>
<tr><td colspan="2">atelic</td><td colspan="4" rowspan="2">telic</td></tr>
<tr><td>directed</td><td>self-con-tained</td></tr>
<tr><td>Moens 1987</td><td colspan="2">states</td><td colspan="2">processes</td><td>culminated processes</td><td>point</td><td>culminated point</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Bach 1986</td><td colspan="2" rowspan="2">states</td><td colspan="5">non-states</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">processes</td><td colspan="4">events</td></tr>
<tr><td rowspan="2">dynamic</td><td rowspan="2">static</td><td rowspan="2">protracted</td><td colspan="2">momentaneous</td></tr>
<tr><td>happen-ings</td><td>culmina-tions</td></tr>
</table>

Таблица 1

Окончание

<table>
<tr><td rowspan="2">Dik 1989, 1994</td><td colspan="2" rowspan="2">situation (position/state)</td><td colspan="3">event (action/process)</td></tr>
<tr><td>activity/dynamism</td><td colspan="2">accomplishment/change[d]</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Smith 1991, 1995, 1996</td><td colspan="2" rowspan="2">states</td><td colspan="4">events</td></tr>
<tr><td>activities</td><td>accomplish-ments</td><td>semel-factives</td><td>achieve-ments</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Durst-Andersen 1992, 2000</td><td colspan="2">state</td><td>activity</td><td colspan="3">action</td></tr>
<tr><td colspan="2">stative</td><td colspan="4">dynamic</td></tr>
<tr><td colspan="3">simplex</td><td colspan="3">complex</td></tr>
<tr><td>Breu 1994</td><td>totally static</td><td>inceptively static</td><td>activity</td><td>gradually terminative</td><td colspan="2">totally terminative</td></tr>
<tr><td>Klein 1995</td><td>0-state</td><td colspan="2">1-state</td><td colspan="3">2-state</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Paducheva 1995
Падучева 1996</td><td colspan="2">static</td><td colspan="4">dynamic</td></tr>
<tr><td rowspan="2">atemporal properties</td><td rowspan="2">inherent states</td><td>nonterminative</td><td colspan="3">terminative</td></tr>
<tr><td>(activities/atelic processes)</td><td>actions proper/telic processes</td><td colspan="2">achievements/hap-penings</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Johanson 1996</td><td colspan="3" rowspan="2">non-transformative</td><td colspan="3">transformative</td></tr>
<tr><td colspan="3">fini-transformative (vs. initio-transformative[e])</td></tr>
<tr><td colspan="2">–dynamic</td><td>+dynamic</td><td>–momenta-neous</td><td colspan="2">+momentaneous</td></tr>
<tr><td>Filip 1999</td><td colspan="6">так же, как в Bach 1986, с добавление α-квантованных предикатов[f]</td></tr>
<tr><td>Ramchand 2003</td><td colspan="2">v</td><td>(v) V</td><td colspan="3">(v) V R[g]</td></tr>
</table>

[a] Особенность классификации Т.В. Булыгиной, обусловленная видовой системой русского языка, состоит в том, что единого класса, соответствующего классу accomplishments в других языках, не выделяется. Вместо этого имеется два класса – тенденции, одна из разновидностей процессов, и результаты, одна из разновидностей событий. К тенденциям относятся исключительно глаголы НСВ, описывающие процессы, которые завершаются результирующим состоянием, например, *делать*, а к результатам – парные им глаголы СВ, например, *сделать*, в семантику которых входит указание на достижение этого состояния. В языках со словоизменительным видом (в частности, в английском) эти значения реализуются в пределах одной лексемы, и именно лексемы такого рода составляют класс accomplishments.

[b] Класс [– акциональных] (–actional) ситуаций содержит не только стативные, но и хабитуальные ситуации.

[c] Сложные (complex) ситуации – это ситуации, состоящие из многих или соотнесенных последовательно реализуемых подситуаций [Bache 1995a: 242]. Сложные ситуации не соответствуют ни одному из вендлеровых классов и по этой причине не включаются в Таблицу 1.

[d] Деятельности (activities), достижения (accomplishments), динамизмы (dynamisms) и изменения (changes) далее подразделяются на [+моментальные] и [–моментальные] [Dik 1994: 29].

[e] Начально-трансформативные глаголы (initio-transformatives) описывают и вхождение в состояние и само это состояние; они не соответствуют ни одному из вендлеровых классов.

[f] альфа-квантованные предикаты – это предикаты, не специфицированные с точки зрения предельности; см. раздел 2.5.

[g] В теории Дж. Рамчанд акциональные классы возникают как тривиальное следствие синтаксической конфигурации, которую данный глагол проецирует в лексическом синтаксисе [Hale, Keyser 1993; 2002]. Соответственно, единственная информация, которая должна быть приписана глаголу – это какие вершины имеет его глагольная группа. Всего таких вершин три – каузативная v, возглавляющая группу vP, процессная V, возглавляющая группу VP и результативная R, возглавляющая группу RP.

части сборника [Bache et al. (eds.) 1994; Bergsland 1994]; ср. также относительно недавнее обсуждение индо-иранских и дравидийских языков в [Bhat 1999]. Как отметила К. Эберт [Ebert 1995: 186], "чаще всего предполагается, что глагол или глагольная группа (в исследуемом языке. – *С.Т.*) имеет такую же акциональную характеристику, как ее наиболее близкое английское соответствие".

Теоретики, которые придерживаются композиционального подхода к виду и акциональности [Verkuyl 1972; 1993; 1999; Krifka 1989; 1992; 1998; 2001], предлагают формальные теории, в которых принимаются к рассмотрению свойства именных групп наряду со свойствами глаголов, и акциональность исчисляется композиционально для всей предикации (и/или) глагольной группы. Очевидное преимущество такого подхода состоит в том, что он предлагает ясное и последовательное объяснение того, как взаимодействует информация, заключенная в различных составляющих – глаголах, их аргументах, предложных/послеложных сирконстантах, результативных предикациях и т.д. Тем не менее эмпирическая база большинства композициональных исследований ограничена по большей части германскими, романскими и славянскими языками и несколькими работами по финно-угорским языкам. Обнаружив важные различия в аспектуальной и акциональной организации этих языков, приверженцы этого подхода пока не предпринимали широкомасштабного типологического исследования.

Межъязыковое сопоставление акциональных характеристик конкретных языков, однако, остро необходимо. В последующих разделах мы покажем, что акциональность представляет собой параметр, который допускает различные конфигурации в различных языках. Кроме того, мы предложим способ исследования частно-языковых акциональных систем, позволяющий получить типологически сопоставимые данные.

2.2. Акциональность как классификация

Определение акциональности применительно к конкретным языкам представлено в (5):

(5) Акциональность (в данном языке) – это разбиение всего множества глаголов на непересекающиеся акциональные классы (далее – А-классы), которое задается множеством универсальных акциональных критериев (далее – АК-множеством).

Таблица 2

Разбиение на акциональные классы, задаваемое А-критериями {$к_1$; $к_2$}

	$к_1$	$к_2$
...		
know	+	+
...		
build	–	+
...		
reach	–	–
...		

Чтобы проиллюстрировать определение (5), рассмотрим АК-множество, состоящее ровно из двух критериев:

◊ $к_1$: для всякого i, $G_i(p)$ может описывать состояние

◊ $к_2$: существует i, такое что $G_i(p)$ описывает одну из промежуточных фаз ситуации

(где p – глагол, G_i – глагольный грамматический показатель, а $G_i(p)$ – глагол p в комбинации с показателем G_i)

Неформально, критерии $к_1$ и $к_2$ – это варианты определения стативных и пунктивных глаголов (в смысле [Comrie 1976: 41–50]; для последних в русской традиции более принят термин "моментальные"). При условии, что понятия "описывать состояние" и "описывать одну из промежуточных фаз ситуации" сделаны достаточно эксплицитными, мы может применить данные критерии ко всему множеству английских глаголов. После этого мы обнаружим, что это множество распадается на три класса, представленных матрицей в Таблице 2, где в качестве представителей классов даны глаголы *know* 'знать', *build* 'строить' и *reach* 'достигать'. Любой другой глагол получит акциональную характеристику, относящую его в один из этих трех классов[5].

Если изменить количество критериев или их формулировку, изменится и количество и состав выделяемых классов. Таким образом, определение (5) предполагает, что количество выделяемых классов, как и членство глагола в одном из них, решающим образом зависят от того, какие критерии включаются в АК-множество. Соответственно, идентификация акциональных классов требует эксплицитной процедуры отбора критериев и их оценки.

Никаких априорных ограничений на то, как может быть устроено АК-множество, по-видимому, нет. Единственное очевидное требование состоит в том, чтобы А-критерии не были определены на частно-языковых основаниях и были осмысленно применимы к материалу любого языка. Вводя критерии для АК-множества, мы исходим из того, что каждый из них представляет собой приписывание акционального семантического ярлыка.

(6) Пусть $M = \{m_1, m_2, \ldots, m_k\}$ – множество акциональных семантических ярлыков. Тогда АК-множество содержит k критериев, каждый из которых имеет вид "Семантический ярлык m_i может быть приписан сущности, являющейся объектом акциональной классификации".

Применяясь к множеству объектов классификации P, $P = \{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$, такие критерии порождают матрицу из k столбцов и n строк (например, такую, как представлена в Таблице 3). Матрица эквивалентна таблице (см. Таблицу 4), в которой строки по-прежнему заполнены объектами классификации, а единственный столбец содержит все ярлыки, которым соответствует клетка матрицы со значением "+". Как показывают Таблицы 3 и 4, критерий m_i имеет положительное значение на объекте p_i, если соответствующий семантический ярлык может быть приписан этому объекту и отрицательное значение – в противном случае[6].

Таблица 3

Пример акциональной классификации в форме матрицы

	m_1	m_2	...	m_k
p_1	+	–	...	+
p_2	–	+	...	+
...	...	...	...	...
p_n	–	–	...	+

[5] Четвертая возможность, при которой критерий $к_1$ имеет положительное, а $к_2$ – отрицательное значение, очевидно, содержит в себе логическое противоречие и поэтому нереализуема: такая комбинация свойств означала бы, что любая форма глагола может описывать состояние, и при этом никакая – фазы этого состояния.

[6] Если, например, M = {СОСТОЯНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЕРШЕНИЕ, ДОСТИЖЕНИЕ}, а определения каждого семантического ярлыка тождественны тем, которые ввел З. Вендлер [Vendler 1957; 1967] для своих аспектуальных классов, и семантические ярлыки применяются к глаголам английского языка, мы будем иметь в точности вендлерову классификацию.

Таблица 4

Пример акциональной классификации в форме таблицы

	M
p_1	$m_1, \ldots, m_k$
p_2	$m_2, \ldots, m_k$
...	...
p_n	$\ldots, m_k$

Таким образом, чтобы получить эксплицитную процедуру выделения акциональных классов, нам остается ответить на два принципиальных вопроса: с какими в точности объектами имеет дело акциональная классификация и каков набор акциональных семантических ярлыков, приписываемых этим объектам.

2.3. Чему приписываются акциональные ярлыки

И обсуждение во введении, и определение, данное в (6), предполагают, что объектами акциональной классификации являются глаголы. Это не значит, конечно, что акциональные характеристики не приложимы к другим языковым выражениям – предложениям, клаузам, глагольным группам и т.д. В языках существуют, например, такие глаголы, которые не являются ни предельными, ни непредельными – предельность возникает только на уровне глагольной группы и определяется свойствами внутреннего аргумента, как правило, пациенса. Таким является глагол *eat* 'есть' в английском языке: он непределен в комбинации с неисчисляемым неопределенным именным аргументом – *He ate soup for ten minutes* || **in ten minutes* 'Он ел суп десять минут || *за десять минут' – и пределен при наличии исчисляемого аргумента в единственном числе – *He ate an apple in ten minutes* || **for ten minutes* 'Он съел яблоко за десять минут || *десять минут' – см. 2.5.

Однако в свете задач, сформулированных во введении, нас интересует именно лексическая классификация глаголов. В частности, о лексических единицах типа *eat* мы хотим знать в точности то, что они относятся к классу глаголов, предельность которых определяется свойствами аргументов, и этим отличаются, например, от глаголов типа *push* 'толкать'.

Казалось бы, самый очевидный способ добиться желаемого разбиения глаголов на классы – приписывать А-критерии непосредственно глагольным лексемам. Именно так, собственно, и поступало большинство аспектологов начиная с З. Вендлера.

Однако в этом месте мы сталкиваемся с проблемой: будучи единицами словаря, глагольные лексемы абстрактны и не доступны для непосредственного наблюдения (см. [Zucchi 1999; Kratzer 2003]). То, что мы наблюдаем, – это глаголы в употреблении, когда они представлены конкретными словоформами, в состав которых входят, кроме собственно глагола, разнообразные грамматические показатели.

Например, рассматривая (7a), мы видим не то, что глагол *love* 'любить' является стативным, а то, что форма Simple Past этого глагола описывает состояние. Аналогично, в (7b), можем лишь утверждать, что форма Simple Present глагола *love* 'любить', а не сам этот глагол, является стативным.

(7) a. John loved Mary for many years.
Джон любил Мэри многие годы.

b. John loves Mary for many years.
Джон любит Мэри многие годы.

В (7a–b) обе формы имеют одинаковую акциональную характеристику (так же ведут себя, впрочем, и другие формы этого глагола), поэтому утверждение, что глагол *love* 'любить' как таковой является стативным, не создает никаких эмпирических затруднений. Обобщив эту процедуру, мы могли бы утверждать, что А-критерий $к_i$ принимает на глаголе положительное значение тогда и только тогда, когда он принимает такое значение на всех его грамматических формах (ср. формулировку критерия $к_1$ в 2.2). Однако это обобщение не работает в том случае, если акциональные характеристики разных форм одного и того же глагола оказываются различными. Рассмотрим (8) из багвалинского языка.

(8) ʕali-la helali pat'imat.
Али-DAT любить. PST Патимат
1. *Али полюбил Патимат.*
2. **Али любил Патимат.*

(8) показывает, что глагол *helali* 'полюбить, любить' в форме Претерита описывает изменение состояния ('не любить' → 'любить'). В отличие от своего аналога в английском языке, Претерит глагола *helali* не допускает стативной интерпретации, которая соответствовала бы (7a). В то же время Презенс *helali* 'любить' в (9), как и *loves* в английском языке, описывает именно состояние:

(9) ʕali-la hel-ā-X ek̥'a pat'imat.
Али-DAT любить-IPFV-CONV AUX. PRS Патимат
Али любит Патимат.

В английском языке акциональные характеристики разных грамматических форм одного и того же глагола также могут различаться. (10a–b) показывают, что форма Simple Past глагола *believe* 'верить', который обычно рассматривается как стативный, допускает как стативную, так и инхоативную интерпретации:

(10) a. Macbeth believed in ghosts for years.
Макбет верил в призраков многие годы.

b. Macbeth believed in ghosts when he saw Banquo [Smith 1983: 487].
Макбет поверил в призраков, когда увидел Банко.

В отличие от (10a), в (10b) форма Simple Past описывает не состояние, а вхождение в состояние, переход от состояния 'не верить' к состоянию 'верить' – то же самое происходит и с багвалинским Претеритом в (8). Таким образом, Simple Past глагола *believe* 'верить', представленный в (10a) и (10b), имеет две разные акциональные характеристики. С другой стороны, форма Simple Present глагола *believe*, представленная в (11), не может описывать никакую другую ситуацию, кроме стативной.

(11) Macbeth believes in ghosts.
Макбет верит в призраков.

(10)–(11) показывают, что в английском языке имеются акциональные расхождения между комбинациями различных грамматических показателей с одним и тем же глаголом, хотя и несколько отличные от тех, которые представлены в (8)–(9) с багвалинским глаголом *helali*. В багвалинском языке близким акциональным аналогом глагола *believe* является глагол *b-iX̄i* 'обрадоваться, радоваться':

(12) a. maHammad *b-iX̄i.*
Магомед N-радоваться. PST
1. *Магомед радовался* (в течение какого-то времени).
2. *Магомед обрадовался.*

b. maHammad	*b-iX̄i-rā-X*	ek'ₒa
Магомед	N-радоваться-IPFV-CONV	AUX.PRS

Магомед радуется.

Как видно из (12a–b), Презенс глагола *b-iX̄i* 'обрадоваться, радоваться' в точности соответствует презенсу глагола *helali* 'полюбить, любить', однако Претерит отличается: он может описывать не только вхождение в состояние 'радоваться', но и само это состояние – диапазон интерпретаций аналогичен наблюдаемому у глагола *believe* в (10)–(11)[7].

Если принять во внимание примеры типа (8)–(12), неминуемо возникает вопрос: как охарактеризовать акциональные свойства глаголов типа *helali* и *believe/b-iX̄i*? Если каждый акциональный критерий – это приписывание акционального семантического ярлыка, то какие ярлыки должны быть приписаны этим глаголам? Ярлыки, характеризующие их как глаголы состояния или как глаголы вхождения в состояние? Возможна ли вообще их однозначная акциональная характеризация? Ответить на эти вопросы можно по-разному.

Во-первых, глаголам типа *helali* и *believe/b-iX̄i* можно приписать два акциональных ярлыка, назовем их ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ и СОСТОЯНИЕ (подробнее об акциональных значениях и акциональных ярлыках см. ниже, в 2.5). (Некоторые авторы прямо говорят об "акциональной гибридности" таких глаголов, см., например [Bertinetto 1986; 1994; Bertinetto, Delfitto 2000].) Проблема с таким анализом, однако, состоит в том, что оба глагола получат одинаковую акциональную характеристику, в которой не будет отражено важное отличие глаголов типа *helali* от глаголов типа *believe/b-iX̄i* – то, что последние, но не первые допускают стативную интерпретацию в комбинации с показателем прошедшего времени, ср. (8) и (10). Более того, этот анализ не будет отражать тот факт, что инхоативное и стативное значения в (8)–(9) распределены между двумя аспектуально различными грамматическими показателями.

Во-вторых, можно допустить, что одна из интерпретаций, доступных для предложений в (8)–(12) является основной, а вторая возникает по определенным правилам под влиянием определенных характеристик грамматического и/или лексического контекста. Соответственно, глаголу будет приписан какой-то один семантический ярлык, а другое прочтение будет обеспечено правилами, определяющими соотношение между основной и производной акциональной характеристиками. Теория такого типа предложена, например, К. Смит [Smith 1991; 1995], которая выделяет ситуационные типы (=акциональные классы) на "базовом" и "производном" уровнях. Ситуационный тип производного уровня выводится из ситуационного типа базового уровня при помощи правила композиции, которое запускается при несовпадении заданных признаков. Различие между основными и производными таксономическими категориями проводится также Е.В. Падучевой [Падучева 1996; Paducheva 1995].

При такой системе допущений, однако, описанная выше проблема остается. Можно утверждать, что различие между *helali* и *believe* объясняется различием правил композиции для английского и багвалинского языков. Но независимо от того, какое акциональное значение рассматривается как основное – СОСТОЯНИЕ или ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, – различие между глаголами *helali* и *b-iX̄i*, существующее в н у т р и одного языка, невозможно сделать видимым, если глаголу приписывается лишь

[7] Глаголы типа *believe* в английском языке и *b-iX̄i* в багвалинском языке отличаются сравнительной предпочтительностью доступных интерпретаций. Немаркированной интерпретацией *believe* является стативная, в то время как инхоативная достигается при наличии специальных условий, например, временного зависимого предложения [Smith 1983: 485]. Напротив, для *b-iX̄i* и подобных ему глаголов в багвалинском языке немаркированной является инхоативная интерпретация, тогда как стативное прочтение возникает, например, в контексте обстоятельств длительности типа 'много лет'.

одно из этих значений. Если оба глагола анализировать как стативные, невозможно объяснить, почему только один из них приобретает инхоативное значение в Претерите. Если оба рассматривать как динамические, описывающие переход в новое состояние, неясно, как вывести стативное значение для Претерита *b-iX̄i*, не получив такой же результат и для Претерита *helali*.

Таким образом, наилучшей представляется третья возможность: критерии, включаемые в АК-множество, должны содержать эксплицитное указание на то, к каким грамматическим формам глагола они применяются. При таком подходе критерии типа "Глаголу приписывается семантический ярлык СОСТОЯНИЕ" являются недопустимыми; вместо этого следует использовать критерии вида "Имперфективной форме глагола приписывается семантический ярлык СОСТОЯНИЕ". В результате различие между глаголами типа *helali* и *b-iX̄i* делается видимым, как представлено в таблице 5.

Таблица 5

Семантические ярлыки, приписываемые комбинациям глагола и грамматического показателя в багвалинском языке (*helali* 'любить' и *b-iX̄i* 'радоваться')

Глагол	Толкование	Акциональный ярлык для Претерита	Акциональный ярлык для Презенса
...			
helali	любить	ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ	СОСТОЯНИЕ
...			
b-iX̄i	радоваться	ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, СОСТОЯНИЕ	СОСТОЯНИЕ
...			

Соответственно, акциональная характеристика глагола представляет собой не единичный семантический ярлык и даже не множество семантических ярлыков, а множество множеств семантических ярлыков, в котором каждый элемент этого множества соответствует комбинации глагола с грамматическим показателем.

Когда ровно две грамматические формы признаются релевантными для акциональной классификации, как это имеет место в таблице 5, акциональная характеристика глагола представляет собой пару множеств, как представлено в (13), где первое множество ярлыков описывает акциональное значение Претерита, а второе множество – значение Презенса:

(13) *b-iX̄i* 'радоваться': <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, СОСТОЯНИЕ}, {СОСТОЯНИЕ}>
helali 'любить': <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ}, {СОСТОЯНИЕ}>

Различие между глаголами *helali* и *b-iX̄i* нельзя предсказать исходя из значения грамматических показателей и/или из свойств дискурсивного контекста, и, таким образом, его следует интерпретировать как акциональное различие в собственном смысле, и относить эти глаголы к разным классам, как и предполагает (13).

2.4. Ограничения на частно-языковые грамматические показатели

Таблица 5 имеет очевидный дефект: заголовки столбцов содержат названия частно-языковых показателей, а это означает, что после исследования языковой выборки мы получаем набор частно-языковых акциональных классификаций, несравнимых друг с другом. Эту слабость можно преодолеть, наложив следующее дополни-

тельное условие на грамматические показатели, выбираемые для исследования в каждом конкретном языке:

(14) Семантические ярлыки приписываются тем частно-языковым грамматическим показателям, которые являются реализацией универсальных категориальных типов (universal gram types).

Универсальный категориальный тип – понятие, введенное в рамках так называемого подхода Байби-Даля к типологии грамматических показателей [Bybee 1985; Dahl 1985; Bybee, Dahl 1989; Bybee et al. 1994; Dahl 2000]. "Видо-временные грамматические показатели, – пишет Э. Даль [Dahl 2000: 5], – типологически группируются в относительно небольшое число классов. Релевантная единица теории универсальной грамматики – это, таким образом, универсальный категориальный тип (crosslinguistic gram type), манифестациями которого являются грамматические показатели в конкретных языках. Категориальные типы... представляют собой статистически наиболее вероятные кластеры свойств в "грамматическом пространстве", или, иначе, относительно стабильные точки на путях развития, которые грамматические показатели достигают в процессе диахронической эволюции... Важно, что категориальный тип – это не только понятие, концепт или значение, но... и типичное средство выражения, ...непосредственно отражающее проходимую им стадию процесса грамматикализации".

Приведем пример. В значительном количестве языков мира имеются глагольные формы, семантика и дистрибуция которых аналогична английскому перфекту и которые сходны не только семантически, но и морфосинтаксически – они обычно являются аналитическими и содержат нефинитную форму смыслового глагола и стативный вспомогательный глагол со значением 'быть' или 'иметь'. (Индоевропейский перфект, образуемый редупликацией, в этом отношении является редким исключением.) Сходство семантики и формы невозможно объяснить простым совпадением. Напротив, естественно предположить, что в языке существует ограниченный универсальный набор смыслов, которые с высокой вероятностью получают грамматическое выражение. Более того, как сами эти смыслы, так и их морфосинтаксические носители в процессе диахронического развития изменяются не произвольным образом, а подчиняются жестким ограничениям (см. подробнее [Bybee et al. 1994]): комбинация перфективной нефинитной формы и вспомогательного глагола начинает как результатив (см. [Недялков, Яхонтов 1983]), затем достигает стадии перфекта, а после может превратиться в показатель перфективного вида и/или прошедшего времени. Все это дает основание говорить о наличии в универсальной грамматике теоретического конструкта под названием универсальный категориальный тип ПЕРФЕКТ, который обладает определенными семантическими характеристиками и определенным способом выражения, а перфекты в конкретных языках рассматривать в качестве его манифестации. Такая система допущения объясняет, по крайней мере на интуитивном уровне, и то, что видо-временные системы конкретных языков не являются бесконечно многообразными, и то, что перфекты в разных языках обладают сходной семантикой и дистрибуцией, и то, что они имеют сходный потенциал диахронического развития.

Как только ограничение (14) будет соблюдено, препятствия для межъязыкового сравнения акциональных свойств глаголов исчезнут. Например, Simple Past в английском языке и Претерит в багвалинском языке являются манифестациями универсального категориального типа PAST (см. [Dahl 1985]), а значит акциональные свойства глаголов в этих языках можно представить совместно, как это сделано в Таблице 6. Такое представление не только делает наблюдаемым отношения между различными глаголами в одном языке, но и позволяет увидеть сходства и различие глаголов в разных языках. Оно показывает, например, что акциональные свойства английского глагола *believe* в точности соответствуют свойствам багвалинского глагола *b-iX̄i*, в то время как *love* существенно отличается от *helali*, несмотря на то, что эти глаголы являются лексическими эквивалентами.

Таблица 6

Семантические ярлыки, приписанные манифестациям универсальных категориальных типов

Язык	Глагол	Значение	Акциональный ярлык для PAST	...
Багвалинский	*b-iX̄i*	радоваться	ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, СОСТОЯНИЕ	...
	helali	любить	ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ	...
	...	...	...	...
Английский	*love*	любить	СОСТОЯНИЕ	...
	believe	верить	ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, СОСТОЯНИЕ	...
	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Таким образом, только те частно-языковые грамматические показатели, которые манифестируют универсальные категориальные типы, следует принять к рассмотрению при типологическом исследовании акциональности.

Принимая во внимание эти соображения, мы выбрали ровно два грамматических показателя в каждом из рассмотренных языков, один перфективный и один имперфективный. Частно-языковые грамматические показатели, которые относятся к перфективной сфере, манифестируют один из двух универсальных категориальных типов – PERFECTIVE или PAST. Частно-языковые грамматические показатели имперфективного ряда, описывающие длящиеся ситуации, манифестируют либо PROGRESSIVE, либо IMPERFECTIVE (или, как частный случай – IMPERFECTIVE, ограниченный временной референцией к настоящему, то есть PRESENT).

2.5. Акциональные значения

В предыдущем разделе мы уже применяли два акциональных семантических ярлыка – СОСТОЯНИЕ и ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ. Кроме них, используемый в настоящем исследовании инвентарь акциональных семантических ярлыков и, соответственно, список акциональных значений, содержит ПРОЦЕСС, ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС и МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС. Охарактеризуем кратко все пять значений[8].

СОСТОЯНИЕ – ситуация, которая не претерпевает изменений с течением времени [Dik 1994] и не требует постоянного притока энергии для своего продолжения [Comrie 1976: 49]. Предложения, описывающие состояния, обладают свойством подынтервала [Bennett, Partee 1978; Taylor 1977; Desclés, Guentchèva 1995], или условием плотности [Lenci 1995; Bertinetto 1994].

(15) Предложение обладает свойством подынтервала, если всякий раз, когда оно истинно на временном интервале I, оно истинно и на любом подынтервале I.

[8] Естественный вопрос, который возникает в связи с этим инвентарем: почему акциональных значений именно столько? Является ли их инвентарь закрытым? Могут ли к нему добавляться новые значения? Ответ, принимаемый в настоящем исследовании, состоит в том, что этот инвентарь не является ни минимальным, ни исчерпывающим. Он содержит акциональные значения, которые обнаруживаются в уже проведенных частно-языковых исследованиях акциональности. Но, как было замечено выше, мы не считаем, что какая-либо акциональная классификация может иметь статус логически универсальной, поэтому, если последующие исследования обнаружат акциональные значения, неучтенные до сих пор, эти значения будут включены в список.

Если, например, верно, что Вася сидел в кресле с 12:00 до 14:00 29 июля 1999 года, то, очевидно, верно и то, что он сидел в кресле с 13:33 до 13:45 того же дня.

Тот, кто является приверженцем семантики событий [Bach 1981; 1986; Krifka 1989; 1992; Vikner 1994; Parsons 1990; Katz 1995; Filip 1999; Rothstein 2004], указывают, что предикаты, обозначающие состояния, обладают свойствами аддитивности и подразделимости. Предикат обладает свойством аддитивности тогда и только тогда, когда выполняется условие: если этот предикат выполняется для сущностей x и x', то он выполняется и для сущности x ⊕ x', являющейся мереологической суммой x и x'[9]. Предикат обладает свойством подразделимости, если любая часть сущности, описываемой данным предикатом, описывается этим же предикатом.

Эти два свойства равно применимы и к именным и к глагольным предикатам. Неисчисляемые совокупности типа 'вода', например, аддитивны и подразделимы. Действительно, если две порции воды слить в общую емкость, получившаяся совокупность также будет водой. Точно так же, если ситуация *e* описывается предикатом *стоять* и ситуация *e'* описывается этим предикатом, то к двум этим ситуациям вместе предикат *стоять* также применим. С другой стороны, если от любого количества воды отлить часть, эта часть также будет представлять собой воду. Аналогично, любая часть ситуации 'спать' также является ситуацией 'спать'.

Аргументы предикатов, описывающих состояния, неагентивны [Dowty 1979; Chung, Timberlake 1985].

Разграничение СОСТОЯНИЯ и ПРОЦЕССА – вопрос, вызывавший среди семантистов противоречия и споры. Интуитивно ПРОЦЕСС, в отличие от состояния, представляет собой ситуацию динамическую, предполагает изменение во времени и, по удачному наблюдению Б. Комри [Comrie 1976], требует притока энергии для своего осуществления. Более строго разграничить процессы и состояния, однако, довольно трудно – многие исследователи [Bach 1986; Filip 1999; Kratzer 2000] попросту рассматривают противопоставление процессов и состояний как онтологическое, то есть несводимое ни к каким более элементарным противопоставлениям.

В настоящей работе мы руководствуемся следующими практическими соображениями. Во-первых, процессы, как и состояния, аддитивны (см. также [Dowty 1979; Smith 1983; Vikner 1994; Rothstein 2004]. Для состояния 'спать', например, верно, что если ситуация *e* описывается предикатом *спать* и ситуация *e'* описывается предикатом *спать*, то и обе ситуации вместе (*e* ⊕ *e'*) описываются предикатом *спать*. То же самое верно и для процессов, например, 'гулять': если об *e* можно сказать *гулял* и об *e'* можно сказать *гулял*, то и *о e* ⊕ *e'* можно сказать то же самое.

Во-вторых, процессы регулярно отличаются от состояний отсутствием строгой подразделимости. Имея дело, например, с состоянием 'сидеть', мы можем взять сколь угодно малую его часть, и все равно это будет состояние 'сидеть'. Иначе обстоит дело с процессом 'ходить': начиная с некоторой величины описываемые ситуации не входят в означаемое предиката *ходить*. Если человек сделал по комнате пятьдесят шагов, о нем можно сказать *Он ходил по комнате*. Последовательность из сорока, тридцати, ..., пяти шагов является частью последовательности в пятьдесят шагов, и о каждой из этих последовательностей можно сказать *Он ходил по комнате*, поэтому предикат *ходить* подразделим. Однако, когда мы дойдем до части последовательности размером в один шаг, обнаружится, что эта часть уже не входит в означаемое *ходить*: о человеке, который сделал всего один шаг, нельзя сказать *Он ходил* (см. [Taylor 1977; Dowty 1979]). Тем более невозможно применить *ходить* к ситуации, которая меньше, чем один шаг, например, к отрыву ноги от земли. В этом смысле *ходить* не

---

[9] Здесь и далее используется следующая нотация для обозначения мереологических понятий. Символ "⊕" обозначает оператор суммы, образующий из двух индивидов суммарный индивид; символ "≤" обозначает отношение "быть частью", а символ "<" – отношение "быть собственной частью". Определение этих понятий см., например, в [Krifka 1992].

является строго подразделимым: процесс нельзя дробить на части до бесконечности; рано или поздно мы дойдем до минимального, элементарного кванта процесса. Структурными аналогами процессов в сфере именной референции являются неопределенные множественные именные предикаты типа *яблоки* (в языках с артиклями им соответствуют именные группы с показателем неопределенности, например, с нулевым артиклем в английском языке: *apples* 'яблоки'): они аддитивны (если перед нами две кучи яблок, то обе вместе можно обозначить как *яблоки*) и подразделимы до достижения уровня отдельных яблок (если от кучи яблок отделить часть, это по-прежнему будут яблоки при условии, что их больше одного).

Отсутствие строгой подразделимости, однако, не может служить единственным критерием демаркации состояний и процессов. Существуют ситуации, которые являются строго подразделимыми, однако отнесение их к состояниям явно противоречит интуиции. Среди часто упоминаемых глаголов, описывающих ситуации этого типа (в [Taylor 1977] обозначены как гомогенные процессы, в противоположность гетерогенным), – глаголы неагентивного перемещения в пространстве, как, например, *двигаться* в русском языке. Эти глаголы характеризуются тем, что выделение минимальной части описываемой ситуации невозможно, практически так же, как это имеет место для состояний. Тем не менее, очевидно, что *двигаться* или *падать* состоянием не является – хотя бы потому, что с течением времени меняются пространственные координаты партиципанта. Б. Тэйлор [Taylor 1977] предложил придать идее изменения следующий смысл: чтобы понять, меняется что-то или нет, недостаточно рассмотреть единственный момент времени. Если мы возьмем мгновенный временной срез движения, например, вырежем кадр из кинопленки, собственно движения мы не увидим – все предметы будут покоиться. Чтобы оценить, имеются ли какие-либо изменения, требуется по меньшей мере сравнить положение вещей в два разных момента времени. Это в полной мере приложимо к предикатам типа *двигаться*: оценить истинность высказывания типа *Машина двигалась по дороге* невозможно, если рассмотреть единственную точку на временной оси; предложения такого рода являются осмысленными применительно к ненулевым временным интервалам. Этим предикаты типа *двигаться* отличаются от предикатов типа *находиться в Нью-Йорке*: последние образуют пропозиции, истинность которых может быть оценена и применительно к точечному моменту времени.

Для подавляющего большинства глаголов такой подход дает интуитивно удовлетворительный результат, который, более того, экстенсионально эквивалентен неформальному определению в терминах изменения количества энергии, данному Б. Комри. В самом деле, предъявить предикат, описывающий ситуацию, при осуществлении которой расходуется/накапливается энергия и который при этом является истинным в точке, вряд ли возможно. Обратно, по всей видимости, не существует и ситуаций, для оценки истинности которых необходим интервал, но которые при этом не предполагают изменения энергии.

Акциональный ярлык ПРОЦЕСС, таким образом, соответствует вендлеровым "деятельностям" [Vendler 1957; 1967], динамическим дуративным непредельным ситуациям [Comrie 1976], "процессам" в [Moens 1987], а также объединяет деятельности (процессы непредельные) у Е.В. Падучевой [Падучева 1996] (см. Таблицу 1).

Подведем первый итог. ПРОЦЕСС, как он определен выше, и СОСТОЯНИЕ объединяет отсутствие указания на достижение предела: осуществление описываемой ситуации не предполагает, что ее участники претерпевают какие-либо качественные изменения, переходят в новое состояние или начинают участвовать в новом процессе. Характерологическим свойством непредельных предикатов является аддитивность; этим свойством в равной степени обладают и состояния и процессы. Кроме того, и состояния и процессы обладают подразделимостью – первые в строгом смысле, вторые, в большинстве своем, – до выделения минимального кванта ситуации. В этом отношении непредельные глагольные предикаты в точности соответствуют двум классам именных предикатов – неопределенным множественным и неисчисляемым.

Непредельным предикатам противопоставлены предельные. Как известно, содержательно вторые отличаются от первых тем, что описываемая ситуация рано или поздно неминуемо завершается кульминацией, при которой с одним из партиципантов происходят качественные изменения. Например, состояние *стоять* может длиться, вообще говоря, неограниченно долго – в нем самом не заключено ничего такого, что требует его непременного прекращения в какой-то момент. Напротив, ситуация *таять* рано или поздно с необходимостью завершается – в тот момент, когда вся масса тающей субстанции переходит в новое агрегатное состояние. В этом смысле о завершении ситуации 'таять', описываемом, например, формой растаял, часто говорят как о естественном пределе, а о завершении состояния 'спать' в случае *поспал* – как о произвольном пределе.

Предельные глагольные предикаты обладают свойствами, противоположными свойствам непредельных предикатов, – неаддитивностью и неподразделимостью[10]. Предельные предикаты, как и непредельные, имеют аналоги в именной сфере – исчисляемые именные предикаты в единственном числе и определенные множественные именные предикаты (которым в языках с артиклями соответствуют ИГ с показателем определенности, например, с артиклем *the* в английском языке – *the apples* 'яблоки'). Неаддитивность и для именных, и для глагольных предикатов означает, что из двух сущностей нельзя составить одну: яблоко плюс яблоко – это два яблока, и этот объект нельзя обозначить словом *яблоко*. Точно так же два события 'написать письмо' в сумме не образуют события 'написать письмо', а образуют событие 'написать письмо дважды' или 'написать два письма'. Аналогично, неподразделимость распространяется как на именные, так и на глагольные предикаты: никакая часть яблока не является яблоком, и никакая часть события 'написать письмо' не является событием 'написать письмо'.

В терминах темпоральной семантики данную характеристику можно сформулировать как свойство антиподынтервала. Предложение имеет свойство антиподынтервала в том и только в том случае, если всякий раз, когда оно истинно на интервале I, оно ложно на любом подынтервале I. Например, пусть в два часа Вася сел писать письмо, в три часа закончил его, и эта ситуация описывается предложением *Вася написал письмо*. Применительно к происходящему на любом интервале, вложенном в интервал [2 часа, 3 часа], данное высказывание будет ложным.

Подобно тому как непредельные предикаты подразделяются на СОСТОЯНИЯ и ПРОЦЕССЫ, предельные предикаты распадаются на две группы – предикаты со значением ВХОЖДЕНИЯ В СОСТОЯНИЕ и со значением ВХОЖДЕНИЯ В ПРОЦЕСС[11]. Например, глагол *заснул* и его аналоги в других языках описывают ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, а глагол *закипел* – ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС. (В.П. Недялков [Недялков 1987] использует для обозначения этих понятий термины инхоатив, инцептив и ингрессив.)

Предельность и непредельность разграничиваются с помощью теста на сочетаемость с обстоятельствами длительности, типа русских *за два часа* в *Вася написал экзаменационное сочинение за два часа* и *два часа* в *Вася поспал два часа*.

Отдельное акциональное значение – МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС (о понятии мультипликатива см. [Храковский 1986; 1989; Dolinina 1999]: ситуация многократно повторяется с одним и тем же набором участников, но занимает при этом один

---

[10] В модельно-теоретической семантике свойство неподразделимости также известно как квантованность.

[11] Эти два класса часто не различаются. На необходимость развести вхождение в состояние и вхождение в процесс указывает, однако, К. Эберт [Ebert 1995: 190–191], комментируя данные языка лимбу: "Некоторые глаголы в лимбу имеют начальную трансформацию (= вхождение в состояние. – *С.Т.*), которая приводит к новой ситуации, описываемой тем же глаголом. Эта ситуация может быть состоянием, и в этом случае мы имеем инхоативно-стативный глагол, или процессом, и в этом случае мы имеем инхоативно-динамический глагол. Последний тип глаголов обычно не принимается к рассмотрению аспектологами".

промежуток времени и рассматривается как единое целое. В существующих акциональных классификациях ближайшими аналогами мультипликативных процессов являются, по всей видимости, *серии* Бринтона и сложные предикаты в [Bache 1995a].

В русском языке мультипликативный процесс описывается, например, предложением *Вася покашлял*. Мультипликативные процессы противопоставлены, с одной стороны, "обычным" процессам типа *Вася погулял*, в которых не выделяется одинаковых повторяющихся составных частей. С другой стороны, мультипликативные процессы следует отличать от дистрибутивов и итеративов[12], которые представляют собой две другие разновидности того, что принято называть глагольной множественностью.

В отличие от мультипликативов, дистрибутивы предполагают, что каждая элементарная ситуация повторяется с разным набором участников, как, например, в предложении *Иван побросал камни в воду*, где на каждый бросок приходится свой собственный камень или набор камней, или в предложении *Дети разбежались*, в котором предполагается, что имеется по меньшей мере две группы детей (возможно, каждая состоит из единственного ребенка) и с каждой из них связана отдельная траектория перемещения (ср. ??*Дети разбежались в зоопарк*, где предполагается единственная траектория). Итеративы предполагают, что с каждой из повторяющихся ситуаций связан отдельный временной интервал, то есть что в действительности мы имеем дело с множеством ситуаций, а не с единой, пусть и внутренне сложно организованной, ситуацией – ср., например, *В это кафе Штирлиц приходил в течение двух месяцев*.

Из этих трех понятий только мультипликативность, как кажется, регулярно выступает в языках мира как лексическая характеристика глагола. Итеративную интерпретацию с необходимостью имеют все хабитуальные предложения (исключая те, которые содержат предикаты индивидного уровня [Krifka et al. 1995]). Итеративность, иными словами, возникает у любого глагола независимо от его акционального класса в комбинации с грамматической морфемой, выражающей (возможно, наряду с другими) хабитуальное значение; так что итеративность скорее принадлежит к собственно аспектуальной, чем к акциональной семантической сфере.

Дистрибутивность, с другой стороны, в большинстве языков чаще всего не является компонентом лексического значения глагола, а зависит от свойств аргументов. Дистрибутивная интерпретация, если не принимать в расчет единичных исключений (например, предикатов типа *собираться* в русском языке), возможна всегда, когда предикат имеет множественный аргумент. Например, *Мальчики пришли* может иметь коллективную интерпретацию, предполагающую единичное событие и группу мальчиков, которые прибыли к пункту назначения одновременно, но это предложение совместимо и с дистрибутивной интерпретацией, при которой имеется множество событий 'прийти' и каждое событие связано с подмножеством мальчиков, в предельном случае – с единственным мальчиком.

В отличие от дистрибутивности и итеративности, мультипликативность – лексическое свойство глагола. Во-первых, в отличие от итеративности, когда различные аспектуальные формы глагола характеризуются наличием/отсутствием итеративной интерпретации (ср. *Он пил вино каждый день* и **Он выпил вино каждый день*) и этот контраст наблюдается у подавляющего большинства глаголов, мультипликативность ограничена небольшим, а возможно, и закрытым классом глаголов типа *кашлять, капать, мигать*. Аспектуальные формы таких предикатов в большинстве языков не противопоставлены по мультипликативности: в английском языке, например, глагол *cough* 'кашлять' допускает мультипликативное прочтение во всех основных аспектуальных формах (*coughed, coughs, is coughing*). В отличие от дистрибутивности, муль-

[12] Часто, впрочем, термин итеративность используется в значительно более широком смысле и описывает любые итерации описываемых событий.

типликативность не зависит от свойств аргументов и оказывается в равной степени доступной с любой ИГ – как с единичным референтом, так и с множественным.

Основная практическая проблема состоит в том, что во многих контекстах развести мультипликативность и итеративность затруднительно. Вопрос о том, имеем ли мы дело с единичной ситуацией, состоящей из многих идентичных частей, или с множеством ситуаций, каждая из которых является атомарной и не поддается дальнейшему членению на подситуации, не всегда имеет ясный ответ.

Интуитивно мы склонны интерпретировать (16a) как мультипликатив, а (16b) – как итератив:

(16) a. He coughed for two minutes.
Он кашлял две минуты.
b. b. John visited this pub for two years.
Джон (многие) годы посещал этот паб.

Имеются, однако, и случаи типа (17):

(17) a. She played this sonata for three minutes.
Она играла эту сонату три минуты.
b. She played this sonata for three hours.
Она играла эту сонату три часа.
c. She played this sonata for three days.
Она играла эту сонату три дня.
d. She played this sonata for three months.
Она играла эту сонату три месяца.

При наличии обстоятельства 'в течение трех минут' в (17a) предпочтительная, а может быть, и единственно возможная интерпретация – единичная ситуация. В контексте обстоятельства 'в течение трех часов' предложение описывает либо единичную ситуацию (что менее вероятно – исполнение сонаты обычно не занимает трех часов), либо множество повторяющихся в течение трех часов ситуаций (что более вероятно). В контексте обстоятельств 'в течение трех дней' и 'в течение трех месяцев' допускается только множественная интерпретация. В тех случаях, когда, как в (17b–d), вводится в рассмотрение множество ситуаций, имеем ли мы дело с мультипликативностью или итеративностью? Возможно ли, что (17b–d) отличаются с этой точки зрения – в каких-то случаях итеративная множественность, а в каких-то дистрибутивная? Если (17b), например, – это мультипликатив, то отличается ли он (а если да, то чем именно) от (17c)?

Аналогичная проблема существует и в русском языке. С одной стороны, большинство русских перфективных глаголов не допускают итеративного прочтения даже в контексте соответствующих обстоятельств. Для таких глаголов проблемы, аналогичной той, которую иллюстрируют предложения (17a–d), не возникает, как видно из (18a). Однако для делимитативов вопрос о разграничении мультипликативности и итеративности остается. Как показывает сравнение (18b) и (18c), оба эти предложения имеют множественную интерпретацию, и если мы хотим отнести (18b) к мультипликативам, требуется ввести эксплицитный критерий, объясняющий, почему этого же нельзя сделать с (18c):

(18) a. **Маша сыграла эту сонату три дня.*
b. *Вася покашлял.*
c. *Маша поиграла эту сонату три дня {а потом ей надоело, и она стала разучивать другую}.*

В языках типа английского, более того, итерация описываемой ситуации с одним и тем же набором участников, как кажется, не имеет даже тех ограничений, которые иллюстрируются русским предложением (18a), и при подходящих семантичес-

ких и/или прагматических условиях возможна для любого глагола в форме простого прошедшего, если только этот глагол не описывает невозобновляемую ситуацию типа 'умирать' или 'взрываться'.

Поэтому в настоящем исследовании для выделения мультипликативных глаголов был использован следующий практический прием: акциональное значение МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС признается у глагола в том случае, если интерпретация, предполагающая множественность событий, возникает в нулевом контексте – в отсутствии разнообразных обстоятельств (длительности, кратности и т.п.) и/или экстралингвистической информации, наводящей итеративность.

3. CASE STUDIES

В настоящем разделе излагаются результаты применения описанной выше процедуры к трем генетически независимым языкам – багвалинскому, карачаево-балкарскому и марийскому[13]. В каждом языке акциональные семантические ярлыки приписываются двум основным аспектуальным формам, Претериту и Презенсу. Основные акциональные классы, выделенные в этих языках, последовательно охарактеризованы в 3.1–3.8. Акциональные характеристики глаголов заключены в угловые скобки. Акциональные характеристики глагольных форм приводятся в фигурных скобках; сначала следует характеристика перфективной формы, затем – имперфективной формы. Например, если глаголу приписана акциональная характеристика <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ}, {СОСТОЯНИЕ}>, то это означает, что перфективные формы этого глагола описывают достижение предела (например, 'сесть'), а имперфективные имеют стативную интерпретацию (например, 'сидеть').

3.1. Сильные и слабые предельные глаголы

Два наиболее многочисленных акциональных класса – сильный предельный (<{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ}, {ПРОЦЕСС}>) и слабый предельный <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, ПРОЦЕСС}, {ПРОЦЕСС}>, которые во всех языках составляют значительную часть – до половины – выборки.

У сильных предельных глаголов Претерит описывает ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, а Презенс – фрагмент ПРОЦЕССА, ведущего к возникновению этого состояния. Претериты в марийском, багвалинском и карачаево-балкарском языках представлены в (19), а Презенсы – в (20).

(19) a. ǯanza ɬēn-ɬ b = ec'i. БАГВАЛИНСКИЙ
кувшин вода-GEN N = наполняться
Кувшин наполнился водой.

b. kerim kitap-nɨ stol-ʁa sal-ʁan-dɨ. БАЛКАРСКИЙ
Керим книга-ACC стол-DAT класть-PFCT-3SG
Керим положил книгу на стол.

---

[13] При исследовании акциональных классов для каждого из языков использовалась выборка из 120 глаголов, составленная на основе общего списка предикатных значений. В список вошли представители всех основных тематических групп таких значений – бытие и обладание, перемещение в пространстве, физические процессы и изменения, жизнедеятельность человека, трудовая деятельность, звуко- и речепроизводство, ментальная деятельность, восприятие и эмоции. В выборке были представлены глаголы с различной актантной структурой – одноместные агентивные и неагентивные, двухместные с агенсом/пациенсом и экспериенцером/стимулом и т.п; кроме того, в нее были включены глагольные дериваты, например, для карачаево-балкарского языка – каузативы и декаузативы, – а также ряд отыменных глаголов.

c. jivan kol-ən. МАРИЙСКИЙ
Иван умирать-PST
Иван умер.

В (19a–c) Претерит вводит в рассмотрение ситуации ‘умирать’, ‘наполняться’ и ‘класть’, которые достигают результирующего состояния ‘быть мертвым’ и ‘быть полным’ и ‘лежать на столе’.

В (20a–c) Презенс описывает соответствующие процессы, которые имеют место до наступления результирующего состояния.

(20) a. ǯanza ɫ̄ēn-ɫ̄ b = ec’i-rā-X ek'ₒa БАГВАЛИНСКИЙ
кувшин вода-GEN N=наполняться-IPFV-CONV AUX.PRS
Кувшин наполняется водой.

b. kerim kitap-nɨ stol-ʁa sal-a-dɨ. БАЛКАРСКИЙ
Керим книга-ACC стол-DAT класть-IPFV-3SG
Керим кладет книгу на стол.

c. jivan kol-eš. МАРИЙСКИЙ
Иван умирать-IPFV
Иван умирает.

Слабые предельные глаголы отличаются от сильных предельных интерпретацией Претерита. Рассмотрим (21):

(21) a. maHammad-i-r hunša b = eL’i. БАГВАЛИНСКИЙ
Магомед-OBL-ERG поле N = пахать
1. *Магомед вспахал поле.*
2. *Магомед попахал поле* {в течение какого-то времени}.

b. kar eri-gen-di. БАЛКАРСКИЙ
снег таять-PFCT-3SG
1. *Снег растаял.*
2. *Снег таял* {в течение какого-то времени, а затем перестал}.

c. pareŋge šüj-ən. МАРИЙСКИЙ
картошка гнить-PST
1. *Картошка сгнила.*
2. *Картошка гнила* {в течение какого-то времени, а затем перестала}.

(21c), например, как и (19a–c), допускает предельную интерпретацию – ‘сгнить’, которая предполагает, что процесс гниения достиг предела, и наступило результирующее состояние ‘картошка гнилая’. Однако (21c), в отличие от (19a–c), допускает и второе прочтение, при котором достижение результирующего состояния не утверждается; при такой интерпретации предложение лишь сообщает, что в течение некоторого времени картошка была охвачена гниением (которое затем прекратилось). Аналогично соотносятся и две интерпретации в (21a–b). Одна описывает ситуацию, достигающую результирующего состояния ‘поле вспахано’ и ‘снег находится в агрегатном состоянии воды’, вторая лишь сообщает, что в течение некоторого времени ситуация развивалась в направлении этого состояния – агенс занимался вспахиванием в (21a), а снег таял в (21b).

Презенс слабых предельных глаголов, как и Презенс сильных предельных глаголов, описывает процесс на пути к результирующему состоянию – ‘картошка гниет’, ‘Магомед пашет поле’, ‘снег тает’.

Различие между сильными и слабыми предельными глаголами демонстрируется с помощью стандартных тестов на предельность, а именно, тестов на сочетаемость с обстоятельствами длительности типа ‘за два часа’ и ‘в течение двух часов’. Ср. (22a–b):

(22) a. kar eki ijik eri-gen-di. БАЛКАРСКИЙ
снег два неделя таять-PFCT-3SG
Снег таял две недели.
b. kar eki ijik-xa eri-gen-di. БАЛКАРСКИЙ
снег два неделя-DAT таять-PFCT-3SG
Снег растаял за две недели.

Слабый предельный глагол *eri* ‘таять’ сочетается с обоими обстоятельствами: (22a) имеет непредельную, а (22b) – предельную интерпретацию.

В отличие от него, сильный предельный глагол *sal* ‘класть’ в Перфекте (как и другие сильные предельные глаголы из (19)) может описывать только ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ и, соответственно, сочетается только с обстоятельством ‘за два часа’.

(23) a. kerim eki minut-xa kitap-ni stol-ʁa sal-ʁan-di. БАЛКАРСКИЙ
Керим два минута-DAT книга-ACC стол-DAT класть-PFCT-3SG
Керим за две минуты положил книгу на стол {если стол труднодосягаем}.

b. *kerim eki minut kitap-ni stol-ʁa sal-ʁan-di. БАЛКАРСКИЙ
Керим два минута книга-ACC стол-DAT класть-PFCT-3SG
Керим две минуты клал книгу на стол {если стол труднодосягаем}.

Непредельное прочтение, которое должно было бы возникнуть в контексте обстоятельства ‘в течение двух часов’, для Перфекта глагола *sal* ‘класть’, как видно из (23b), невозможно.

Тот факт, что глаголы, которые традиционно объединяются в один класс вендлеровых accomplishments, в действительности распадаются на два класса, имеет исключительную важность, особенно в свете того, что распределение глаголов по этим классам не произвольно, а подчиняется примечательным закономерностям. Как нам удалось установить (см. [Татевосов, в печати]), в татарском языке факторами, способствующими принадлежности глагола к слабому предельному классу, являются агентивность и инкрементальность[14], тогда как их отсутствие влечет сильную предельность. В татарском языке все агентивные инкрементальные глаголы (например, ‘есть’, ‘пахать’) являются слабыми предельными – их перфективные формы могут иметь и предельное и непредельное прочтение (с ‘вспахал’ vs. ‘попахал’). Неагентивные неинкрементальные глаголы, напротив, никогда не попадают в слабый предельный класс.

Если принимать во внимание факты такого рода, необходимость последовательно разводить предельные глаголы разных типов по разным классам делается очевидной: только так мы можем увидеть важные межъязыковые закономерности, определяющие предельность и непредельность глагола.

---

[14] Инкрементальность – это такое свойство глагольного предиката, когда описываемое им событие находится в одно-однозначном соответствии с какой-то сущностью, задействованной в этом событии, например, с пациентивным аргументом. Инкрементальным, например, является предикат *есть яблоко*: чем дальше развивается ситуация ‘есть яблоко’, тем большая часть яблока в ней участвует. Аргументы типа *яблоко* в *съесть яблоко* Д. Даути предложил называть инкрементальной темой. Недавно Е.В. Падучева предложила удачный русский эквивадент термина “инкрементальная тема” – “накопитель эффекта”. Для обозначения абстрактного понятия мы, однако, предпочли сохранить заимствованное слово “инкрементальность”.

3.2. Инцептивно-стативные глаголы

У инцептивно-стативных глаголов имеется два характерологических свойства: имперфективные формы описывают СОСТОЯНИЕ, а перфективные – ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ. Как и предельные глаголы, инцептивно-стативные распадаются на два класса – сильные инцептивно-стативные глаголы и слабые инцептивно-стативные глаголы.

Слабые инцептивно-стативные глаголы <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, СОСТОЯНИЕ}, {СОСТОЯНИЕ}> представлены во всех трех языках. Они напоминают слабые предельные тем, что их перфективные формы неоднозначны – кроме вхождения в состояние, они описывают также фрагмент результирующего состояния, ограниченный во времени:

(24) a. ʕali bac'-u-č' heri. БАГВАЛИНСКИЙ
Али волк-OBL-CONT пугаться
1. *Али испугался волка.*
2. *Али боялся волка* (в течение какого-то времени).

b. kerim fatima-nɨ kör-gen-di БАЛКАРСКИЙ
Керим Фатима-ACC видеть-PFCT-3SG
1. *Керим увидел Фатиму.*
2. *Керим видел Фатиму.*

c. jivan tide zadača-m uməl-ən. МАРИЙСКИЙ
Иван этот задача-ACC понимать-PST
1. *Иван понял эту задачу.*
2. *Иван понимал эту задачу.*

В (24a–c) в одной из интерпретаций в рассмотрение вводится изменение состояния партиципанта (соответственно, 'испугался', 'увидел' и 'понял'). Во второй интерпретации предложения с перфективными формами описывают результирующее состояние в прошлом – 'боялся', 'видел', 'понимал'.

Имперфективные формы слабых инцептивно-стативных глаголов описывают состояние. (25) иллюстрирует это для багвалинского языка; в прочих языках дело обстоит аналогичным образом:

(25) ʕali bac'-u-č' her-ā-X eḳ'a. БАГВАЛИНСКИЙ
Али волк-OBL-CONT пугаться-IPFV-CONV AUX.PRS
Али боится волка.

Представители второго класса, класса сильных инцептивно-стативных глаголов <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ}, {СОСТОЯНИЕ}>, отличаются от представителей слабого инцептивно-стативного класса так же, как сильные предельные глаголы отличаются от слабых предельных, – отсутствием непредельной интерпретации у перфективных форм.

(26) maHammad-i-ba ʕali hā. БАГВАЛИНСКИЙ
Магомед-OBL-AFF Али видеть
1. *Магомед увидел Али.*
2. ??*Магомед видел Али* (в течение какого-то времени).

Как видно из (26), сильный инцептивно-стативный глагол *hā* 'видеть', в отличие, например, от слабого инцептивно-стативного глагола *heri* 'бояться' из (24a), не допускает в Претерите стативной интерпретации. Презенс глагола 'видеть', как и Презенс глагола 'бояться', описывает длящееся состояние – 'видит (в данный момент)'.

В карачаево-балкарском и марийском языках сильных инцептивно-стативных глаголов не отмечено: в этих языках если Презенс инцептивно-стативных глаголов допу-

скает стативную интерпретацию, то такая же интерпретация доступна и для перфективных форм, по крайней мере, в качестве одной из возможностей.

Немногочисленной (по крайней мере, в исследованных нами языках), но важной разновидностью инцептивно-стативных глаголов являются глаголы с акциональной характеристикой <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, СОСТОЯНИЕ}, {ПРОЦЕСС, СОСТОЯНИЕ}>. В этой характеристике представлены те же акциональные значения, что у слабых инцептивно-стативных, плюс еще одно дополнительное в Презенсе – значение ПРОЦЕСС. Это иллюстрируется предложением (27a–b) с Презенсом глагола *oltura* 'садиться, сидеть' из карачаево-балкарского языка:

(27) a.	alim	oltur-ʁan-di.	БАЛКАРСКИЙ
	Алим	сидеть-PFCT-3SG	
	1. *Алим сел.*		
	2. *Алим посидел.*		
b.	alim	oltur-a-di.	БАЛКАРСКИЙ
	Алим	сидеть-ST.IPFV-3SG	
	1. *Алим сидит.*		
	2. *Алим садится.*		

Претерит, представленный в (27a), как и у слабых инцептивно-стативных глаголов, неоднозначен – в одной из интерпретаций он описывает состояние 'сидеть', а в другой – вхождение в это состояние – 'сесть'. Презенс, как и у других разновидностей инцептивно-стативных глаголов, может описывать состояние 'сидит', но это не является единственно возможной интерпретацией. (27b) допускает и вторую, отсутствующую как и у сильных, так и у слабых инцептивно-стативных глаголов возможность: она может описывать процесс на пути к результирующему состоянию – 'садиться'.

3.3. Непредельные и стативные глаголы

Класс непредельных глаголов <{ПРОЦЕСС}, {ПРОЦЕСС}> объединяет лексические единицы, у которых основные аспектуальные формы однозначны и имеют акциональное значение ПРОЦЕСС, как иллюстрируется в (28)–(29):

(28) a.	o = j	gulli	iš̌ā.	БАГВАЛИНСКИЙ
	этот = F	ругать	мы.EXCL.SUP.LAT	
	Она поругала нас.			
b.	kerim	kitap-nɨ	izle-gen-di.	БАЛКАРСКИЙ
	Керим	книга-ACC	искать-PFCT-3SG	
	Керим поискал книгу.			
c.	karme	əzg-en.		МАРИЙСКИЙ
	муха	жужжать-PST		
	Муха пожужжала.			
(29) a.	o = j	gull-ā-X	ek̥ˈa iš̌ā.	БАГВАЛИНСКИЙ
	этот = F	ругать-IPFV-CONV	AUX.PRS мы.EXCL.SUP.LAT	
	Она ругает нас.			
b.	kerim	kitap-nɨ	izle-j-di.	БАЛКАРСКИЙ
	Керим	книга-ACC	искать-IPFV-3SG	
	Керим ищет книгу.			
c.	karme	əzg-a.		МАРИЙСКИЙ
	муха	жужжит-IPFV		
	Муха жужжит.			

Как Претерит в (28a–c), так и Презенс в (29a–c) описывают процесс, который не приводит к наступлению какого-либо результирующего состояния. В частности, Претерит непредельных глаголов сигнализирует лишь, что описываемая ситуация (соответственно, 'ругать', 'искать' и 'жужжать') в некоторый момент возникла, а в некоторый другой прекратилась.

Стативные глаголы с акциональной характеристикой <{СОСТОЯНИЕ}, {СОСТОЯНИЕ}> представлены в марийском и карачаево-балкарском языках. Как перфективные, так и имперфективные формы этих глаголов описывают СОСТОЯНИЕ:

(30) a.	kerim	nal'čik-ta	zaša-ʁan-di.	БАЛКАРСКИЙ
	Керим	Нальчик-LOC	жить-PFCT-3SG	
	Керим пожил в Нальчике.			
b.	jivan	kij-en.		МАРИЙСКИЙ
	Иван	лежать-PST		
	Иван полежал.			
(31) a.	kerim	nal'čik-ta	zaša-j-di.	БАЛКАРСКИЙ
	Керим	Нальчик-LOC	жить-IPFV-3SG	
	Керим живет в Нальчике.			
b.	jivan	kij-a.		МАРИЙСКИЙ
	Иван	лежать-IPFV		
	Иван лежит.			

В багвалинском языке стативные глаголы не засвидетельствованы. Те глаголы, аналоги которых в других языках являются стативными, в багвалинском относятся к инцептивно-стативным классам. Например, перфективная форма глагола со значением 'жить' означает не только 'пожил', как в (31a), но и 'поселился'. В багвалинском языке даже у глаголов, образованных от прилагательных со значением качества, например *berc'inab* 'красивый', которые во многих языках образуют ядро стативных предикатов, первое значение (т.е. значение, возникающее в нулевом контексте) – инхоативное 'стать красивым', а не стативное 'быть красивым'.

3.4. Пунктивные глаголы

Пунктивные глаголы <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ}, {–}> характеризуются тем, что их перфективные формы однозначно указывают на достижение предела, как у сильных предельных и сильных инцептивно-стативных глаголов:

(32) a.	maHammad-i-ba	as	b-isã̃.	БАГВАЛИНСКИЙ
	Магомед-OBL-AFF	деньги	N-находить	
	Магомед нашел деньги.			
b.	alim	kitap-nɨ	tap-xan-dɨ.	БАЛКАРСКИЙ
	Алим	книга-ACC	находить-PFCT-3SG	
	Алим (уже) нашел книгу.			
c.	jivan	oksa-m	mu-ən.	МАРИЙСКИЙ
	Иван	деньги-ACC	находить-PST	
	Иван нашел деньги.			

Пунктивные глаголы отличаются от сильных предельных тем, что их имперфективные формы не имеют актуально-длительного значения и могут интерпретироваться только хабитуально. Это видно из (33): в русском переводе глагол несовершенного вида *находить*, как и имперфективные формы соответствующих глаголов

в багвалинском, карачаево-балкарском и марийском языках, допускают только хабитуальное прочтение ('находит регулярно'):

(33) a.	maHammad-i-ba	as	b-is-inā-X	ek'ₒa	БАГВАЛИНСКИЙ
	Магомед-OBL-AFF	деньги	N-находить-IPFV-CONV	AUX.PRS	
	Магомед находит деньги.				
b.	alim	kitap-nɨ	tab-a-dɨ.		БАЛКАРСКИЙ
	Алим	книга-ACC	находить-IPFV-3SG		
	Алим (уже) находит книгу.				
c.	jivan	oksa-m	mu-eš.		МАРИЙСКИЙ
	Иван	деньги-ACC	находить-IPFV		
	Иван находит деньги.				

Многие исследователи, в частности, [Comrie 1976] и [Падучева 1996], объясняют отсутствие у Презенса глаголов типа 'находить' в (33) актуально-длительного значения характеристиками события 'найти': это событие устроено так, что переход в состояние 'быть найденным' происходит мгновенно, и не существует такого момента, о котором можно сказать, что в этот момент ситуация проходит фазу развития. Мы разделяем эту точку зрения с одним небольшим уточнением: пунктивность является не свойством ситуации, а свойством предиката, ее описывающего. Для грамматического поведения глаголов типа *находить* важны не свойства ситуации 'находить' в актуальном мире, а то, как они "упакованы" в лексическое значение глагола. Эта упаковка во многих случаях достаточно произвольна и является предметом межъязыкового варьирования – в противном случае тот факт, что в русском языке пара *приходить-прийти* является пунктивной (**в данный момент приходит*), а в английском нет (^{OK}*is coming now*), был бы совершенно необъясним.

3.5. Мультипликативные глаголы

Мультипликативные глаголы <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС}, {МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС}> имеют неоднозначный Претерит и однозначный Презенс.

В Претерите мультипликативные глаголы описывают либо МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС, ограниченный во времени, либо единичный квант этого процесса, единичное ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ. Эти возможности иллюстрируются в (34a–c).

(34) a.	hₒaj	Habdi.		БАГВАЛИНСКИЙ
	собака	лаять		
	1. *Собака гавкнула.*			
	2. *Собака полаяла* (в течение какого-то времени).			
b.	su	šöndü	aʁ-ʁan-dɨ.	БАЛКАРСКИЙ
	вода	сейчас	капать-PFCT-3SG	
	1. *Вода капнула.*			
	2. *Вода покапала.*			
c.	jivan	tüčalt-en.		МАРИЙСКИЙ
	Иван	стрелять-PST		
	1. *Иван выстрелил.*			
	2. *Иван пострелял.*			

Презенс глаголов типа 'капать' описывает МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС, см. (35):

(35)	su	šöndü	aʁ-a-dɨ.	БАЛКАРСКИЙ
	вода	сейчас	капать-IPFV-3SG	
	Вода сейчас капает.			

Мультипликативные глаголы имеют много общего с пунктивными. Как те, так и другие в перфективных формах вводят в рассмотрение такую ситуацию, внутренние фазы которой не доступны для описания формами того же глагола. Например, (34c) с претеритом глагола 'стрелять' в семельфактивной интерпретации 'выстрелил, стрельнул' описывает почти мгновенное изменение состояния (где исходное состояние – это 'пуля находится в гильзе', а результирующее – 'пуля покинула ствол'). Презенс этого глагола не может вводить в рассмотрение фрагмент ситуации, заключенный между исходным состоянием и результирующим, когда пуля движется вдоль ствола (в русском языке, видимо, такое значение выражает наряду с несколькими другими глагол *выстреливать*). Точно так же, у пунктивных глаголов, например, у 'находить' в (32), перфективная форма может описывать моментальное изменение состояния, но для имперфективной формы недоступна никакая промежуточная фаза этого изменения. Важнейшее отличие мультипликативных и пунктивных глаголов состоит в том, что первые, но не вторые допускают итерацию описываемой ситуации, создающую мультипликативное прочтение для обеих видовых форм. К акциональной характеристике каждой из аспектуальных форм пунктивного глагола прибавляет акциональное значение МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС, и пунктивный глагол вида <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ}, {–}> превращается в мультипликативный <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС}, {МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС}>. В терминах семантики событий это обобщение можно было бы сформулировать следующим образом: в означаемое пунктивных глаголов входят только атомарные события, в означаемое мультипликативных глаголов входят также произвольные суммы этих событий (ср. [Rothstein 2004]).

3.6. Ингрессивно-непредельные глаголы

Ингрессивно-непредельные глаголы <{ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС, ПРОЦЕСС}, {ПРОЦЕСС}> ведут себя аналогично инцептивно-стативным: перфективные формы описывают достижение точки кульминации, а имперфективные – ситуацию, которая возникает после этого. Ингрессивно-непредельные глаголы, однако, описывают не ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ и результирующее СОСТОЯНИЕ, а ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС и результирующий ПРОЦЕСС. Перфективные формы ингрессивно-непредельных глаголов представлены в (36):

(36) a. pat'imat qari. БАГВАЛИНСКИЙ
Патимат плакать
1. *Патимат заплакала.*
2. *Патимат поплакала.*

b. su qajna-ʁan-di. БАЛКАРСКИЙ
вода кипеть-PFCT-3SG
1. *Вода вскипела за две минуты.*
2. *Вода покипела две минуты.*

c. jivan korgəkt-ən. МАРИЙСКИЙ
Иван храпеть-PST
1. *Иван захрапел.*
2. *Иван похрапел.*

В (36b), например, Претерит глагола 'кипеть' описывает достижение точки кульминации, в которой температура воды становится равной 100 градусам, после чего начинается процесс кипения. Сам процесс кипения, как видно из (36b.2), также входит в означаемое данной формы. Аналогичным образом, две интерпретации – ингрессивную и непредельную – имеют (36a) и (36c). В (36a) Претерит описывает возникновение процесса 'плакать' и фрагмент этого процесса, ограниченный во времени, а в (36c) аналогичные возможности реализуются для глагола 'храпеть'.

Имперфективные формы этих же глаголов описывают процесс, который возникает после прохождения точки кульминации. Их интерпретации – соответственно 'плачет', 'храпит' и 'летит'. Для экономии места приводим только пример из карачаево-балкарского языка:

(37) su qajna-j-dɨ. БАЛКАРСКИЙ
вода кипеть-IPFV-3SG
Вода кипит.

Нетрудно заметить, что акциональная характеристика ингрессивно-непредельных глаголов <{ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС, ПРОЦЕСС}, {ПРОЦЕСС}> соответствует акциональной характеристике слабых инцептивно-стативных глаголов – <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, СОСТОЯНИЕ}, {СОСТОЯНИЕ}> с точностью до различия между ярлыками СОСТОЯНИЕ и ПРОЦЕСС. В этом смысле о лексических единицах, представленных в (36)–(37), можно говорить как о слабых ингрессивно-непредельных. Естественный вопрос, возникающий в этой связи, – существуют ли сильные ингрессивно-непредельные глаголы с акциональной характеристикой <{ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС}, {ПРОЦЕСС}>, у которой, по аналогии с сильными инцептивно-стативными глаголами, перфективная форма однозначна?

В трех языках, являющихся основным предметом рассмотрения в настоящей статье, таких глаголов не обнаружилось. В родственном карачаево-балкарскому татарском языке (см. [Татевосов, в печати]), однако, сильные ингрессивно-непредельные глаголы представлены:

(38) su kajn-a-dɤ. ТАТАРСКИЙ
вода кипеть-ST-PST
1. *Вода закипела.*
2. ??*Вода покипела.*

По оценкам носителей мишарского диалекта татарского языка, с которыми мы работали, *kajnadɤ*, Претерит глагола 'кипеть', отличается от своего лексического эквивалента в карачаево-балкарском языке тем, что не допускает непредельной интерпретации, описывающей процесс кипения. Единственное доступное прочтение претерита – ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС.

Судить о том, насколько распространены в языках сильные ингрессивно-непредельные глаголы, однако, мы пока не беремся; во всяком случае, для описания акциональности в татарском языке выделение такого класса представляется необходимым.

Исследуя багвалинский язык, мы отметили и еще один класс – <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, ПРОЦЕСС}, {ПРОЦЕСС$_{исх}$, ПРОЦЕСС$_{рез}$}>. Представителем этого класса является глагол *h$_{\circ}$alli* 'кипеть', который по акциональным свойствам отличается от своих лексических эквивалентов из (36b) и (38). Презенс этого глагола представлен в (39):

(39) ɬ̄ ẽ̄ h$_{\circ}$all-ā-X ek'$_{\circ}$a. БАГВАЛИНСКИЙ
вода кипеть-IPFV-CONV AUX.PRS
1. *Вода кипит.*
2. *Вода закипает.*

Как видно из (39), Презенс глагола *h$_{\circ}$alli* 'кипеть', неоднозначен; он допускает две процессные интерпретации. При первой форма *h$_{\circ}$all-ā-X ek'$_{\circ}$a*, как и форма *qajnajdɨ* в (37) из карачаево-балкарского языка, описывает результирующий процесс кипения, который возникает после достижения точки кульминации. Однако, в отличие от своего карачаево-балкарского двойника, багвалинский Презенс может описывать также исход-

ный процесс, который имеет место до точки кульминации, – это процесс закипания, когда температура нагреваемой жидкости приближается к отметке 100 градусов.

Претерит глагола *hʷalli* 'кипеть' не имеет каких-либо особенностей по сравнению с Претеритом глаголов слабого ингрессивно-непредельного класса, представленных в (36). Как и *qajnaʁandi* в (36b), он может значить либо 'закипел(а)', либо 'покипел(а)'; пример для экономии места не приводим.

Завершая этот раздел, отметим параллелизм глаголов с акциональной характеристикой <{ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС, ПРОЦЕСС}, {ПРОЦЕСС$_{исх}$, ПРОЦЕСС$_{рез}$}>, аналогичных багвалинскому 'кипеть', и глаголов положения с характеристикой <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, СОСТОЯНИЕ}, {ПРОЦЕСС, СОСТОЯНИЕ}>, обсуждавшихся как разновидность слабых инцептивно-стативных глаголов и проиллюстрированных в (27). Оба случая объединяет неоднозначность основных аспектуальных форм. Сходным оказывается и соотношение акциональных значений: и там и там обе аспектуальных формы описывают ситуацию, наступающую после точки кульминации ('посидел', 'покипел'; 'сидит', 'кипит'); кроме того перфективная форма описывает собственно достижение точки кульминации ('сел', 'закипел'), а имперфективная – ПРОЦЕСС, предшествующий этому достижению ('садится', 'закипает'). Наконец, оба этих класса одинаково отличаются от соответствующих сильных и слабых классов – инцептивно-стативного и ингрессивно-непредельного.

3.7. Двупредельные глаголы

Крайне немногочисленный, но чрезвычайно типологически важный класс, который, насколько нам известно, до сих пор не упоминался в литературе, – класс двупредельных глаголов, которые могут описывать более одной точки кульминации. Этот класс отмечен только в исследованных нами тюркских языках (карачаево-балкарском, чувашском и татарском); и пока не был обнаружен за пределами этой языковой общности. Рассмотрим (40) с Претеритом глагола *zan* 'гореть' из карачаево-балкарского языка:

(40) üj zan-ʁan-di. БАЛКАРСКИЙ
дом гореть-PFCT-3SG
1. *Дом загорелся.*
2. *Дом горел* (какое-то время).
3. *Дом сгорел.*

Акциональная характеристика Претерита, представленного в (40), содержит три ярлыка – {ВХОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕСС, ПРОЦЕСС, ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ}. (40.1) описывает возникновение процесса 'гореть', это первая точка кульминации; (40.2) вводит в рассмотрение фрагмент этого процесса, ограниченный во времени ('погорел, горел в течение какого-то времени'); наконец, (40.3) сообщает, что процесс горения достиг второй точки кульминации, после которой имеет место результирующее состояние 'дом уничтожен горением'.

Презенс глагола 'гореть' акционально однозначен: он вводит в рассмотрение процесс горения, который имеет место между первой и второй точками кульминации:

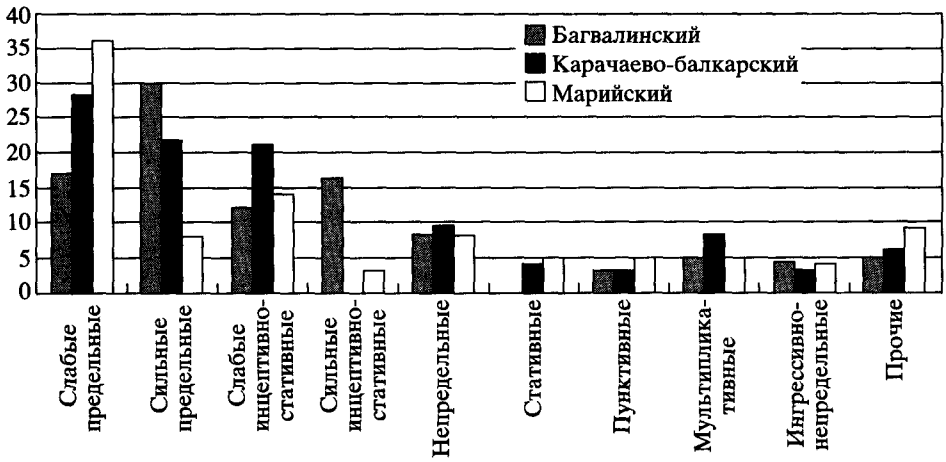
(41) üj zan-a-di. БАЛКАРСКИЙ
дом гореть-IPFV-3SG
Дом горит.

Можно заметить, что диапазон акциональных интерпретаций двупредельного глагола – это как бы объединение (слабого) ингрессивно-непредельного и (слабого) предельного глагола в единое целое. Акциональная характеристика ингрессивно-непредельного глагола включает указание на возникновение нового процесса, а у предельного глагола – на завершение процесса и появление нового состояния. Объединение того

и другого создает последовательность "ПРОЦЕСС$_1$ – ТОЧКА КУЛЬМИНАЦИИ$_1$ – ПРОЦЕСС$_2$ – ТОЧКА КУЛЬМИНАЦИИ$_2$ – СОСТОЯНИЕ" с двумя точками кульминации. Двупредельные глаголы крайне немногочисленны – видимо, именно из-за своей многозначности. Если говорить об этом в функциональных терминах, то следует признать, что здесь действует общий принцип, ограничивающий многозначность: существование большого числа лексических единиц с полисемией типа 'загореться' vs. 'сгореть' резко снизило бы информационную эффективность кода и потребовало бы от слушающего неоправданно больших усилий для его интерпретации.

3.8. Малые классы и глаголы с уникальными акциональными свойствами

Обсуждавшиеся выше акциональные классы, за исключением особо оговоренных случаев, представлены во всех трех описываемых языках, причем более или менее широко. Распределение данных классов в выборке (%) представлено на диаграмме.



Как видно из схемы, в каждом из языков представлено от 5 до 9 процентов глаголов, не входящих ни в один из охарактеризованных выше классов (рубрика "Прочие"). В большинстве случаев это изолированные единичные глаголы, реже двухглагольные классы.

В багвалинском языке, например, это глагол *b = uk'a* 'быть' с акциональной характеристикой <{СОСТОЯНИЕ}, {–}>. Это единственный глагол, который в Претерите описывает только СОСТОЯНИЕ. В класс стативных глаголов он, однако, не входит: его Презенс имеет только хабитуальную интерпретацию – 'бывает' и не имеет актуально-длительной 'есть'.

В карачаево-балкарском языке глагол *bolʁa* 'махать' <{МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС}, {МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС}> отличается от своих ближайших "родственников", глаголов мультипликативного класса, отсутствием семельфактивной интерпретации Претерита – обе аспектуальные формы допускают только мультипликативное прочтение – 'машет' и 'помахал', но не 'махнул'[15].

В марийском языке глагол *jöraš* 'гаснуть' имеет редкую акциональную характеристику <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, СОСТОЯНИЕ, МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС}, {ПРО-

[15] Строго говоря, было бы естественно называть мультипликативными именно глаголы типа карачаево-балкарского 'махать', которые допускают только мультипликативную интерпретацию. Такие глаголы, однако, отличаются предельной типологической экзотичностью. Статистически абсолютно преобладающий тип мультипликативных глаголов – такой, который допускает у перфективных форм не только мультипликативную, но и семельфактивную интерпретацию.

ЦЕСС}>. Претерит этого глагола имеет три интерпретации – 'погас', 'был погасшим' и 'гас и снова зажигался', а Презенс одну – 'гаснет'.

Каждый из случаев такого рода представляет определенный интерес с точки зрения того, как выглядит в свете акциональности возможный глагол в естественном языке. Тем не менее, уникальность и невоспроизводимость изолированных глаголов (по крайней мере, по текущим данным) делает невозможным построение типологических обобщений и объяснений. Более того, если, напрмер, *jöraš* 'гаснуть' – это изолированный факт марийского языка, нигде больше не повторяющийся, то таких объяснений и не требуется. Если же нет, то закономерности, управляющие семантикой таких глаголов, еще только предстоит найти.

4. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Завершить эту статью мы бы хотели коротким замечанием о том, как все вышеизложенное применимо к описанию акциональности и вида в русском языке и в других языках с деривационным видом. (Точка зрения, согласно которой русский относится именно к этому типу языков, как кажется, является преобладающей, хотя, конечно, не единственно возможной, см. обсуждение в [Перцов 1998]; другим, вероятно, значительно более ярким примером языка с деривационным видом является ненецкий, см. [Дудчук 2004; Шлуинский 2004]). В языках типа английского, латинского, багвалинского или карачаево-балкарского глагольная основа реализует весь свой аспектуальный потенциал в н у т р и лексемы – аспектуальные значения перфективной и имперфективной сферы противопоставляются ее словоформами. Соответственно, среди таких словоформ мы можем выбрать основную перфективную и основную имперфективную, исследовать их акциональные свойства и дать лексеме в целом акциональную характеристику – как и предлагается в настоящей статье. В таких языках деривационная морфология создает новые лексемы, которые отличаются от производящих не набором аспектуальных (в узком смысле) свойств, а неаспектуальными компонентами лексического значения – различие производных и производящих лексем никогда не связано с противопоставлением перфективности/имперфективности.

Иначе обстоит дело в языках с деривационным видом. Сумма значений, которая в английском языке описывается формами одной лексемы, например, *build* 'строить' (*is building* и *built*), в русском языке распределена по разным лексемам – *построить* и *строить*. На том основании, что *is building* имеет значение ПРОЦЕСС, а *built* – значение ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ, мы относим глагольную лексему *build* к классу сильных предельных – <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ}, {ПРОЦЕСС}>. В русском языке *построил* и *строил* имеют такие же акциональные значения, но какому лингвистическому объекту можно было бы приписать характеристику <{ВХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИЕ}, {ПРОЦЕСС}>, если *построить* и *строить* являются разными лексемами? Акциональная характеристика отдельно взятого русского глагола любого вида – это в подавляющем большинстве случаев ровно половина характеристики соответствующего глагола в языках со словоизменительным видом. Это означает, что описанная выше процедура к языкам типа русского неприменима. Как обойти эту сложность и как добиться того, что данные об акциональных свойствах глаголов в языках с деривационным видом были сопоставимы с аналогичными данными для языков со словоизменительным видом? Способ выделения акциональных классов придется видоизменить. Как именно, мы постараемся вскоре показать.

Вернемся к тому, с чего мы начали настоящую статью – к проблеме построения общей теории аспектуальности и актантной структуры. Чтобы объяснить эту связь, надо понять, как в точности взаимодействуют аргументы и акциональные свойства. Некоторые впечатляющие успехи на этом пути уже достигнуты [Dowty 1979; Tenny 1994; Krifka 1998; Kratzer 2002; 2003; Ramchand 2003; 2004]. Однако много еще предстоит сделать. Настоящая статья, хочется надеяться, позволяет решить вспомогательную, но важную задачу: предложить способ создания межъязыковой акциональной

классификации, которая позволила бы сделать видимыми межъязыковые закономерности, касающиеся распределения глаголов по классам. Следующий шаг – исследование и объяснение этих закономерностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Булыгина 1982 – *Т.В. Булыгина.* К построению типологии предикатов в русском языке // О.Н. Селиверстова (ред.). Семантические типы предикатов. М., 1982.

Дудчук 2004 – *Ф.И. Дудчук.* Вопросы глагольного вида в ненецком языке. Технический отчет № 04–07 ненецкой лингвистической экспедиции МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2004.

Маслов 1948 – *Ю.С. Маслов.* Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке // ИАН СЛЯ. 1948. № 4.

Недялков 1987 – *В.П. Недялков.* Начинательность и средства ее выражения в языках разных типов // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.

Недялков, Яхонтов 1983 – *В.П. Недялков, С.Е. Яхонтов.* Типология результативных конструкций // В.П. Недялков (ред.). Типология результативных конструкций. Л., 1983.

Падучева 1996 – *Е.В. Падучева.* Семантические исследования. М., 1996.

Падучева 2004 – *Е.В. Падучева.* Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

Перцов 1998 – *Н.В. Перцов.* Русский вид: словоизменение или словообразования? // М.Ю. Черткова (ред.). Типология вида. Проблемы, поиски, решения. М., 1998.

Смит 1998 – *К.С. Смит.* Двухкомпонентная теория вида // М.Ю. Черткова (ред.). Типология вида: проблемы, поиски, решения. М., 1998.

Татевосов (в печати) – *С.Г. Татевосов.* Вид и акциональность // Е.А. Лютикова, К.И. Казенин, В.Д. Соловьев, С.Г. Татевосов (ред.). Мишарский диалект татарского языка. Очерки по синтаксису и семантике. Казань (в печати).

Храковский 1986 – *В.С. Храковский.* Семантические типы множества ситуаций (опыт классификации) // ИАН СЛЯ. № 2. 1986.

Храковский 1989 – *В.С. Храковский.* Семантические типы множества ситуаций и их естественная классификация // В.С. Храковский (ред.). Типология итеративных конструкций. Л., 1989.

Шлуинский 2004 – *А.Б. Шлуинский.* Аспектуальная деривация в малоземельском говоре тундрового диалекта ненецкого языка. Технический отчет № 04–05 Ненецкой лингвистической экспедиции МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2004.

Bach 1981 – *E. Bach.* On time, tense, and aspect: An essay in English metaphysics // P. Cole (ed.). Radical Pragmatics, 62–81. New York, 1981.

Bach 1986 – *E. Bach.* The algebra of events // Linguistics and philosophy. № 9. 1986.

Bache 1985 – *C. Bache.* Verbal aspect: A general theory and its application to present-day English. Odense, 1985.

Bache 1995a – *C. Bache.* The study of aspect, tense and action: Toward a theory of the semantics of grammatical categories. Frankfurt-am-Main, 1995.

Bache 1995b – *C. Bache.* Another look at the distinction between aspect and action // P.M. Bertinetto, V. Bianchi, Ö. Dahl, M. Squartini (eds.). Temporal reference, aspect, and actionality. V. 1. Torino, 1995.

Bache et al. (eds.) 1994 – *C. Bache, H. Basbøll, C.-E. Lindberg* (eds.) Tense, aspect and action: empirical and theoretical contributions to language typology. Berlin, 1994.

Bennett, Partee 1978 – *M. Bennett, B. Partee.* Toward the logic of tense and aspect in English. Bloomington, 1978.

Bergsland 1994 – *K. Bergsland.* Aleut tenses and aspects // C. Bache, H. Basbøll, C.-E. Lindberg (eds.). Tense, aspect and action: empirical and theoretical contributions to language typology. Berlin, 1994.

Bertinetto 1986 – *P.M. Bertinetto.* Tempo, aspetto e azione nel verbo italiano: Il sistema dell'indicative. Firenze, 1986.

Bertinetto 1994 – *P.M. Bertinetto.* Temporal reference, aspect, and actionality: Their neutralization and interactions, mostly exemplified in Italian // C. Bache, H. Basbøll, C.-E. Lindberg (eds.). Tense, aspect and action: empirical and theoretical contributions to language typology. Berlin, 1994.

Bertinetto, Delfitto 2000 – *P.M. Bertinetto, D. Delfitto.* Aspect vs. actionality: Why they should be kept apart // Ö. Dahl (ed.). Tense and aspect in the languages of Europe. Berlin, 2000.

Bhat 1999 – *D.N.S. Bhat.* The prominence of tense, aspect, and mood. Amsterdam, 1999.

Breu 1994 – *W. Breu.* Interactions between lexical, temporal, and aspectual meanings // Studies in language. № 18. 1994.
Breu 1996 – *W. Breu.* Komponentenmodell der Interaktion von Lexik und Aspekt // W. Girke (ed.). Slavistische Linguistik 1995. München, 1996.
Bybee 1985 – *J.L. Bybee.* Morphology: a study of the relation between meaning and form. Amsterdam, 1985.
Bybee et al. 1994 – *J.L. Bybee, R. Perkins, W. Pagliuca.* The evolution of grammar. Tense, aspect, and modality in the languages of the world. Chicago; London, 1994.
Bybee, Dahl 1989 – *J.L. Bybee, Ö. Dahl.* The creation of tense and aspect systems in the languages of the world // Studies in language. № 13. 1989.
Chung, Timberlake 1985 – *S. Chung, A. Timberlake.* Tense, aspect, and mood // T. Shopen (ed.). Language typology and syntactic description. V. 3. Cambridge, 1985.
Comrie 1976 – *B. Comrie.* Aspect. An introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge, 1976.
Dahl 1981 – *Ö. Dahl.* On the definition of the telic-atelic (bounded-unbounded) distinction // Tedeschi, Zaenen (eds.). 1981.
Dahl 1985 – *Ö. Dahl.* Tense and aspect systems. Oxford, 1985.
Dahl 2000 – *Ö. Dahl.* The tense-aspect systems of European languages in a typological perspective // Ö. Dahl (ed.). Tense and aspect in the languages of Europe. Berlin, 2000.
Desclés, Guentchèva 1995 – *J.-P.Desclés, Z. Guentchèva.* Is the notion of process necessary? // P.M. Bertinetto, V. Bianchi, Ö. Dahl, M. Squartini (eds.). Temporal reference, aspect, and actionality. V. 1. Torino, 1995.
Dik 1989 – *S. Dik.* The theory of functional grammar. V. 1: The structure of the clause. Dordrecht, 1989.
Dik 1994 – *S. Dik.* Verbal semantics in functional grammar // C. Bache, H. Basbøll, C.-E. Lindberg (eds.). Tense, aspect and action: empirical and theoretical contributions to language typology. Berlin, 1994.
Dolinina 1999 – *I.B. Dolinina.* Distributivity: more than aspect // W. Abraham, L. Kulikov (eds.). Tense-aspect, transitivity, and causativity: essays in honor of Vladimir Nedjalkov. Amsterdam, 1999.
Dowty 1979 – *D.R. Dowty.* Word meaning and Montague grammar. The semantics of verbs and times in generative semantics and in Montague's PTQ. Dordrecht, 1979.
Dowty 1991 – *D.R. Dowty.* Thematic proto-roles and argument selection // Language. V. 67. 1991.
Durst-Andersen 1992 – *P. Durst-Andersen.* Mental grammar. Russian aspect and related issues. Ohio, 1992.
Durst-Andersen 2000 – *P. Durst-Andersen.* The English progressive as picture description // Acta linguistica Hafniensia. № 32. 2000.
Ebert 1995 – *K. Ebert.* Ambiguous prefect-progressive forms across languages // P.M. Bertinetto, V. Bianchi, Ö. Dahl, M. Squartini (eds.). Temporal reference, aspect, and actionality. V. 2. Torino, 1995.
Filip 1994 – *H. Filip.* Aspect and the semantics of noun phrases // C.Vet, C.Vetters (eds.). Tense and aspect in discourse. Berlin; New York, 1994.
Filip 1997 – *H. Filip.* Integrating telicity, aspect, and NP semantics: The role of thematic structure // J. Toman (ed.). Formal approaches to Slavic linguistics. V. III. Ann Arbor, 1997.
Filip 1999 – *H. Filip.* Aspect, eventuality types and noun phrase semantics. New York, 1999.
Hale, Keyser 1993 – *K. Hale, S.J. Keyser.* On argument structure and the lexical expression of syntactic relations // *K. Hale, S.J. Keyser* (eds.). The view from building 20, Cambridge (Mass.), 1993.
Johanson 1996 – *L. Johanson.* Terminality operators and their hierarchical status // B. Devriendt, L. Goossens, J. van der Auwera (eds.). Complex structures: a functionalist perspective. Berlin; New York, 1996.
Katz 1995 – *G. Katz.* Stativity, genericity, and temporal reference. Ph.D. Dissertation. University of Rochester, 1995.
Klein 1995 – *W. Klein.* A time-relational analysis of Russian aspect // Language. № 71. 1995.
Kratzer 2000 – *A. Kratzer.* Building statives // Berkeley linguistic society. № 26. 2000.
Kratzer 2002 – *A. Kratzer.* Telicity and the meaning of objective case. Ms. University of Massachusetts, Amherst, 2002.
Kratzer 2003 – *A. Kratzer.* The event argument. Ms. University of Massachusetts, Amherst; www.semanticsarchive.net, 2003.
Krifka 1989 – *M. Krifka.* Nominal reference, temporal constitution and quantification in event semantics // R. Bartch, J. van Benthem, P. van Emde Boas (eds.). Semantics and contextual expression. Dordrecht, 1989.

Krifka 1992 – *M. Krifka.* Thematic relations as links between nominal reference and temporal consitution // I. Sag, A. Szabolcsi (eds.). Lexical matters. Stanford, 1992.
Krifka 1998 – *M. Krifka.* The origins of telicity // S. Rothstein (ed.). Events and grammar. Dordrecht, 1998.
Krifka 2001 – *M. Krifka.* The mereological approach to aspectual composition. Paper presented at the perspectives on aspect. University of Utrecht, 2001.
Krifka et al. 1995 – *M. Krifka, F.J. Pelletier, G.N. Carlson, A. ter Meulen, G. Link, G. Chierchia.* Genericity: An introduction // G. Carlson, F.J. Pelletier (eds.). The generic book. Chicago; London, 1995.
Lenci 1995 – *A. Lenci.* The semantic representation of non-quantificational habituals // P.M. Bertinetto, V. Bianchi, Ö. Dahl, M. Squartini (eds.) Temporal reference, aspect, and actionality. V. 1. Torino, 1995.
Lyons 1977 – *J. Lyons.* Semantics. Cambridge, 1977.
Moens 1987 – *M. Moens.* Tense, aspect, and temporal reference. Ph.D. dissertation, University of Edinburgh, 1987.
Moens, Steedman 1988 – *M. Moens, M. Steedman.* Temporal onthology and temporal reference // Computational linguistics. № 14. 1988.
Mourelatos 1978 – *A.P. Mourelatos.* Events, processes, and states // Linguistics and philosophy. № 2. 1978.
Mourelatos 1981 – *A.P. Mourelatos.* Events, processes, and states // Tedeschi, Zaenen (eds.). 1981.
Paducheva 1995 – *E.V. Paducheva.* Taxonomic categories and semantic of aspectual opposition // P.M. Bertinetto, V. Bianchi, Ö. Dahl, M. Squartini (eds.). Temporal reference, aspect, and actionality. V. 1. Torino, 1995.
Parsons 1990 – *T. Parsons.* Events in the semantics of English. Cambridge (Mass.), 1990.
Ramchand 2003 – *G. Ramchand.* First phase syntax. Ms. University of Oxford, 2003.
Ramchand 2004 – *G. Ramchand.* Aktionsart, L-syntax and selection // H. Verkuyl, H. de Swart (eds.). Perspectives on aspect. Dordrecht, 2004.
Rothstein 2004 – *S. Rothstein.* Structuring events: a study in the semantics of lexical aspect. Oxford, 2004.
Ryle 1949 – *G. Ryle.* The concept of mind. London, 1949.
Smith 1983 – *C.S. Smith.* A theory of aspectual choice // Language. V. 59. 1983.
Smith 1991 – *C.S. Smith.* The parameter of aspect. Dordrecht, 1991.
Smith 1995 – *C.S. Smith.* The range od aspectual situation types: derived categories and a bounding paradox // P.M. Bertinetto, V. Bianchi, Ö. Dahl, M. Squartini (eds.). Temporal reference, aspect, and actionality. V. 2. Torino, 1995.
Smith 1996 – *C.S. Smith.* Aspectual categories in Navajo // International journal of American linguistics. № 626. 1996.
Smith 1999 – *C.S. Smith.* Activities: Events or states? // Linguistics and philosophy. № 22. 1999.
Taylor 1977 – *B. Taylor.* Tense and continuity // Linguistics and philosophy. № 1. 1977.
Tenny 1994 – *C. Tenny.* Aspectual roles and the syntax-semantix interface. Dordrecht, 1994.
Vendler 1957 – *Z. Vendler.* Verbs and times // The philosophical review. № 66. 1957.
Vendler 1967 – *Z. Vendler.* Linguistics in philosophy. Cornell, 1967.
Verkuyl 1972 – *H.J. Verkuyl.* On the compositional nature of the aspects. Dordrecht, 1972.
Verkuyl 1989 – *H.J. Verkuyl.* Aspectual classes and aspectual composition // Linguistics and philosophy. № 12. 1989.
Verkuyl 1993 – *H.J. Verkuyl.* A theory of aspectuality. The interaction between temporal and atemporal structure. Cambridge, 1993.
Verkuyl 1999 – *H.J. Verkuyl.* Aspectual Issues. Studies in time and quantity. Stanford, 1999.
Vikner 1994 – *C. Vikner.* Change in homogeneity in verbal and nominal reference // C. Bachel, H. Basbøll, C.-E. Lindberg (eds.). Tense, aspect and action: empirical and theoretical contributions to language typology. Berlin, 1994.
Zucchi 1999 – *A. Zucchi.* Incomplete events, intensionality and perfective aspect // Natural language semantics. № 7. 1999.

№ 1 2005

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

***Я.Г. Тестелец.* Введение в общий синтаксис.** М.: РГГУ, 2001. 800 с. ISBN 5–7281–0343-X

Настоящая книга представляет собой первый опыт описания новейших теорий и научных направлений в области общего синтаксиса, и прежде всего тех теорий и моделей, которые на предыдущих этапах по разным (чаще всего идеологическим) причинам в СССР не разрабатывались. Таким образом, можно сказать, что Я. Г. Тестелец, известный синтаксист и типолог, является первым лингвистом, своего рода "первопроходцем", который предлагает первое изданное в России и на русском языке пособие для студентов и аспирантов[1], специализирующихся в области лингвистики вообще и в теории синтаксиса и грамматики в особенности. Заслуга автора состоит не только в том, что русскому читателю теперь доступны самые новые направления современной теории синтаксиса, но и в том, что Тестелец очень конкретно и наглядно иллюстрирует каждую вводимую им категорию на материале языков разных типов и разной генетической принадлежности. Тем самым, книга может служить и введением в курс общего синтаксиса, и типологическим обзором большого количества разнообразных синтаксических явлений в языках мира. Все иноязычные примеры снабжены переводом на русский язык и поморфемным глоссированием, в соответствии с международным стандартом публикаций по общему языкознанию, типологии и теории языка.

Объемная книга Тестельца состоит из введения, двух больших частей, заключения, библиографии, предметного указателя и списка сокращений. Библиография к книге является достаточно обширной, хотя и она не включает всего того, что отражает так называемый "state of the art".

Можно отметить пропуски некоторых важных и, более того, совершенно необходимых, с нашей точки зрения, работ. Начнем с Хомского и с его теории минимализма – в книге не учитываются такие работы новейшего этапа порождающей грамматики, как например [Chomsky 1999; 2001]. Кроме того, автор сознательно или ненамеренно игнорирует ряд важных статей и монографий Хомского, касающихся отдельных аспектов теоретической концепции минимализма [Chomsky 1995] и теории управления и связывания [Chomsky 1981; 1986a; 1986b]. В книге не освещаются, к сожалению, и те теории и работы последнего десятилетия, которые особенно важны для понимания основных модификаций "теории принципов и параметров" (т.е. минималистской программы по [Chomsky

[1] Как представляется, предлагаемая книга является "первым опытом учебного пособия по общему синтаксису на русском языке" вообще, ср. рецензию на эту монографию М. Гиро-Вебер [Guiraud-Weber 2003]. Можно, впрочем, назвать некоторые аналоги этой книги (преимущественно, пособия по *порождающей грамматике*), которые были опубликованы до работы Тестельца. Так, из пособий по порождающей грамматике для аспирантов вузов одним из самых лучших и наиболее ясно написанных с точки зрения методики и дидактики является книга для словенских синтаксистов, славистов и англистов М. Голден [Golden 2000]. Наиболее сложной в таких работах оказывается, по-видимому, проблема точной передачи англоязычной синтаксической терминологии. Так, хорошо известно, что, например, англ. *subject* нельзя просто перевести на русский как *субъект* (см. подробнее указанную рецензию М. Гиро-Вебер) и т.п. С подобными терминологическими проблемами встречался и автор настоящей рецензии при разработке чешской терминологии порождающего синтаксиса в связи с проектом "Энциклопедического словаря чешского языка" (ср. [Kosta, Veselovská 2002]).

1995]). Назовем лишь некоторые монографии, заслуживающие, на наш взгляд, внимания в этом отношении [Błaszczak 2001; Bošković 1997; Diesing 1996; Kitahara 1997; Williams 1994; Zubizarreta 1998; Di Sciullo (ed.) 1996; Haegeman (ed.) 1997]. Конечно, этот наш список во многом условный и произвольный – следует все-таки иметь в виду, что в библиографии к книге Тестельца представлено около 400 русскоязычных и более 500 иноязычных (в основном, английских и немецких) названий. Вместе с тем, наш список свидетельствует о том, что подбор литературы к одному из самых важных теоретических разделов работы (см. глава XII: *Теория принципов и параметров*, с. 554–613) не свободен от критики. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что книга такого объема и замысла заведомо не может удовлетворить все желания и не может выполнить задачу подбора исчерпывающей и полной библиографии на обсуждаемую тему. Поэтому мы меньше всего хотели бы упрекать автора (хорошо знающего современную синтаксическую проблематику и активно участвовавшего в международных конференциях по формальному описанию славянских языков) в недостатке эрудиции. Но, с другой стороны, нам кажется, что уровень этого пособия настолько высокий, что при учете дополнительной литературы книга вполне могла бы претендовать уже и на роль справочника по современному синтаксису.

Очень ценным с дидактической точки зрения является то, что в конце каждой главы автором делаются выводы и формулируются оценки и перспективы, касающиеся соотношения обсуждаемых понятий, теорий, методов и эмпирического материала анализируемых языков. Кроме того, в конце каждой главы дается список рекомендуемой литературы с краткими комментариями автора. Для большей наглядности в текст включены деревья, графы, схемы и таблицы, причем этот иллюстративный материал никогда не является самоцелью. Сказанное касается и упражнений, помещаемых, время от времени, в конце определенных разделов в форме лингвистических задач и конкретных вопросов.

Кратко коснемся структуры пособия. Его первая часть посвящена синтаксическим категориям и явлениям. В обширном *введении* определяется предмет исследования, а именно *синтаксис* (с. 19–58): это, по дефиниции автора, "...наука о строении словосочетания и предложения...", имеющая "две основные задачи: описательную и объяснительную (теоретическую)" (с. 22). Проблематичность этого определения вытекает из того, что термины "описательный (дескриптивный)" и "объяснительный (эксплaнаторный)" уже заняты теорией порождающей грамматики Хомского, где различаются "три критерия оценки описания грамматической модели" с возрастающей степенью адекватности, а именно: (а) "адекватность на уровне наблюдения" лингвистических фактов (*observational adequacy*)[2], (б) "адекватность на уровне описания" (*descriptive adequacy*)[3] и (в) "адекватность на уровне объяснения" (*explanatory adequacy*)[4] [Chomsky 1965: 24, 26]. Поэтому мы предлагаем принять более строгую дефиницию Хомского, исходя из того, что если "*синтаксическое описание*" состоит из множества правил и способа порождения синтаксической структуры на основе ЛЕКСИКОНА, которые характеризуют синтаксический компонент знания грамматики/синтаксиса *Г1/С1 какого-то языка* (например, русского), то задача *синтаксического объяснения* состоит в том, чтобы понять характер, строй и пути усвоения этого синтаксического/грамматического "знания" *Универсальной грамматики* (УГ) ребенком в относительно краткий период (от 0,1 до 3,5 лет) и на основе относительно ограниченного "инпута", независимо от различий и сходств синтаксических структур в конкретных языках (ср. также [Kosta 1992: 169–179]). Нам кажется, что именно этот вид "объяснения" автор имел в виду, когда писал: "Задача о б ъ я с н е н и я при ис-

---

[2] "A grammar that aims for observational adequacy is concerned merely to give an account of the primary data that is the input to the learning device" [Chomsky 1964: 24].

[3] Грамматика дескриптивно адекватна «...to the extent that it correctly describes the intrinsic competence of the idealized native speaker. The structural descriptions assigned to sentences by the grammar, the distinctions that it makes between well-formed and deviant, etc., must, for descriptive adequacy, correspond to the linguistic intuition of the native speaker (whether or not he may be immediately aware of this) in a significant and substantial class or crucial cases. A linguistic theory must contain a definition of "grammar", that is a specification of the class of potential grammars. We may, correspondingly, say that a linguistic theory is descriptively adequate if it makes a descriptively adequate grammar available for each natural language» [Chomsky 1965: 24].

[4] Грамматика Г1 как модель лингвистической компетенции объяснительно адекватна, если она в состоянии "...to provide a principled basis, independent of any particular language, for the selection of the descriptively adequate grammar of each language" [Chomsky 1964: 24].

следовании синтаксиса, как и вообще в науке, заключается в том, чтобы понять, почему наблюдаемые факты именно таковы, какие они есть. Это означает, в частности, ответ на вопрос, почему синтаксические структуры в различных языках, в том числе не связанных ни родством, ни географической близостью, обнаруживают многочисленные (и нередко поразительные) сходства. Описание имеет дело с каким-то языком, объяснение (теория) – с Языком вообще" (с. 22–23).

В главе I автор описывает *слово* и *предложение* и *структуру зависимостей* (с. 61–106). В этом разделе автор постепенно знакомит читателя с проблемой зависимостей и их представления. Он пытается достичь цели синтаксического анализа зависимостей составляющих различных предложений (в том числе и связанного текста), апеллируя вначале к чистой интуиции носителей языка, а впоследствии используя "более надежные" аналитические критерии (с. 65 и сл.). Выражения на "метаязыке", который будет в состоянии описать синтаксические отношения между словоформами в предложении, должны обладать следующими свойствами: «они должны быть а) связными, т.е. неразрывными; б) иерархическими, т.е. показывать, что одни слова в предложении "главнее" других; в) основываться на множестве бинарных отношений (т. е. таких отношений, которые определяются на множестве пар)» (с. 68). При этом, автор исходит из предположения, что синтаксическую структуру цепочки следует анализировать на основе двух компонентов: 1) множества словоформ, содержащихся в цепочке, и 2) множества n-арных синтаксических отношений, определенных на множестве словоформ. Тем самым, оказывается, что, с одной стороны, автор принимает бинарную концепцию составляющих, представленную в [Chomsky 1981; Jackendoff 1977; Kayne 1994], поскольку он говорит о том, "что синтаксические связи между словоформами оказывается возможным охарактеризовать с помощью одних только б и н а р н ы х (= связывающих ровно два элемента) отношений" (с. 71, выделено автором). Но, с другой стороны, Тестелец пользуется графическими средствами других, более известных в русской формальной традиции моделей [Гладкий 1985], в том числе знаком стрелки (→). Интересно, что критериями зависимости служат не только те, которые можно найти в одной определенной синтаксической теории (например, в порождающей грамматике), но и другие, более разнородные, как например "грамматическая связанность" (с. 76), "линейный порядок" (с. 77), "фонетическая слитность" (?) (с. 77), "эндоцентричность" (с. 79–84), "морфосинтаксический локус" (с. 84–86) и прочие (например, опущение, с. 86–88). Самым важным, но не везде используемым предположением автора является синтаксический статус глагола как вершины предложения[5].

В главе II (с. 107–155) Тестелец занимается *структурой составляющих* и *фразовыми правилами*. На наш взгляд, автор очень тонко, четко и в целом убедительно показывает, что "структуры составляющих имеют ряд преимуществ перед структурами зависимостей" (с. 107 и сл., в особенности с. 145–155). К этому можно добавить, что в аспекте объяснительной адекватности (т.е. усвоения фразовых правил УГ, см. ниже) фразовые модели также оказываются сильнее моделей зависимостей.

Далее в книге описывается *валентность слова* (глава III, с. 156–228). В п. 1 вводятся понятия синтаксической и семантической сочетаемости языковых единиц, исходя из уже упомянутой модели зависимостей Л. Теньера. Не совсем случайно то, что эта теория проверяется прежде всего на богатом материале русского языка – вклад Московской семантической школы (Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский и др.) здесь чрезвычайно весом и плодотворен. Автор, в частности, объясняет разни-

---

[5] Н. Хомский и его сторонники в принципе исходят, в традиции Аристотеля, из синтаксического "равноправия" именной (NP) и глагольной (VP) групп. Концепция глагольной вершины принимается впервые в грамматике зависимостей Л. Теньера [Tesnière 1959] и в ее различных вариантах (например, в пражской функционально-генеративной грамматике, ср. [Sgall, Panevová, Hajičová 1986]). В грамматике зависимостей синтаксическое отношение неравноправно: из двух словоформ X и У одна в каком-то смысле определяет другую, значит одна словоформа является вершиной (или управляющей категорией), а другая словоформа зависимой (или управляемой). Этот принцип зависимости существует также во фразовых моделях порождающей грамматики Хомского, но лишь в строго определенных конфигурациях, и касается не только терминальных (в том числе лексических либо функциональных), но именно фразовых категорий: фразовая проекция глагольной вершины управляет именной группой прямого объекта, если и только если первая доминирует ("категориально *C*-командует") по отношению к второй. Этим и подобным "сходствам" отдельных моделей автор, к сожалению, не уделяет внимания.

цу между актантами и сирконстантами, вводит понятие расщепления валентностей, выработанное Ю.Д. Апресяном, понятие (семантической) валентности "партиципанта" (с. 158), обращая внимание на то, что далеко не всякий параметр ситуации, обозначаемой предикатным словом, следует рассматривать как его "семантическую валентность" (ср. "тест диалога" чешского лингвиста Я. Паневовой, приведенный автором на с. 171).

В п. 3 обсуждается проблема обязательности, факультативности и нереализуемости выражения семантических и синтаксических валентностей. Особый вид зависимых представляют "адъекты" – к ним относятся в основном обстоятельства места и времени (п. 5, с. 187–189). Глава завершается перечнем "основных семантических ролей", причем некоторые из них не совпадают с понятиями, предложенными в теории "тематических ролей"[6].

Известным в теории русского синтаксиса является понятие "предикативности", которым определяется *предложение и клауза* в главе IV (с. 229–268). Автор постепенно развивает свои представления о различии между непредикативными синтаксическими единицами, "предложением" как носителем признака предикативности, сравнивая и в дальнейшем проницательно рассматривая разные концепты этого или сходных терминов в русской грамматической традиции, например, у Пешковского, Гака и Звегинцева. Парадигма "предложения" исследуется при учете предикативных категорий модальности, наклонения, времени, и категории предикативного согласования[7]. В высшей степени оправданно то, что автор включает в рассмотрение не только русский, но и другие, в том числе и неиндоевропейские, языки (например, грузинский), где эти категории выражаются и функционируют по-разному. Под термином "клауза", вводимым автором в русскую синтаксическую традицию (с. 255–265), подразумевается "любая группа, в том числе и не предикативная, вершиной которой является глагол, а при отсутствии полнозначного глагола – связка или грамматический элемент, играющий роль связки". Это определение точно соответствует английскому термину "clause"[8].

Следующий раздел озаглавлен «*Синтаксические "невидимки"*». Речь идет здесь о *пустых категориях* (глава V, с. 269–316). Автор приводит аргументы в пользу предположения – оправданного не только с теоретической, но и с практическо-эмпирической точки зрения – о существовании пустых (нулевых) категорий, которые детально описаны и в ряде других современных работ[9].

Не останавливаясь специально на этом разделе работы, заметим только, что хотя предложенный автором анализ в целом достаточно адекватен, он не выходит за пределы того, что было предложено более десяти лет тому назад в отношении всех четырех пустых категорий (*pro, PRO*, переменных и NP-следов/traces = *t*)[10]. Анализ "маленького" *pro* в определенных предложениях и "большого" PRO в инфинитивных (контрольных) предложениях основывается в принципе на теории "управления и связывания" [Chomsky 1981], однако наряду с "аргументным" подлежащим – как в примере (1) [*Петр*$_i$ *думает, что* [pro$_i$ *не сможет* [PRO$_i$ *пригласить всех своих*$_i$ *студентов в гости*]]] – следовало бы дать анализ и нулевого дополнения (*pro*), впервые полно описанного в работах Рицци для итальянского [Rizzi 1986], а нами для русского [Kosta 1992, гл. 5: 531–587]. Имеются в виду примеры, хорошо засвидетельствованные в русском литературном и в других славянских языках, типа (2а) *Ты уже по-настоящему любил – (кого-нибудь / pro)?* и нулевых объектов с неопределенной (произвольной = *arb*) референцией

[6] В рамках этой последней семантическую роль "стимул" при глаголах чувственного восприятия следовало бы соединить с тематической ролью "экспериенцера", поскольку единственным различием между ними является семантический признак "чувственный" и "чувство". Наоборот, следовало бы сделать различие между "пациенсом" как партиципантом одушевленным и "темой" как партиципантом неодушевленным, чтобы объяснить синтаксически существенное различие так называемых "неаккузативных" и пассивных конструкций в языках разных типов (ср. подробнее [Kosta, Frasek 2004 (в печати); Kosta 2004].

[7] Ср. подробный анализ признака предикативности русского предложения также в [Gladrow, Kosta 1999].

[8] В английской традиции термин "clause" не совпадает с термином "phrase", а имеет значение "частичное предложение" = "Teilsatz", ср., например [Bußmann 1990: 150, 585].

[9] Не все из которых автору, возможно, известны (см. подробнее [Kosta 1992; 1997a; 1997b]).

[10] См. предыдущую сноску; укажем также работы [Růžička 1986; 1987; Müller, Rohrbacher 1989; Pesetsky 1981/1982], которые в книге Тестельца либо вообще не учитываются, либо упоминаются очень бегло. Краткий обзор пустых категорий можно найти также в словаре [Karlík et al. 2002: 212, 285, 484, 486 и особенно 490–491].

типа: (2б) *Петр всегда предупреждает* pro_{arb} *об этом виде ошибок*, (2в) *Хорошая погода приглашает* pro_{arb} *остаться*, (2г) *Хорошая музыка примиряет* pro_{arb} *с (самим) собой*, (2д) *Это приводит* pro_{arb} *к следующему выводу*.

Мы не претендуем на то, чтобы дать исчерпывающий и всесторонний обзор рецензируемой книги. Она слишком богата с точки зрения языкового материала и эмпирических данных, анализ которых выходит далеко за пределы языковой компетенции рецензента (особенно в отношении неиндоевропейских языков). В эмпиричной части монографии автор останавливается, помимо прочих, на следующих темах: *подлежащее* (глава VI, с. 317–359), *способы выражения синтаксических отношений* (глава VII, с. 360–410), *диатеза, залог, актантная деривация* (глава VIII, с. 411–436) и *коммуникативные категории* (глава IX, с. 437–468).

Уже сам этот перечень свидетельствует о том, что автор пытается дать как можно более полный обзор основных синтаксических явлений, но он же подтверждает и то, что автор не претендует на построение единообразной модели в рамках лишь одного лингвистического направления, используя обширный диапазон школ, моделей и теоретических парадигм, российских, европейских и американских.

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что перед нами самый первый опыт подлинно научного описания синтаксиса для начинающих – с разных позиций и на почве различных, чаще всего конкурирующих друг с другом синтаксических направлений мировой теоретической лингвистики. Этот подход заставляет говорить о подлинной новизне книги в России, заметно отличающей ее, на наш взгляд, от других существующих на русском языке монографий.

Сказанное подтверждается в особенности теми разделами второй части пособия (с. 469–750), в которых анализируются как разные этапы "*Порождающей грамматики*" Н. Хомского (глава XI–XIII)[11], так и "*Категориальная грамматика*" (глава XIV, автор К.И. Казенин). Следует добавить, что автор претендует на исчерпывающее описание далеко не всех более или менее "формальных грамматик". И это последовательное методическое ограничение не только понятно, но и целесообразно, поскольку оно отвечает задачам всякого учебного пособия, которое должно сосредоточиться на самых важных и самых влиятельных школах и направлениях современной синтаксической теории[12].

В относительно краткой главе XV (с. 693–721) о "*Функциональной синтаксической типологии*" особый интерес представляют две теории, а именно: 1) объяснительная типология А.Е. Кибрика (с. 694–700) и 2) теория порядка составляющих Дж. Хокинса (с. 700–711), последняя из которых служит основой для объяснения фактов грамматикализации так называемых "хороших" порядков (с. 711–713).

Наконец, автор предлагает критический анализ хорошо известной в России (а сегодня уже и в мире) синтаксическо-семантической модели языка "Смысл⇔Текст" И.А. Мельчука и А.К. Жолковского.

Не будем оценивать, в какой мере информация, сообщаемая в теоретических разделах книги, может способствовать удачному решению многочисленных эмпирических и дескриптивных проблем[13]. Для читателя и без того очевидно, что перед ним серьезный опыт описания синтаксиса и теории языка на самом высоком теоретическом и методологическом уровне. Рецензируемая книга ставит (а подчас

---

[11] В том числе: *стандартная теория* [Chomsky 1965], *расширенная стандартная теория*, *исправленная стандартная теория* (работы Н. Хомского 1970–1980), *теория управления и связывания* и *теория барьеров* [Chomsky 1981; 1982; 1986a; 1986b; 1991] и, наконец, *минималистская теория*, включающая также в себя *теорию проверки признаков* [Chomsky 1993; 1994; 1995]. В шестом разделе главы XIII приведены главные принципы выбора из нескольких возможных деривaций *теории оптимальности* [Prince, Smolensky 1993], своеобразной разработки лингвистов, фонологов и синтаксистов университета Нью-Джерси.

[12] Тем самым, в пособие не включены ни теория лексической функциональной грамматики Джоан Брезнан [Bresnan 1982; Kaplan, Maxwell 1988], ни теория обобщенной фразовой структуры составляющих GPSG [Gazdar, Pullum 1981; 1982; Gazdar et al. 1985], ни теория вершины фразовой структуры составляющих HPSG [Pollard, Sag 1988], ни реляционная грамматика и другие, менее влиятельные попытки формального описания синтаксиса – уже не говоря о теориях, пользующихся синтаксисом лишь как служебным уровнем описания, как например, формальная семантика (А. Кратцер, Б. Парти и др.) или теория ментального лексикона (Дж. Пустеевски).

[13] Рекомендуем, по крайней мере, чтобы русский читатель усовершенствовал свои знания определенных моделей формального синтаксиса, его категорий и явлений – и особенно теории "принципов и параметров" [Chomsky 1981; Chomsky, Lasnik 1993] – на основе новейших пособий по порождающей грамматике, указанных выше.

и решает) самые существенные и нетривиальные вопросы современной синтаксической теории. Отдельные критические замечания рецензента направлены в основном на то, чтобы дать некоторые конструктивные и, надеемся, полезные дополнения по ряду важных проблем, но они ни в коем случае не снижают нашей высокой оценки блестящего и фундаментального учебного пособия Я.Г. Тестельца.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гладкий 1985 – *А.В. Гладкий.* Синтаксические структуры естественного языка в автоматизированных системах общения. М., 1985.

Błaszczak 2001 – *J. Błaszczak.* Investigation into interaction between the indefinites and negation. Berlin, 2001.

Bošković 1997– *Ž. Bošković.* The syntax of nonfinite complementation. An economy approach. Cambridge (Mass.), 1997.

Bresnan 1982 – *J. Bresnan.* Control and complementation // J. Bresnan (ed.). The mental representation of grammatical relations. Cambridge (Mass.), 1982.

Bußmann 1990 – *H. Bußmann.* Lexikon der Sprachwissenschaft. 2-Aufl., völlig neu bearbeitete. Stuttgart, 1990.

Chomsky 1964 – *N. Chomsky.* The logical basis of linguistic theory // H.G. Lunt (ed.) Proceedings of the ninth international congress of linguists. August 27–31. 1962. Cambridge (Mass.), 1964.

Chomsky 1965 – *N. Chomsky.* Aspects of the theory of syntax. Cambridge (Mass.), 1965.

Chomsky 1981 – *N. Chomsky.* Lectures on government and binding. Dordrecht, 1981.

Chomsky 1982 – *N. Chomsky.* Some concepts and consequences of the theory of government and binding. Cambridge (Mass.), 1982.

Chomsky 1986a – *N. Chomsky.* Knowledge of language. Its nature, origin, and use. New York, 1986.

Chomsky 1986b – *N. Chomsky.* Barriers. Cambridge (Mass.), 1986.

Chomsky 1991 – *N. Chomsky.* Some notes on economy of derivation and representation // Principles and parameters in comparative grammar / R. Freidin (ed.). Cambridge (Mass.), 1991.

Chomsky 1993 – *N. Chomsky.* A minimalist program for linguistic theory // The view from building 20: Essays in linguistics in honor for S. Bromberger / K. Hale, S.J. Keyser (eds.). Cambridge (Mass.), 1993.

Chomsky 1994 – *N. Chomsky.* Bare phrase structure // MIT occasional papers in linguistics 5. Cambridge (Mass.), 1994.

Chomsky 1995 – *N. Chomsky.* The minimalist program. Cambridge (Mass.), 1995.

Chomsky 1999 – *N. Chomsky.* Derivation by phase // MIT occasional papers in linguistics 18. Cambridge (Mass.), 1995.

Chomsky 2001 – *N. Chomsky.* Beyond explanatory adequacy // MIT occasional papers in linguistics 20. Cambridge (Mass.), 2001.

Chomsky, Lasnik 1993 – *N. Chomsky, H. Lasnik.* The theory of principles and parameters // Syntax. An international handbook of contemporary research / J. Jacobs, A. von Stechow, W. Sternefeld, Th. Vennemann (eds.). Berlin, 1993.

Di Sciullo (ed.) 1996 – Configurations. Essays on structure and interpretation // Ed. by A.-M. Di Sciullo. Somerville, 1996.

Diesing 1996 – *M. Diesing.* Indefinites. Cambridge (Mass.), 1996.

Haegemann (ed.) 1997 – Elements of grammar. Handbook of generative syntax / Ed. by L. Haegeman. Dordrecht; Boston, 1997.

Gazdar et al. 1985 – Generalized phrase structure grammar. Cambridge (Mass.), 1985.

Gazdar, Pullum 1981 – *G. Gazdar, G.K. Pullum.* Subcategorization, constituent order and the notion "head" // M. Moorgat, H.D. van Hulst, T. Hoekstra (eds.). The scope of lexical rules. Dordrecht, 1981.

Gazdar, Pullum 1982 – *G. Gazdar, G.K. Pullum.* Auxiliaries and related phenomena in a restrictive theory of grammar // Language. V. 58. 1982.

Gladrow, Kosta 1999 – *W. Gladrow, P. Kosta.* Syntax und Syntaxkonzeptionen // Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen / Hrsg. von H. Jachnow, S. Dönninghaus, K. Niehörster, K. Tafel, M. Wingender. Wiesbaden, 1999.

Golden 2000 – *M. Golden.* Teorija opisnego jezikoslovja. Ljubljana, 2000.

Guiraud-Weber 2003 – RLing. 2003. V. 27. № 3. – Рец.: Я.Г. Тестелец. Введение в общий синтаксис. М., 2001.

Jackendoff 1977 – *R. Jackendoff.* X syntax: A study of phrase structure. Cambridge (Mass.), 1977.

Kaplan, Maxwell 1988 – *R. Kaplan, J.T. Maxwell.* Constituent coordination in lexical-functional grammar // COLING 88. V. 1. Budapest, 1988.

Karlík et al. 2002 – *P. Karlík a koll.* Encyklopedický slovník češtiny. Praha, 2002.

Kayne 1994 – *R.S. Kayne.* The antisymmetry of syntax. Cambridge (Mass.), 1994.

Kitahara 1997 – *H. Kitahara.* Elementary operations and optimal derivations. Cambridge (Mass.), 1997.

Kosta 1992 – *P. Kosta*. UG als System mentaler Repräsentationen: Die Nativismus-Empirismus-Hypothese und Platons Problem // P. Kosta. Leere Kategorien in den nordslavischen Sprachen. Zur Analyse leerer Subjekte und Objekte in der Rektions–Bindungs–Theorie. Frankfurt-am-Main, 1992.

Kosta 1997a – *P. Kosta*. Empty categories, null-subjects and null-objects and how to treat them in the minimalist program // Linguistics in Potsdam. 2 / 3. (1995 / 1996). Potsdam, 1997.

Kosta 1997b – *P. Kosta*. Syntaktische Prinzipien und Informationsstruktur in sogenannten "nichtkonfigurationellen" Sprachen // P. Kosta, E. Mann (eds.). Slavistische Linguistik 1996. Referate des XXII. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, Potsdam, 17–20.09.1996. München, 1997.

Kosta 2004 – *P. Kosta*. Unaccusativity and unergativity in Czech, Polish and further Slavic languages at the morpho – syntactic – interface // Formal description of Slavic languages (FDSL V): 5. Europäische Konferenz zur formalen Beschreibung slavischer Sprachen. Universität Leipzig, 26–28.11.2003. Frankfurt-am-Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford, 2004. (в печати).

Kosta, Frasek 2004 (в печати) – *P. Kosta, J. Frasek*. Neakuzativita a neergativita v češtině, polštině a jiných slovanských jazycích na rozhraní syntaxe a morfologie // Z. Hladká, P. Karlík (eds.). Čeština – Univerzália a specifika V. Mezinárodní bohemistická konference. Brno, 12–14 listopadu. 2003. Praha, 2004 (в печати).

Kosta, Veselovská 2002 – *P. Kosta, L. Veselovská*. Encyklopedický slovník češtiny. Praha, 2002.

Müller, Rohrbacher 1989 – *G. Müller, B. Rohrbacher*. Eine Geschichte ohne Subjekt // Linguistische Berichte. Bd. 119. 1989.

Pesetsky 1981/1982 – *D. Pesetsky*. Complementizer-trace phenomena and the nominative Island condition // The linguistic review. V. I (1981/1982).

Pollard, Sag 1988 – *C. Pollard, I.A. Sag*. An information-based syntax and semantics. V. 1: Fundamentals. Stanford, 1988.

Prince, Smolensky 1993 – *A. Prince, P. Smolensky*. Optimality theory // Rutgers University Center for cognitive science. Technical report. V. 2. 1993.

Rizzi 1986 – *L. Rizzi*. Null Objects in Italian and the theory of pro // Linguistic inquiry. V. 17. 1986.

Růžička 1986 – *R. Růžička*. Функционирование и классификация пустых категорий в русском литературном языке // ZSL. V. 31. 1986.

Růžička 1987 – *R. Růžička*. Leere Kategorien des Russischen zwischen Lexikon und Syntax // G. Freidhof, P. Kosta (eds.). Slavistische Linguistik 1986. Referate des XII. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens Frankfurt-am-Main, 16–19.09.1986 (1987).

Sgall, Panevová, Hajičová 1986 – *P. Sgall, J. Panevová, E. Hajičová*. The meaning of the sentence in its semantic and pragmatic aspects. Prague; Dordrecht, 1986.

Tesnière 1959 – *L. Tesnière*. Éléments de syntaxe structurale. Paris, 1959.

Williams 1994 – *E. Williams*. Thematic structure in syntax. Cambridge (Mass.), 1994.

Zubizarreta 1998 – *M.L. Zubizarreta*. Prosody, focus, and word order. Cambridge (Mass.), 1998.

П. Коста

S. Jones. **Antonymy: A corpus-based perspective.** London; New York: Routledge, 2002. – xvi, 193 p.

Книга Стивена Джонса, вышедшая в серии "Routledge advances in corpus linguistics" ("Публикации по корпусной лингвистике издательства Раутледж"), замечательна тем, что стремится навести мосты между стремительно развивающейся в последние годы корпусной лингвистикой и традиционной лингвистической теорией. Она призвана показать, какие преимущества дает использование текстовых корпусов в изучении такой "изъезженной" темы, как антонимия. В этой связи книга может быть интересна как специалистам в области корпусной лингвистики, так и исследователям лексической семантики, лингвистики текста и лексикографам.

Исходной идеей данной работы послужило наблюдение Дж. Джастесона и С. Катца, что "прилагательные не случайно имеют тенденцию сочетаться со своими антонимами в пределах одного предложения чаще, чем можно было бы ожидать" [Justeson, Katz 1991: 142]. Исследование С. Джонса базируется на 280-миллионном неаннотированном корпусе английских газетных текстов ("The Independent", 1988–1996 гг.), из которого программными средствами выделен подкорпус

предложений, содержащих одновременно оба члена антонимической пары. Цель монографии состоит в том, чтобы выяснить, зачем авторы употребляют слова "с противоположным значением" вместе, и создать новую классификацию антонимов, основанную не на хорошо известных синтагматических характеристиках (таких как градуируемость, тип общей семантической части, лексическая – морфологическая антонимия и др. [Leech 1974; Lyons 1977; Cruse 1986]; см. также [Апресян 1974]), а на том, что С. Джонс называет "парадигматическими свойствами" связанной антонимической пары[1].

Книга состоит из 11 глав. В первых двух главах дается общее представление об антонимии и представлена краткая история ее изучения. В третьей главе говорится о том, как создавалась рабочая база данных и каким образом классифицировались вошедшие в нее предложения. Четвертая, пятая и шестая главы – фактографические, в них описываются восемь классов ролей, которые играют антонимические пары в организации предложения. В седьмой главе представлен статистический анализ совместной встречаемости антонимов на фоне их общей частотности, и определяются наиболее эндемичные, т.е. "преданные друг другу", антонимические пары (например, наречие *indirectly* в каждых 10 случаях из 28 употребляется вместе с *directly*). В восьмой главе утверждается, что, употребляя антонимы совместно, пишущие обычно придерживаются определенного "стандартного порядка" их появления, и исследуются семантические и иные факторы, обуславливающие этот порядок для каждой пары. В девятой главе изучается вопрос о том, насколько признаки частеречной принадлежности и градуируемости влияют на функционирование антонимов в тексте (в терминах нововыявленных антонимических ролей). Десятая глава посвящена выявлению новых антонимических пар в тексте на основе выявленных ранее типичных контекстов семантически связанных употреблений. В одиннадцатой главе подводятся итоги исследования.

С точки зрения заявленной "corpus-based" перспективы, особый интерес представляют главы 3-я (методы отбора материала) и 10-я (автоматическое обнаружение антонимических пар в корпусе), на которых мы бы хотели остановиться подробнее. При этом нам кажется важным проанализировать их содержание сквозь призму следующих проблем:

1) Корпусная лингвистика предполагает разделение труда между человеком-исследователем и компьютером. Где проходят эти границы?

2) Насколько корпусная лингвистика приближается к точным наукам? Какова степень вмешательства интуиции исследователя в корпусное исследование?

Процедура отбора языкового материала, излагаемая в 3-й главе, состоит из нескольких этапов. Во-первых, создается словарь "бесспорных" антонимов (56 пар), сбалансированный по разным признакам. В нем представлены как высоко-, так и низкочастотные антонимы, включены представители разных частей речи (прилагательные, наречия, глаголы и существительные), лексические и морфологические антонимы (ср. *new/old* 'новый/старый' и *honest/dishonest* 'честный/нечестный'), градуируемые и неградуируемые (ср. *high/low* 'высокий/низкий' и *male/female* 'мужчина/женщина'). Во-вторых, на основании этого словаря компьютерная программа выбирает из большого корпуса все предложения, содержащие антонимические коллокации (более 55 000 примеров); к ним добавляются предложения, содержащие некоторое слово и его коррелят с приставкой *un-(X / un-X;* ср. *clever / un-clever* 'умный/неумный'; еще более 10 000 примеров). В-третьих, из полученного подкорпуса отбирается эталонная база данных, насчитывающая 3 000 предложений. Это наиболее трудоемкий и длительный этап отбора материала, осуществляемый по большей части вручную: в самом деле, только исследователь может установить, что коллокация антонимов в предложении не случайна и что между ними существует определенная семантическая связь. Кроме того, эталонная база примеров отбирается в соответствии со сложной системой критериев (sampling method):

– должно быть не более 60% примеров на антонимы-прилагательные, и не менее чем по 10% примеров на существительные, глаголы и наречия;

– должно быть не менее 250 примеров (8,3%) на неградуируемые антонимы и не менее 250 примеров на морфологические антонимы;

– иерархия частотности в общем случае не нарушается (более частотные антонимы остаются более частотными), но шкала частот сознательно сжимается, чтобы при статистических расчетах можно было принять во внима-

[1] Исследование С. Джонса выполнено в рамках проекта ACRONYM Ливерпульского университета [Renouf 1996], нацеленного на автоматическую идентификацию гипо-гиперонимических, синонимических и тому подобных отношений в тексте.

ние даже самые редкие пары (рекордсмен – пара *dishonest/honest* – представлена только 12 предложениями).

К сожалению, автор не поясняет, почему были выбраны именно такие количественные соотношения, как осталось без объяснения и то, для чего вообще понадобилось отбирать 3 000 эталонных примеров (впрочем, последнюю цифру объяснить легче – как кажется, это разумный компромисс между тем количеством предложений, которое можно обработать вручную, и количеством примеров, достоверным для статистического анализа). Наибольший недостаток процедуры отбора материала, по нашему мнению, состоит в том, что в программе поиска коллокаций не был реализован морфологический компонент, тем самым, например, ни формы множественного числа существительных, ни формы прошедшего времени глаголов не попали в выборку.

С. Джонс критикует "до-корпусную" лингвистику за то, что в ней слишком многое зависит от интуиции исследователя: лингвисты, как правило, подбирают такие языковые примеры, которые подтверждают их исходные теоретические установки, но могут не заметить другие языковые факты, не объясняемые их теорией. Корпусный подход, по мысли С. Джонса, дает исследователю более объективный материал. Более того, исходный корпус примеров должен сам подсказать исследователю способ его классификации и даже последовательность анализа полученных классов.

Вторая часть 3-й главы так и называется – "классификация базы данных". На примере 23 предложений из базы С. Джонс показывает, каков был ход его рассуждений при признании примеров подобными или различными (на этом этапе участие интуиции приветствуется). Выделяется восемь основных классов:

1) "вспомогательная" (ancillary) антонимия: *stamps are* ***popular*** *but collecting is* ***unpopular*** 'марки популярны, но их коллекционирование непопулярно';

2) "сочиненная" (coordinated) антонимия: *the company's policy is to recruit* ***skilled*** *and* ***unskilled*** *workers* 'стратегия компании состоит в том, чтобы привлекать квалифицированных и неквалифицированных работников';

3) "сравнительная" (comparative) антонимия: *those who* ***succeed*** *more than they* ***fail*** 'те, кто достигает успеха чаще, чем терпит неудачу';

4) "различительная" (distinguished) антонимия: *the gap between* ***rich*** *and* ***poor*** *has widened* 'пропасть между богатыми и бедными увеличилась';

5) "транзитивная" (transitional) антонимия: *how easy to slip from the* ***legal*** *to the* ***illegal*** *trade* 'как легко соскользнуть с легальной торговли на нелегальную';

6) "негативная" (negated) антонимия: *to facilitate the re-establishment of* ***peace****, not* ***war*** 'способствовать установлению мира, а не войны';

7) "экстремальная" (extreme) антонимия: *except when the soil is too* ***wet*** *or too* ***dry*** 'за исключением тех случаев, когда почва слишком влажная или слишком сухая';

8) "идиоматическая" (idiomatic) антонимия: *to blow* ***hot*** *and* ***cold*** 'постоянно менять свои взгляды' (букв. 'веять жарой и холодом').

В то же время, характерно, что С. Джонс не делает обобщений по поводу того, какие именно типы критериев он использует при классификации. Со своей стороны заметим, что здесь применяются и содержательные критерии, такие как семантическое отношение между членами антонимической пары и "риторический эффект", и некоторые нестрогие синтаксические критерии, а именно, исследователь нащупывает наиболее частотные языковые конструкции и сигнальные слова, характерные для каждого из выделенных классов, например, *X, not Y* 'X, а не Y' ("негативная" антонимия), *the gap* 'расхождение (между)'. Безусловным достижением анализа С. Джонса является отказ от использования чисто поверхностных синтаксических критериев, хотя, как показывают главы 4–6, при выделении подклассов и мелких "миноритарных" классов он руководствуется в большей мере формальными признаками; ср., в частности, неоднородный в семантическом отношении класс "косая черта" (oblique stroke), в котором примеры "объединены по признаку пунктуации, а не по функции": *some mistrust of the* ***alive/dead*** *distinction* 'некоторое недоверие к различию между живым/мертвым', *Sussex's* ***new/old*** *boy Adrian Jones* 'новый старый игрок из Суссекса Адриан Джонс' и др. (с. 96).

Накопленные сведения о словах и конструкциях, сигнализирующих об антонимической коллокации, находят применение в 10-й главе. Здесь делается попытка обнаружить устойчивые антонимические пары, еще не зафиксированные словарями – так называемые "антонимы завтрашнего дня". С помощью трех продуктивных диагностических конструкций (*both X and Y, between X and Y, whether X or Y*) выявляются потенциальные антонимы для трех достаточно частотных ключевых слов (в позиции X): *good* 'хороший', *natural* 'естественный' и *style* 'стиль, способ выражения'. В частности, у слова

good, помимо очевидного *bad* 'плохой', обнаруживается коррелят *evil* ('добро/зло') (37,3% коллокаций), а также ряд слов *wicked* 'злой', *nasty* 'отвратительный', *pathetic* 'жалкий', *poor* 'скудный', *lousy* 'вшивый' и др., контрастирующих по значению, но встреченных менее двух раз. В то же время, из списка коллокаций вычеркиваются пары, связанные особыми не-антонимическими отношениями, ср. *good and excellent* 'хороший и превосходный', а также окказиональные сочетания типа *good and true (story)* 'хороший и правдивый (рассказ)'. Конечно, было бы интересно узнать, какие результаты дал бы этот подход на более представительном корпусе и при использовании всех "сигнальных" конструкций, но a priori он кажется чрезвычайно плодотворным.

В отношении разделения труда между человеком и машиной исследование С. Джонса показывает, что компьютерные программы совершенно незаменимы для статистической обработки результатов. Однако не "интеллектуализованная" программа не может сама по себе отобрать необходимый исследователю материал: она только составляет исходный подкорпус примеров (по заданному исследователем словарю) и может привлекаться для поиска предложений, содержащих сигнальные слова и конструкции (которые затем нуждаются в дополнительной "человеческой" экспертизе).

Соответственно, отбор примеров на базе корпуса не свободен от интуиции лингвиста. Человек-исследователь участвует в создании эталонного словаря и в экспертизе эталонной базы данных, а критерии выборки зависят от его априорных представлений о том, как должны выглядеть эталонный словарь и эталонная база данных.

Наиболее независимы от интуиции статистические методы исследования. Стремясь никак не проявить собственные предпочтения относительно оценки важности выделенных классов, С. Джонс строит их описание в последующих главах строго в соответствии с результатами статистического анализа. Наибольшего внимания удостаиваются два самых частотных класса – "вспомогательная" (38,7% примеров) и "сочиненная" антонимия (38,4%). Удивительным образом, "сравнительная" антонимия встречается всего в 6,8% примеров, хотя "измерение одного антонима относительно другого всегда интуитивно признавалось одним из свойств антонимии" (с. 76). Из этого частотного различия С. Джонс делает важный вывод о природе антонимических коллокаций: "Пишущие предпочитают использовать антонимию как сигнал, будь то указание на полную шкалу значений признака, или подчеркивание контраста между двумя другими понятиями. Простая констатация, что X отличается от Y, имеет малый эффект при использовании в языке" (с. 103).

Вместе с тем, хотелось бы заметить, что "статистический" порядок изложения не всегда удобен для восприятия анализируемого материала. Например, близкие и логически связанные классы "вспомогательной" (ancillary) и "специфицирующей" (specification) антонимии рассматриваются в разных главах (последний "миноритарный" класс представлен в конструкциях с числительными: *there were 51* ***male*** *and 140* ***female*** *prisoners* 'там находились: 51 заключенный мужского и 140 заключенных женского пола'), а при анализе факторов, обуславливающих порядок антонимов в тексте (гл. 8), семантические признаки ("позитивность", "маркированность" и др.) перемежаются с признаками, характеризующими фонологическую структуру и частотность антонимов.

Кроме того, нельзя отрицать, что исходная статистика зависит от степени дробности классов, определяемой, опять-таки, по интуитивным критериям, а значит, "статистический" принцип изложения также не избавлен до конца от влияния исследователя.

В заключение хотелось бы отметить, что перед нами не просто семантическое исследование, использующее в качестве инструмента анализа текстовый корпус, но исследование, сознательно ограниченное его рамками. Поэтому, например, в книге отсутствуют отрицательные языковые примеры, привычные для традиционных работ по семантике. Утверждается, что использование корпуса избавляет исследователя от необходимости вводить отрицательный языковой материал: само отсутствие таких примеров в корпусе подтверждает правоту автора. Действительно, почти ни один пример в книге не вызывает нареканий у читателя (напомним, что цитаты берутся из газеты "The Independent", где публикуются хорошо отредактированные тексты). Однако, что же будет делать исследователь с менее "темперированным" корпусом, составленным, например, из текстов Интернета? Аналогичная проблема может возникнуть при использовании корпуса художественных произведений: например, С. Джонс критикует корпус произведений Агаты Кристи из [Mettinger 1994], в котором многие предложения "кажутся стилизованными и слишком книжными" (с. 22).

Как говорит в предисловии к книге редактор серии М. Хей (M. Hoey), существует опасность, что корпусная лингвистика сосредоточится на детальном описании самих кор-

пусов и станет, тем самым, наукой о корпусах. Но это было бы так же нелепо, как "микроскопная биология" или "лопатное садоводство". Как известно, изобретение микроскопа привело к возникновению микробиологии, но сначала микроскоп использовали для любования узорами на крыльях бабочек. По-видимому, требуется некоторое время, чтобы лингвистика научилась использовать текстовые корпуса как надежный инструмент языкового анализа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Cruse 1986 – *D.A. Cruse*. Lexical semantics. Cambridge, 1986.

Justeson, Katz 1991 – *J.S. Justeson, S.M. Katz*. Redefining antonymy: the textual structure of a semantic relation // Literary and linguistic computing. 7. 1991.

Leech 1974 – *G. Leech*. Semantics. Harmondsworth, 1974.

Lyons 1977 – *J. Lyons*. Semantics. V. 2. Cambridge, 1977.

Mettinger 1994 – *A. Mettinger*. Aspects of semantic opposition in English. Oxford, 1994.

Renouf 1996 – *A. Renouf*. The ACRONYM project: discovering the textual thesaurus // J.M. Aarts, P. De Haan, N.H.J. Oostdijk (eds.). Synchronic corpus linguistics – Papers from the Sixteenth international conference on English language research on computerised corpora. Amsterdam, 1996.

Апресян 1974 – *Ю.Д. Апресян*. Лексическая семантика. М., 1974.

О.Н. Ляшевская

***D. Beck.* The typology of parts of speech systems: the markedness of adjectives.** New York; London: Routledge, 2002. – 219 p. (Outstanding dissertations in linguistics).

Книга канадского лингвиста Дэвида Бека[1] "Типология систем частей речи: маркированность прилагательных", вышедшая в серии "Выдающиеся диссертации по лингвистике" издательства Раутледж, посвящена вопросам теории частей речи в целом, а также специфике прилагательных как самостоятельной части речи. Работа построена преимущественно на материале индейских языков Америки (салишских, юто-ацтекских, тотонакских, кечуа), но для сравнения привлекается материал двух индоевропейских языков (английского и русского), некоторых языков Африки (хауса, бемба), полинезийских языков (тонга) и ряда других.

Книга состоит из введения, трех основных глав и заключения. В первой главе ("Введение") дается краткий обзор содержания трех последующих исследовательских глав. Во второй главе ("Определения лексических классов") анализируются существующий теоретический аппарат, используемый для выделения и классификации частей речи. В третьей главе, в соответствии с ее названием ("Семантика, синтаксис и лексика"), показано, как на основе семантических и синтаксических признаков можно делить лексические единицы языка на части речи. Четвертая глава ("Типы организации лексического инвентаря") – самая большая в книге. В ней анализируются примеры из языков, в которых по-разному представлены взаимоотношения между тремя основными знаменательными частями речи – существительным, глаголом и прилагательным (всего возможны четыре типа такого взаимоотношения). В пятой, заключительной, главе подводятся итоги проделанного исследования.

Основной теоретический инструментарий, используемый автором, выглядит следующим образом: теория функциональной маркированности лексических единиц У. Крофта [Croft 1991], понятия декатегоризации [Hopper, Thompson 1984] и рекатегоризации [Bhat 1994], а также принцип использования лексических единиц в несобственной функции без дополнительных средств (without further measures) [Hengeveld 1992a; 1992b].

Теория маркированности Крофта предполагает, что для каждого из трех основных семантических типов лексем – объектов, действий и свойств – существует одна немаркированная и две маркированные синтаксические функции. Немаркированные функции могут быть представлены в таблице следующим образом:

[1] Д. Бек – сотрудник кафедры лингвистики университета г. Альберта, специалист по индейским языкам Америки, в круг интересов которого входят также типология, когнитивная лингвистика, общие проблемы семантики и синтаксиса [Beck 2000; 2001]. В настоящее время Д. Бек работает над созданием словаря, грамматического описания и корпуса текстов одного из малоизученных тотонакских языков Мексики.

Синтаксическая функция

	существительное	прилагательное	глагол
Семантический тип	объект	свойство	действие
Прагматическая роль	референция	модификация	предикация

В остальных несвойственных им функциях объекты, действия и свойства должны быть маркированы как минимум не меньше, чем в собственных.

Декатегоризацией принято, вслед за Хоппером и Томпсон, называть явление утраты лексемой в нетипичной для нее синтаксической функции присущих ей грамматических свойств. Так например, краткие формы русских прилагательных, выполняя функцию предикации, нетипичную для прилагательных, лишаются возможности выражать согласовательную категорию падежа, свойственную прилагательным в функции атрибута. Термин "рекатегоризация", впервые введенный Бхатом, обозначает обратный процесс: приобретение лексемой в несвойственной ей синтаксической функции грамматических свойств, характерных для другого типа лексем, для которого данная функция является базовой. Примером рекатегоризации является появление согласовательных показателей числа и рода у существительных и прилагательных в предикативной позиции в некоторых тюркских языках.

Принцип Хенгевельда использования лексемы в несобственной функции без дополнительных средств (здесь и далее сокращенно БДС, ср. аббревиатуру WFM – without further measures – у Бека) описывает случаи, когда лексема может употребляться в нетипичной синтаксической функции, не приобретая при этом специального грамматического оформления. Под это определение подходит субстантивация в русском языке, так как использование прилагательных в функции имен существительных не требует в русском дополнительного маркирования.

Семантический аппарат, используемый автором, также традиционен, – он базируется на теории прототипов. Первый шаг в установлении инвентаря прототипов – идентификация основных концептуальных областей, выражаемых каждым из лексических классов. В трактовке понятий "прототипичность" и "периферийность" семантики лексических классов Бек отталкивается от известных положений, которые в свое время разработали Лэнгакер, Тейлор и Рош [Langacker 1987; 1991; Taylor 1989; Rosch 1975; 1978]. Теория прототипов базируется во многом на интуиции носителей языка и универсальности частей речи в лексике различных языков. Так, к прототипическим именам Бек вслед за Гивоном [Givón 1979; 1995] и Крофтом [Croft 1991] относит названия людей, вещей и мест к явлениям, наиболее дискретным в пространстве и устойчивым во времени. Важной семантической характеристикой существительного является также то, что оно обозначает скорее категорию или семантический тип, чем произвольный набор свойств или признаков (см. также [Wierzbicka 1988: 471]).

Существительные, как известно, соответствуют семантическим термам, которые выступают аргументами при семантических предикатах, которым на уровне синтаксиса соответствуют глаголы. Одной из наиболее важных семантических характеристик глаголов является их неустойчивость во времени, то есть глаголы семантически характеризуются как нестабильные во временном отношении сущности или положения вещей, претерпевающие наблюдаемое или воспринимаемое развитие или изменение [Givón 1979; 1984].

Теоретическое "ноу-хау", предложенное самим Беком, сводится к тому, что формирование систем частей речи происходит, по его мнению, под действием двух факторов: семантического и синтаксического.

Семантический фактор: язык противопоставляет предикаты и имена, если в словаре различаются единицы, выражающие семантические предикаты, и единицы, выражающие семантические имена.

Синтаксический фактор: язык считается основанным на противопоставлении вершина – зависимое, если в словаре различаются лексемы, которые могут быть БДС синтаксической вершиной, и те, которые могут быть БДС синтаксически зависимым.

Далее утверждается, что языки с трехчленной оппозицией лексических классов (существительное – глагол – прилагательное) типа индоевропейских используют как семантический, так и синтаксический параметры. В языках, где противопоставление базовых классов иное, членение лексики происходит иначе.

Таким образом, мы получаем четыре типа языков: языки с тремя частями речи[2], два типа языков с оппозицией имени и глагола, из которых один объединяет прилагательные с существительными, а другой – с глаголами, и языки "без частей речи" (последний тип автором не рассматривается, ср. [Broschart 1997]):

NAV – английский, русский

N[AV] – кора, салишские

[NA]V – кечуа, тотонакские, хауса

[NAV] – тонга, мундари, тускарора.

Такое распределение соответствует различным стратегиям реализации семантического и синтаксического факторов:

NAV : + семантический фактор, + синтаксический фактор

N[AV] : + семантический фактор, – синтаксический фактор

[NA]V : – семантический фактор, + синтаксический фактор

[NAV] : – семантический фактор, – синтаксический фактор.

Лексика тех языков, где "не работает" семантический фактор, не чувствительна к противопоставлению семантических предикатов и аргументов, и в таких языках прилагательные являются подмножеством глагольного класса. В тех языках, где нет закрепленного в лексике противопоставления синтаксических вершин и зависимых, класс имен включает в себя подкласс прилагательных.

Особого внимания заслуживает предложенный автором анализ салишских языков. Традиционно данные языки считаются примером отсутствия лексического разграничения между именным и глагольным классами. Имена в этих языках могут БДС выступать в синтаксической роли предиката, принимая видовые показатели или получая, подобно глаголам, лично-числовое согласование. Но, как утверждает Бек, такой анализ нельзя считать удовлетворительным. Так, бессвязочное (т.е. БДС) предикативное употребление имен зафиксировано, например, в бурятском и арабском, где о слиянии глагольного и именного классов говорить не приходится. Также нередки случаи выражения лица и числа у именных словоформ в предикативной позиции (монгольские, некоторые тюркские языки).

Автором рассматривается также другая гипотеза, предложенная в работе [Kinkade 1983]. Согласно ей, имена в салишских языках как раз являются семантическими предикатами, т.е., например, лексема *койот* соответствует значению 'быть койотом'. Данное свойство релевантно для имен и в предикативной, и в аргументной позиции (в последнем случае именные группы, возглавляемые данными существительными, соответствуют придаточным предложениям, о чем косвенно свидетельствует перевод некоторых носителей). Гипотеза о том, что все существительные глубинно являются предикатами, существует в современной лингвистике достаточно давно. Наиболее значимой работой здесь можно считать [Bach 1969], и ее подтвержение на материале конкретных языков заслуживало бы особого внимания, однако автор в данном случае избегает серьезной дискуссии, ограничиваясь теми аргументами, что употребление существительных при цитировании, их актантное употребление, а также дистрибуция аффикса посессивности (он не присоединяется к глаголам без номинализатора) свидетельствуют в пользу их непредикативной природы.

Другим важным критерием разграничения глаголов и имен является, соответственно, (не)способность глаголов БДС выступать в роли актантов. Салишские языки как раз предоставляют пример того, как глагольные словоформы могут выступать в актантной позиции, но Бек утверждает, что в этом случае они подвергаются семантической трансформации, меняя "событийный" семантический тип на "актантный". Здесь, как и в предыдущем случае, не вполне корректным кажется сведение всех морфологических и синтаксических явлений к глубинным семантическим процессам. В отсутствие четких критериев того, что считать глубинными именами, а что – глаголами, данный анализ может быть применен к любому материалу, что обесценивает само (семантическое) разграничение имя – глагол. Если не принимать в расчет далеко не очевидную семантическую интерпретацию, то морфосинтаксические свойства глагольных и именных лексем все равно позволяют провести лексическую границу между классом глаголов и имен. Так, глаголы, при исполнении ими (когнитивно маркированной) функции введения участника дискурса, используют так называемую конструкцию D + VP (D – дейктический элемент в терминологии Бека, относительное местоимение в традиционной терминологии).

Салишские глаголы, однако, могут БДС использоваться в функции модификатора, так же, как и салишские прилагательные способны БДС осуществлять предикативную функцию. И в позиции атрибута, и в позиции предиката оба типа лексем способны присоеди-

[2] Как это обычно принято в работах по данной проблематике, из рассмотрения исключаются все служебные части речи и класс наречий.

нять видовые показатели, а также показатели повышения переходности и т.д. Все это свидетельствует о том, что "европейские" прилагательные формируют в салишских языках единый класс с глаголами. Интересно, что в языке белла-кула можно говорить о существующем внутри глагольного класса противопоставлении одноместных предикатов, включающих адъективные лексемы и непереходные глаголы, и переходных глаголов. Два данных глагольных подкласса различаются показателями полиперсонального согласования как в предикативной, так и в атрибутивной позициях. Таким образом, действительно можно утверждать, что лексический класс прилагательных достаточно "глубоко" инкорпорирован в состав класса глаголов.

Несколько иначе ведет себя кора, один из языков юто-ацтекской семьи. Он также относится к языкам N[AV], но, в отличие от салишских языков, употребление в роли модификатора для лексем категории AV в кора маркировано. Салишские языки, таким образом, демонстрируют так называемую *гибкую* (flexible), а кора – *жесткую* (rigid) стратегии рекатегоризации класса предикативных лексем.

Что касается случаев объединения адъективного и именного классов (языки [NA]V), то для их идентификации автор предлагает использовать не только критерий общей парадигмы склонения, как это делает Бхат для греческого и санскрита, но и, вслед за Ветцером [Wetzer 1996], использовать критерий единообразного / различного маркирования прилагательных и существительных в функции предиката.

Примером [NA]V-языка можно считать кечуа. Как существительные, так и прилагательные в кечуа могут БДС занимать актантную позицию или позицию модификатора. В случае предикативного употребления и те, и другие лексические единицы требуют наличия глагола-связки. При более детальном рассмотрении оказывается, однако, что в актантой функции прилагательные выступают скорее в составе именной группы с элиминированной вершиной, что, безусловно, нельзя считать БДС актантным употреблением.

В результате предпринятого автором анализа существование "чистых случаев" языков [NA]V ставится им под сомнение. Нетипичным (и, по утверждению автора, единственным примером) такого языка является хауса (чадская группа афразийской семьи). И существительные, и прилагательные в нем могут БДС быть актантами некоторой предикации, позиция модификатора для них маркирована одним и тем же показателем, в функции предиката они выступают только вместе со связкой. Однако и здесь есть определенные проблемы: так, еще в работе [Dixon 1982] было замечено, что в хауса есть около десяти прилагательных, которые могут немаркированно употребляться в роли модификатора, и обладают также некоторыми другими свойствами "настоящих" прилагательных. Хауса, таким образом, также не может быть признан с точки зрения автора хорошим примером языка [NA]V.

Языков указанного типа, таким образом, просто не существует, и фактически автор приходит к выводу о неполной состоятельности предложенного им подхода к частям речи. Ради "спасения" теории о семантическом и синтаксическом факторах, формирующих структуру лексики, предлагается гипотеза о поэтапном применении данных факторов.

На первом этапе происходит разделение лексем, которые должны классифицироваться как семантические предикаты (т.е. глаголов), и лексем, которые должны классифицироваться как имена, – на этом этапе мы получаем языки N[AV]. На втором этапе лексика членится еще раз, в результате чего отделяются семантические предикаты, которые являются модификаторами (т. е. прилагательные) от тех предикатов, которые не являются прилагательными (глаголы), и таким образом и возникают языки с трехчленной оппозицией. Вариант [NA]V при этом оказывается исключен автоматически.

Подобная модель дает правильный результат, но принципы ее функционирования вызывают некоторые вопросы. Так, труднообъяснимым кажется принцип этапности: непонятно, каким образом возможность применения синтаксического фактора зависит от того, был ли на предыдущем этапе применен семантический. Непонятно также, почему действие синтаксического фактора сказывается только на противопоставлении существительных и прилагательных и никак не затрагивает глаголы.

Недостатка теоретических работ, посвященных проблеме частей речи, лингвистика не испытывает уже давно. Чего действительно не хватало лингвистической теории, так это работ, описывающих применение теоретических концепций к конкретным языкам. Попыткой подобной работы как раз и является книга Бека.

К сожалению, эту попытку нельзя назвать безусловно удачной: исследованию частей речи в конкретных языках посвящена лишь одна из пяти глав книги, и всего лишь часть данной главы описывает части речи салишских языков, являющихся лингвистической специализацией Бека.

Можно сказать, что данная работа написана вполне в духе принятого в теории частей речи подхода. С одной стороны, она использует существующие в данной области лингвистики теоретические наработки, с другой же – наследует все ее недостатки, связанные как с определенным несовершенством методики исследования, так и с "традиционностью" объекта, который для большинства лингвистов, исследующих проблематику частей речи, оказывается ограничен тремя основными лексическими классами (имя, глагол, прилагательное).

У предшественников Бек заимствует и, пожалуй, главный недостаток своей работы: чрезмерное увлечение теоретической составляющей частеречной проблематики – недостаток, благодаря которому данная область лингвистики часто (и не без оснований) считается излишне далекой от языковой реальности.

В то же время, в современной лингвистике явно не хватает работ, где предпринималась бы попытка построения подробной "грамматической карты" свойств различных лексических единиц некоторого языка. Исследование, в котором лексика подразделялась бы на относительно небольшие группы в соответствии с набором релевантных только для них грамматических свойств, представляло бы и теоретический, и прикладной интерес не только для экзотических языков, но и для столь хорошо изученных языков европейских. Примером таких свойств может быть способность русских имен собственных и терминов родства образовывать притяжательные прилагательные (типа *Колин*, *папин*); неспособность английских стативных глаголов употребляться в форме прогрессива; неспособность французских цветовых прилагательных быть в препозиции к имени и т.п.

Также остро не хватает, на наш взгляд, работ, посвященных "малым" лексическим классам: наречиям, предлогам и послелогам, союзам, счетным словам и др. Так например, интересной представляется проблематика, связанная с частеречной реализацией лексем со значением частей тела или частей целого ('бок', 'перед', 'верх' и т.п.), так как такие лексемы потенциально могут принадлежать по меньшей мере четырем различным классам (существительным, предлогам, наречиям, прилагательным), ср.: *верх – вверх – вверху – верхний* vs. англ. *up*$_1$ (*We all have our ups and downs*) – *up*$_2$ (*up the river*) – *up*$_3$ (*He was up in the mountains*) – *up*$_4$ (*the up train*).

Досадно, что вместо попыток создания новых описаний языков с помощью разработанного инструмента лингвисты продолжают идти по проторенной несколько десятилетий назад и с тех пор неоднократно пройденной дороге.

В книге имеет место также ряд досадных неточностей, к которым можно отнести неверное цитирование русских примеров: *Kotin dom* (с. 90) или *Maša budet vrač* (с. 109), не влияющих, впрочем, на содержательную сторону работы.

Несмотря на указанные замечания, книга Д. Бека, несомненно, представляет значительный интерес как для специалистов в области грамматической теории, так и для лингвистов, занимающихся языками североамериканских индейцев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Bach 1969 – *E. Bach*. Nouns and noun phrases // E. Bach, R.T. Harms (eds.). Universals in linguistic theory, 91–124. New York, 1969.

Beck 2000 – *D. Beck*. The syntax, semantics, and typology of adjectives in Upper Necaxa Totonac // Linguistic typology 4. 2000.

Beck 2001 – *D. Beck*. Heterogeneous person-hierarchies in Upper Necaxa Totonac // Proceedings of the 6-th workshop on structure and constituency in the languages of the America. Vancouver, 2001.

Bhat 1994 – *D. N. S. Bhat*. The adjectival category. Amsterdam, 1994.

Broschart 1997 – *J. Broschart*. Why Tongan does it differently: Categorial distinctions in a language without nouns and verbs // Linguistic typology 1, 1997.

Croft 1991 – *W. Croft*. Syntactic categories and grammatical relations: The cognitive organization of information. Chicago, 1991.

Dixon 1982 – *R.M.W. Dixon*. Where have all the adjectives gone? Berlin, 1982.

Givón 1979 – *T. Givón*. On understanding grammar. New York, 1979.

Givón 1984 – *T. Givón*. Syntax: A functional-typological introduction. V. I. Amsterdam, 1984.

Givón 1995 – *T. Givón*. Functionalism and grammar. Amsterdam, 1995.

Hengeveld 1992a – *K. Hengeveld*. Parts of speech // M. Fortescue, P. Harder, L. Kristofferson (eds.). Layered structure and reference in a functional perspective. Amsterdam, 1992.

Hengeveld 1992b – *K. Hengeveld*. Non-verbal predication: Theory, typology, diachrony. Berlin, 1992.

Hopper, Thompson 1984 – *P.J. Hopper, S. Thompson*. The discourse basis for lexical categories in universal grammar // Language. V. 60. 1984. № 4.

Kinkade 1983 – *M.D. Kinkade*. Salishan evidence against the universality of "noun" and "verb" // Lingua. V. 60. 1983.

Langacker 1987 – *R.W. Langacker*. Foundations of cognitive grammar. V. 1: Theoretical prerequisites. Stanford, 1987.

Langacker 1991 – *R.W. Langacker*. Foundations of cognitive grammar. V. 2: Descriptive application. Stanford, 1991.

Rosch 1975 – *E. Rosch*. Cognitive representations of semantic categories // Journal of experimental psychology (General). V. 104. 1975.

Rosch 1978 – *E. Rosch*. Principles of categorization // E. Rosch, B. Lloyd. Cognition and categorization. Hillsdale, 1978.

Taylor 1989 – *J.R. Taylor*. Linguistic categorization: Prototypes in linguistic theory. Oxford, 1989.

Wetzer 1996 – *H. Wetzer*. The typology of adjectival predication. Berlin, 1996.

Wierzbicka 1988 – *A. Wierzbicka*. The semantics of grammar. Amsterdam, 1988.

П.В. Гращенков,
О.В. Лукин

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ "ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ"

БЕ – Български език
ВДИ – Вестник древней истории
ВИ – Вопросы истории
ВСЯ – Вопросы славянского языкознания
ВФ – Вопросы философии
ВЯ – Вопросы языкознания
ЕИКЯ – Ежегодник иберийско-кавказского языкознания
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения
ЗВО РАО – Записки Восточного отделения Русского археологического общества
ИАН СЛЯ – Известия АН СССР. Серия литературы и языка
ИКЯ – Иберийско-кавказское языкознание
ИОРЯС – Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР
ИЯШ – Иностранные языки в школе
РЯНШ – Русский язык в нац. школе
РЯШ – Русский язык в школе
СбНУ – Сборник за народни умотворения
Сб. ОРЯС – Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук
СТ – Советская тюркология
ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы Академии наук (Пушкинского дома)
ФН – Доклады высшей школы. Филологические науки
ADAW – Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
AfslPh – Archiv für slavische Philologie
AGL – Archivio glottologico Italiano
AKGW – Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
AL – Acta linguistica
AmA – American anthropologist
ANF – Arkiv för nordick filologi
AO – Archív orientalní
APAW – Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse
BCLC – Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague
BPTJ – Biulétyn Polskiego towarzystwa językoznawczego
BSLP – Bullétin de la Société de linguistique de Paris
BSOS – Bulletin of the School of Oriental studies
BzNf – Beiträge zur Namenforschung
CAJ – Central Asiatic journal
CFS – Cahiers F. de Saussure
CJ – The classical journal
FPhon – Folia phoniatrica
FuF – Finnisch-ugrische Forschungen
GL – General linguistics
HR – Hispanic review
IF – Indogermanische Forschungen
IIJ – Indo-Iranian journal
IJAL – International journal of American linguistics
JA – Journal asiatique
JASA – Journal of the Acoustical society of America
JEGPh – Journal of English and Germanic philology
JL – Journal of linguistics
JP – Język polski
JRAS – Journal of the Royal Asiatic society
JSFOu – Journal de la Société finno-ougrienne
JФ – Јужнословенски филолог

KZ – Zeitschrift für vergleihende Sprachforschung aufdem Gebiete der indogermanischen Sprachen, begründet von A. Kuhn
LaPh – Linguistics and Philosophy
Lg – Language
LIn – Linguistic Inquiry
LM – Les langues modernes
MM – Maal og minne
MSFOu – Mémoires de la Société finno-ougrienne
MSLP – Mémoires de la Société de linguistique de Paris
MSOS – Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin
NSS – Nysvenska studier
NTS – Norsk tidsskrift for sprogvidenskap
PBB – Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
PMLA – Publications of the Modern Language Association of America
RES – The Review of English studies
RÉG – Revue des études grecques
RÉSI – Revue des études slaves
RF – Romanische Forschungen
RKJL – Rozprawy Komisji językowej Lodźk. t-wa naukowego
RKJW – Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego
RLing – Russian linguistics
RLR – Revue de linguistique romane
RO – Rocznik orientalistyczny
RS – Rocznik slawistyczny
SaS – Slovo a slovesnost
SDAW – Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil-hist., Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
SL – Studia linguistica
SMS – Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopies a literárnu hístoriu
SPAW –Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften
StO – Studia orientalia
SWAW – Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften
TA – Traduction automatique
TCLC – Travaux du Cercle linguistique de Copenhague
TCLP – Travaux du Cercle linguistique de Prague
TIL – Travaux de l'Institut de linguistique
TPhS – Transactions of the Philological society
UAJb – Ungarische Jahrbücher
VR – Vox Romanica
WW – Wirkendes Wort
ZAS – Zentralasiatische Studien
ZCPh – Zeitschrift für celtische Philologie
ZDA – Zeitschrift für deutsches Altertum
ZDMG – Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft
ZDPh – Zeitschrift für deutsche Philologie
ZMaF – Zeitschrift für Mundartforschung
ZNS – Zeitschrift für neuere Sprachen
ZPhon – Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft
ZRPH – Zeitschrift für romanische Philologie
ZSL – Zeitschrift für Slavistik
ZSLPh – Zeitschrift für slavische Philologie

CONTENTS

Yu.D. Apresjan (Moscow). On the Moscow Semantic School; P. Seriot (Lausanne). K.S. Aksakov: Linguist-Slavophil or Hegelian?; M.I. Shapir (Moscow). "To thee there is neither number nor measure!.." On the possibilities and limits of "exact methods" in the humanities; B.A. Uspenskij (Moscow). On the origin of the Glagolitic alphabet; A.V. Zelenin (St. Petersburg). Desabbreviation in Russian; D.A. Romanov (Tula). Psycholinguistic foundations of emotional identification; S.G. Tatevosov (Moscow). Actionality: typology and theory; **Reviews:** P. Kosta (Potsdam). *Yu.G. Testelec.* Introduction to general syntax; O.N. Liaševskaja (Moscow). *S. Jones.* Antonymy: A corpus-based perspective; P.V. Graščenkov (Moscow), O.V. Lukin (Jaroslavl). *D. Beck.* The typology of parts of speech systems: the markedness of adjectives.

Сдано в набор 25.10.2004 Подписано к печати 17.12.2004 Формат 70 × 100 1/16
Офсетная печать Усл. печ.л. 13,0 Усл. кр.-отт. 19,3 тыс. Уч.-изд.л. 15,5 Бум. л. 5,0
Тираж 1461 экз. Зак. 9001

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.
в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредитель: Российская академия наук

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная, 90
Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-25-16
Оригинал-макет подготовлен МАИК "Наука/Интерпериодика"
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6